

СИБИРСКИЕ ОГНИ



1/2024



Константин Дверин.
Баня.
2019

Константин Дверин.
Уборка картошки.
2021



На первой странице
обложки:
Константин Дверин.
Отцовский двор.
2021

СИБИРСКИЕ ОГНИ

**Литературно-художественный
и общественно-политический
ежемесячный журнал**

ВЫХОДИТ С МАРТА 1922 ГОДА

Главный редактор:

М. Н. ЩУКИН

Редакционная коллегия:

Н. М. Ахпашева (Абакан)
А. Г. Байбородин (Иркутск)
П. В. Басинский (Москва)
А. В. Кирилин (Барнаул)
В. М. Костин (Томск)
А. К. Лаптев (Иркутск)
Г. М. Прашкевич (Новосибирск)
Р. В. Сенчин (Екатеринбург)
М. А. Тарковский (Красноярск)
А. Н. Тимофеев (Москва)
А. Б. Шалин (Новосибирск)

Михаил Косарев
ответственный секретарь

Лариса Подистова
начальник отдела художественной литературы

Марина Акимова
редактор отдела художественной литературы

Татьяна Седлецкая
редактор отдела художественной литературы

Михаил Хлебников
начальник отдела общественно-политической жизни

Евгения Акимова
редактор отдела общественно-политической жизни

Дмитрий Карасёв
редактор отдела общественно-политической жизни

Корректурa: Л. Р. Юкляева
Верстка: С. В. Колотилов

1/2024

Содержание

ПРОЗА

- Светлана МИХЕЕВА. **Каплин дом.** Повесть.3
Янга АКУЛОВА. **Беспризорный динозавр.** Рассказ.80
Антонина ГИЛЕВА. **Осколки студеного лета.** Киноповесть.91

ПОЭЗИЯ

- Дмитрий КАРШИН. **Ночная трава.** Стихи.75
Анна АРКАНИНА. **«Конечно же, и синички».** Стихи.89
Андрей СИЗЫХ. **Улица Богда.** Стихи. 138

ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

- Литературный конкурс «Иду на грозу»*
Елена СЕМАКИНА. **Бог — это вера в людей.** *Записки учителя.* 141

КРИТИКА И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

- Константин ВАСИЛЬЕВ.
Ловля блох в сочинении по просьбе сочинителя. 156
Яков МАРКОВИЧ. **Несколько заметок о поэзии.** 175

КНИЖНАЯ ПОЛКА

- Издано в Сибири.** 184

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ

- Инна КИМ. **«Без посылы любви и рука к кисти не потянется».**
Сибирский художник Константин Дверин. 186

- Авторы номера 191

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. За достоверность фактов несут ответственность авторы публикаций. Их мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции. Ранее опубликованные (в том числе в газетах и сети Интернет) произведения не рассматриваются. Редакция оставляет за собой право опубликовать присланное произведение в журнальном варианте. При перепечатке материалов ссылка на «Сибирские огни» обязательна.

Главный редактор, директор ГБУК НСО «Редакция журнала «Сибирские огни»» М. Н. Щукин.

Светлана МИХЕЕВА

КАПЛИН ДОМ

П о в е с т ь

Глава 1. О пространстве

Вниз по горе, убаюканной сонными деревьями, шумно двигалась череда машин, похожая, если смотреть издалека, на разноцветную змею. Притормаживала на мосту. Расходилась, рассыпалась за мостом. Мерцала умиротворенно река.

Карнавальная рептилия ползла в некую точку, скрытую на другом берегу фронтом неаккуратных тополей — дикарей в лохматых шапках. Ветер нежно шевелил их зеленые гривы.

На этом берегу никакого ветра не было, только нависал утренний сырой холодок. Еще не подсох асфальт после ночного дождя, и благоухала из последних сил бедная, плешивая клумба возле деревянного райсовета. И вообще все казалось чище и ярче, чем обычно. Даже мокрое старое дерево, даже пятиэтажки, даже стройка, которая разворачивалась за ограждением из серых бетонных плит, и даже сами эти безрадостные плиты.

У крошечного котлованчика на углу стройки замерла студенческая шантрапа — неугомонные археологи со своим мелким инструментом. В котлованчике возились, осторожно помахивая малярными кистями, двое — кто-то взрослый, лысый, и девчонка в оранжевом платочке. Потом и они вылезли и замерли вместе со всеми, нависнув над ямой. Всеобщее молчание перебивалось тихими замечаниями, кто-то фотографировал.

Все знали, что на сотни метров кругом, на вершине горы и под горой, лежали в земле предметы и останки столь древние, что даже помыслить об этом было странно. Их выкапывали, но появлялись другие, еще и еще, как будто вырастали из каких-то затерянных корней, отпочковывались от какой-то подземной жизни. Словно люди и предметы где-то там умирали сюда, в наш мир.

У Марата был добытый в детстве неолитический наконечник и смуглый черепок с процарапанным орнаментом. Мальчишками они перебежали большой горбатый мост, опасаясь быть пойманными заречными,

левобережными пацанами, ковыряли на чужой территории почву, рассчитывая найти какой-нибудь необыкновенный клад. На левом берегу копали все кому не лень, и все что-нибудь да находили. Марат слышал, например, о голубых камешках, могильной бирюзе, которую раньше стаканами продавали за горой, за вокзалом, на колхозном рынке. Ей приписывали лекарственные и волшебные свойства. Но сам он не находил ее ни разу.

Всему, что жадная ребятня доставала из-под земли, не было будто бы денежной цены — кому нужны эти белые кости, черепки, гнилое железо. Мальчиков захватывало ощущение тайны. Она-то и была их настоящим кладом. Словно откапывали они само время, складывали в коробочки и сохраняли в своих секретных местах. Переносили с места на место, забирая его у земли, которая служила времени не могилой, а хранилищем. Черепок мать однажды нашла и выбросила, а наконецник сохранился, запрятанный за цветастой обшивкой старого кресла. Марат оставил его на родительской квартире и студентом, приезжая на каникулы или в гости, непременно доставал обувную коробку, где томились в спячке все его мальчишеские ценности, в том числе и тот наконецник.

Ветер наконец оставил в покое тополя на правом берегу и перелетел на левый. Девушка в оранжевой косынке схватилась было за голову, но косынка уже улетела. Марат поймал ее и заспешил, чтобы отдать хозяйке.

Но тут подъехала машина. Вышли из нее серьезные мужчины. Марат огляделся, отыскивая глазами своего научного руководителя. Но архитектора среди подъехавших не было. Значит, это строители. Точно, строители, вон какие хмурые. Строители и археологи часто не ладили: одним надо было строить, другим — копать там, где строят.

Но сейчас нечто привлекло всеобщее внимание. Сгрудившись на краю ямы, и те и другие молча рассматривали что-то внизу. Девушка, потерявшая косынку, стояла на самом краю котлована. Протискиваясь к ней, Марат поскользнулся. Лысый поймал его, не дав свалиться в раскоп.

В раскопе, освобожденный от бремени глинистой плотной земли, лежал большой животный скелет, не собачий, скорее волчий. Под его ребрами покоился шар, неровный мяч с дырой, огромная одинокая картофелина, которую любовно обнимали крупные кости — человеческий череп.

Волнение, охватившее Марата, раскрылось сильным ровным сердцебиением. Ему казалось, что сердце грохочет, словно неизвестные силы решили возвести внутри мягкого маленького человека нечто грандиозное и начали стройку. Ему казалось, этот грохот слышат все. Но вокруг зашумели, очнувшись от удивления, другие люди. Все глядели вниз, где открылось глазам непонятное, какие-то магические техники древних. Наверное, в человеческом теле есть какие-то жёлезы, отвечающие за связь человека с человеком в глубинах времен.

Потянуло с одной стороны гудроном, с другой — волнующим бризом, а клумба, источавшая медуничный тягучий аромат, азартно вмешалась

в общую тему. Марат отошел от раскопа, развернулся и быстрым шагом пошел вниз по горе, вдоль шоссе, к мосту. В его руке трепыхалась неотданная косынка...

Это было давно. В последующие годы ему часто снился сон, в котором менялись детали, но неизбежной оставалась канва: большой черный волк смотрит на него, стоящего под солнцем, а затем уходит. Марату хочется пойти следом. Иногда он даже идет, а то и бежит, как бы принимая молчаливое приглашение. Но в какой-то момент останавливается, не переходит границу.

И эта неопределенность, возмутительная нерешительность пробуждала его всякий раз. Он садился на кровати, тер лицо. Вспоминал, что уже видел этот сон. Если была ночь, вставал, брел на кухню. Стоял у окна, таращился в темное глухое пространство очередного города, куда его привела работа. Города разные — сон один. Как и вопрос, что он всякий раз себе, проснувшись, задавал: «Почему я остановился?»

Он бродил по квартире оглушенный, словно что-то потерял, без понятия что. Какие-то надоедливые голоса в его голове бубнили, напоминали, что страшные времена — это не обязательно бездна огня и крови. Это может быть тусклое время мирного опустошения и нерешительности, последнее время, когда для свободы еще рано, для несвободы — уже поздно. И никто не знает, что будет, — как, впрочем, и прошлое никому достоверно не известно. Никто не может объяснить, почему волк держит в своих истлевших лапах человеческий череп, и никто никогда наверняка не узнает. Это безнадежно, как и вся жизнь. Все пусто.

Но вдруг выплывало как легкое облако воспоминание, как полынь детства обнимает его своими теплыми горькими лапами, окуривает мягким голосом своего дыма. А он сидит в засаде, ожидая возможности выскочить и припустить по мосту на свою землю. Левобережные пацаны будут улюлюкать вслед, бросать камни, но никогда не догонят. Вдохновение этих стихий, этих голосов зиждилось на блаженной независимости сокровенных и радостных воспоминаний — на памяти, которую человек носит с собой как свою главную достопримечательность и талисман. И Марат легко, радостно верил таким голосам, с легким сердцем уходя в долины сновидений на остаток ночи. Теплые холмы, полные неопознанных тайн, встречали его там.

Города, где он ненадолго оседал, громоздились обычно возле рек, больших и маленьких, наседали на живописные равнины. Он проектировал архитектурные ансамбли на окраинах. На выходе получалась огромная унылая геометрия, бессовестно пожирающая пространство, как древние боги — своих детей. Это ужасало. Он изучал старину, устоявшую под натиском человечества, стараясь касаться ее бережными руками и внимательным умом, — дома́ ему не отвечали, погружившись в свою задумчивость. Они как будто не понимали друг друга.



Когда Марат, послонявшись по миру, вернулся домой, в свой город, тот встретил его страшным шумом. От ветра в этот день выли сосны и трещали лиственницы. Буянили, гремели крыши, то ли приветствуя, то ли порицая за долгое отсутствие. В первую же ночь ему снова пришился сон. В нем волк не ушел, а притрусил к человеку и сел рядом, у ног, как собака.

Глава 2. О городе

Кто только не писал уже об этом злосчастном, но все же и по сей день помаленьку процветающем, городе. Благодаря трудолюбию писателей мы знаем о нем все. Мы представляем себе улицы по обоим берегам крупной реки, наполненные ржавой листвой или мерзлой водой, которую дворники лениво ковыряют железным инструментом.

Летом над газонами жужжат усмирители травы — вооруженные косилками киргизы. Трава сопротивляется изо всех сил, ибо ее гонят с земли, теснят в ее же среде. Предсмертное шуршание слонообразных лопухов и без того вечно дрожащей лебеды, прощальный шепот пастьюшей сумки растекаются густым зеленым запахом в раскаленном воздухе. Воздух к вечеру остывает и становится прозрачнее.

Ходят люди, вдыхают зеленый запах. Он их тревожит.

За пределами газона земля кончается, начинается брутальная твердь асфальта. Лучший — тот, что давно истрескался и тем красив, пропуская на волю растительность. Он соотносится с городскими закоулками, где не приложила рук ни одна городская служба, которые обошел своим незорким взглядом равнодушный архитектурный чиновник. Тишина и мощь памяти здесь пересекаются с действием жизненной энергии, порождая благотворное лекарство для унылых душ. Если они, конечно, еще способны выздороветь. В углах, где нам обычно чудится паутина погибания, в заглохших садах, в плохо освещенных частных дворах празднует свой праздник несокрушимая витальность.

Жизнь в этих углах на протяжении лет меняется лишь по форме и степени проявленности. Главное, что она есть, — будь то бездомный человек Маня Иванович, запаливший костерок в заколоченном брошенном доме, будь то щенок, отбившийся от мамки. Или же иванчай, сокрушительно прущий в бытие, забивающее собой все вокруг. Или же девочка, запрыгивающая на крыльцо, хрипящее от нагрузки как астматик.

«Настька!» — орет из окна ее чудная мать, тридцатилетняя богатыйша Дарья. Настька обещала сходить на колонку и привезти воды, чтобы мать постирала шторы, готовясь вывесить их в новом жилище, — семейство перебиралось в квартиру, оставляя дом городским властям, в обмен. «Что-то вырастет на месте нашего дома...» — задумчиво говорила Дарья дочери, понимая, что дом снесут и выстроят нечто. А Настьку, которой исполнилось шесть и она уже все-все понимала, подмывало задать матери вопрос: кто будет поливать посев — ну тот, из которого что-то должно вырасти? Они-то ведь уедут.



Настька уже видела, обследовала их новый дом — чудовищный пророк, который, конечно же, кто-то поливал. Ей нравилась и долгая дорога туда, на новое место, и нарядный вид, и лифт, который легонько вздыхал, пеня на ежедневные труды, а потом бесшумно полз вверх или вниз. А под балконом их новой квартиры, далеко внизу, суетятся люди, похожие на рассыпанные по столу крошки. Вот прилетят голуби и склюют... Вырастил же кто-то такой огромный дом!

Дарье новое жилье тоже нравится — хотя, конечно, далековато, в получасе езды от центра. Дома торчали почти на выселках, на месте одной из снесенных нахаловок. Но зато дом их — новье. Никого до них в квартире еще не живало, и чужим духом не пахнет. Дарья уважала все новое. В нем она черпала прагматическую надежду на какое-то складное, изобильное будущее. В нем у нее было все, чего пожелает душа. И даже новый муж, а иногда даже новая дочь. Настькин вечно сопливый и растрепанный образ менялся в ее воображении на образ аккуратной девочки с темными локонами. Правда, всякий раз воображение заводило в тупик: девочка оказывалась пыльной нарядной куклой в большом магазине, которую никто не захотел или не смог купить... Дарья отмахивалась от морока и звала тогда нынешнюю дочь, Настьку, чтобы утереть ей нос или расчесать жиденькие, морковного цвета пряди. Или шла готовить ужин реальному мужу Толику.

Расчесываемая Настька в такие минуты замирала и наслаждалась материнским вниманием, которое доставалось ей редко. Но не потому, что Дарья была жестока или жестка, а потому, что в нее когда-то заплыло и все никак не выплывало покато, как серое вялое облако, безразличие особого сорта, которое поселяется обычно в людях с энергией, но без применения. На своем маленьком участке жизни Дарья чувствовала, хоть ты тресни, что ей чего-то недодали, что поместили ее куда-то не туда. Заставили заниматься чем-то не тем. Жить не там, где она хочет, а в деревяшке-развалюшке с обломанной резьбой на окнах, чтоб она пропала, даже не покрасишь толком, красоты не наведешь. Расчесывала Настькины волосенки и думала: что-то не то, не то...

И когда они переехали, Дарья была если не счастлива, то пока что удовлетворена. И проспала без просыпу ночь и день, так что Толик перепугался. И потом всю неделю наводила в квартире красоту, выходила на балкон, каталась без особой надобности в лифте, осматривалась...

В другой части города (но не так уж и далеко, потому что город, если смотреть на карту, компактный, даже, кажется, какой-то круглый) такие же дома таращатся в пространство. Выбивается один, глядящий окошками куда-то вбок от основной линии, словно его построили, что-то не рассчитав, или он оказался бунтарем. В одной из его квартир существуют вполне благополучно Леонид Абрикосов и его мама, тоже переселенцы из ветхой «деревяшки» исторического центра.

Небо над этим домом часто бывает глупое и в завитках, как голова соседки снизу Нины Петровны, а бывает перистое, легкое облачное, как мелированная головка соседки сверху Элеоноры, которой длинные



волосы мешают спать, а длинные ноги — ходить, поэтому ее обычно водят под руку разные мужчины. Один из них, кстати, и поселил ее в новом доме, на пятом этаже.

С абрикосовского балкона видно, как старые серые многоэтажки уныло рвут небесную живую ткань, зато новенькие, нарядные их подружки торчат пузырчато, одинаково сияя и под прямым солнцем, и в непогоду. Иногда кто-то случайно падает с них с криком «Банзай!», а чаще — молча или с банальным «А-а-а!», производным абсолютного отчаяния. Как, например, сам Леня Абрикосов, когда что-то нашло на него, замечтался, может, о поцелуях Элеоноры.

Лене здесь нравилось. Он тоже, как и Дарья, утомился возить воду с колонки в алюминиевых бидонах, напоминая себе то узника, то блокадника. Тележка с бидонами противно поскрипывала. А какое унижение переходить проезжую часть, когда перед пешеходным переходом останавливается новенькая машинка, содержащая какую-нибудь приятную девушку! Леня страдал, но воду возил, ибо без воды человек засыхает. Немудрено, что он рвался к свободе, в том числе и коммунальной.

Впрочем, судьба посмеялась над ним: в доме жила Элеонора. Леня мог бы сказать ей о своих чувствах или хотя бы прокричать, уже летя, что-то ясное: мол, люблю тебя, Элеонора! Но то ли расстояния от второго этажа до земли не хватило для выражения высоких чувств, то ли толстовская борода, которая была для него символом свободы (хотя и мешала ему жевать, а иногда и дышать), в полете проявила себя как отменный предатель, заткнув ему рот. Зачем Леня ее отпустил? Он хотел стать лучше. Он хотел быть свободным. Элеонора этого, впрочем, никогда не понимала. Недаром она с честным лицом заявила полицейским, приехавшим на вызов соседки Нины Петровны, мимо окна которой и пролетел некий хулиган, что Леня Абрикосов давно сошел с ума.

— Вы его бороду видели? — проворковала она симпатичному лейтенанту, крутя пальцем у виска.

...А что? может быть, и сошел. Мало ли кто здесь ходит с ума. Все к тому, кажется, располагает, думал старший лейтенант, читая на мониторе Лениного компьютера надпись-заставку: «Я страстно хочу жить в полностью свободном обществе» (Пери Фридман, создатель мира на платформе)».

Старший лейтенант казался приятным парнем, аккуратным и курносый, быстро соображал, был восприимчив. Перед тем как подняться в квартиру, он потоптался у подъезда, ожидая, пока скорая заберет прыгуна, который хоть и сильно ушибся, но ничего не сломал, кроме кустов. Снизу лейтенант оглядел монструозное сооружение: цитадель в восемнадцать этажей, глухая стена с изображением гигантского стрижа, влево и вправо — подъезды, где-то внутри — темный и сырой двор, уставленный частным автотранспортом. Дом смотрел куда-то вбок.

Лейтенант взглянул в ту же сторону. В той стороне, за рекой, жил своей жизнью старый город. В это время одурелое солнце вдруг моргнуло из туч. И словно бездна приоткрыла свой лукавый жестокий глазик.

Лейтенант вдруг покрылся мурашками, ощущая неуютность всякого человеческого существования — вообще и в принципе.

Старший лейтенант Сережа вырос на другом берегу, недалеко от старого моста, в крепком деревянном доме, стоявшем в ряду таких же крепышей, украшенных по произволу времени уже порушенной, но некогда знатной резьбой. Внутри дома были не очень ухоженные. Пятилетним, открывая утром глаза, Сережа обнаруживал перед собой всегда одно и то же — дыру в оштукатуренной стене. И сквозь нее, такую загадочную, будто бы что-то особенное было видно, а будто бы — и не видно было ничего. За ней — прошлое время, за ней ходят все те, к кому они с бабулей ездят иногда на кладбище, и там все туманно, и ощущается таинственным. И как будто бы по ту сторону стены все еще бегают лошади, в повозках и под седлом.

— Утекло в стены все, что было, что творилось. Так туда и дорога. Замазать бы дыру... — Бабуля садилась к нему на кровать и смотрела туда же, на облупившуюся штукатурку.

Сережа наблюдал, как бабуля буровит взглядом стену, по которой расплзались трещины — черные вены времени. Что ей там виделось? То ли сестры на лодке от нее уплывают, то ли брат машет ей с борта огромного военного корабля — как на старой коричневой фотокарточке.

— Ну, пойдем, Сереженька, на колесе тебя покатаем, — говорила бабуля, и они шли в парк, за пару кварталов, где вертелось нарядное колесо-аттракцион.

Сережа любил колесо. А после колеса бабуля говорила:

— Боженька все видит. Ну-тка, зайдем на чуть, — и после веселых парковых дорожек резко вталкивала его в душный сумрак едва живой церкви на горе.

Там мальчик мерз в темном белом уголке, пока бабуля здоровалась с невыразительными лицами на мрачных картинах и зажигала до бессмысленности тонюсенькие свечки. Она бормотала и с ожиданием смотрела на темные образа в потемневшей от времени комнате, словно лица ей что-то обещали.

Потом Сережа с бабулей почти скатывались с длинной и крутой лестницы, бетонные ступеньки которой рассыпались в пыль, и шли домой обедать. Открывали тяжелую дверь, и славный дом обнимал их всеми запахами, звуками, скрипел приветственно. Сереже нравилось, как дом здороваётся с бабулей, а она — с домом, поглаживая, успокаивая, иногда увещевая, если, например, подводила электропроводка.

Потом бабуля умерла, и все было кончено. Дом окончательно зарос, как паутиною, проводами, дверь расхлябалась и скрипела, словно задыхалась, будто ей не хватало воздуха. Воздуха не хватало всему дому.

Потом соседи начали съезжать. Потом и мамуля, которая измучилась в этом уходящем пространстве (уже как будто и не своем, но вроде еще и не чужом), согласилась на квартиру в новом доме, сгребла тощие пожитки, тощего Сережиного отца — и они переехали на соседний берег в дом, где ихнего было тоже две комнаты и еще кухня с очень белым



потолком и ленивыми тараканами. Да, там было нормально, но как-то по-чужому.

Квартиру им предоставили в общих чертах такую же, как у Абрикосовых, примерно все было в ней так же. Примерно такая же беспамятность, коробочная жизнь. И впрямь, если присмотреться, недолго же и спатить. И полететь. И все было, в общем, понятно. Старший лейтенант смотрел, задрав голову вверх, на монструозного стрижа. Он представлял, что чудовищная птица оживает темными ночами и летает над микро-районом, пугая самолеты и летучих мышей.

Потом затрещала рация, и ломкий голос с той стороны пригласил полицию на другое, огненное, происшествие в исторический центр, где нужно было обеспечить общественный порядок. Лейтенант Сережа тогда дрогнул — адресочек был ему хорошо знаком.

Увлекательный, страшный пожар, надо сказать, собрал изрядно народу. Население любит со стороны наблюдать различные катаклизмы, в том числе и пожары. Они представляют для тоскующей массы зрелище занимательное и поучительное. Они сдабривают жижицу буден остротой трагедии. Они служат и глубоким утешением: дорожи своим — видишь, у людей бывает еще хуже.

Когда подъехала полицейская машина, огненный цирк уже отпрыгал свое, покорившись пожарным. Люди толпились среди лысых деревьев. Красно-желтое пламя едва трепыхалось как бы в продолжение рано увядшей осени. Пошел снег.

Пожарные бегали со своими шлангами, карабкались по лестнице, немножко поливали и соседние здания. У некоторых из этих домов были собственные имена: например, горящий назывался домом Голованова.

Старший лейтенант зажмурился, а потом резко открыл глаза. Было странно. Словно у его жизни отожгли кусочек.

Он провел рукой по лицу, как будто утирая слезу — так, во всяком случае, показалось со стороны его напарнику. А потом вылез из машины и со всей серьезностью приступил к обязанностям.

Глава 3. О доме

Каплин дом рос в паре кварталов от набережной. Он был черным — от старости бревен. Только в провинции сохраняется такая гордая древесная чернота погибания, тления, разрушающейся, но, по закону сохранения энергии, не проходящей, естественной теплоты.

Каплин дом относился к категории домов бессонных, ночью он вздыхал и жмурился тусклыми глазами в метель или в летнюю полночь. И Каплину дому место было в этой полночи, одинокому, высотой в два этажа. Он торчал посреди жухлой травы и махал деревянными ставнями, резными, но резьбу обьяело время. Время, как коза растительность, обжевывает деревяшки.

Каплин дом был почти необитаем. Днем казалось, что он необитаем вовсе. Потому что все окна в нем молчали, выставляя напоказ стыдную

наготу пустого пространства. Казалось, сунь руку в дырявое окно — и тебя затянет. Потому что известно: все дома на свете мечтают быть обитаемыми, поселив в себя, хоть бы насильно, какого-нибудь затрапезного человечешку. Одичавшие дома становятся опасны, они затаивают обиду, они дают приют скверне и злу. И если в разоренном брюхе такого дома находят тело, — а это совсем не редкость, — то призрак навечно поселится в покинутости, в развалинах или на пепелище — именно через огонь уходили многие дома и по этой улице, и по другим в округе. Вот не так давно сгорел один — Головановский, в конце улицы.

Однако вечером в Каплином доме, в одном его углу, загорался свет — тусклый, в первом этаже. В трех окнах, обметанных снаружи осенним мусором и ледяной корочкой, а изнутри — старой серой ватой в прожилках новогоднего «дождя». Ближе к ночи из-под отвисших и не сходящихся до конца, похожих на слоновьи уши ставен сияла трогательная живая полоска, а свет под низким окном стлался по давно не метеным листьям. Листья приносило сюда ото всех окрестных деревьев, их натрясали тополя и сирени, будто хотели закутать, укрыть дом, похоронить его со всей его дрожащей жизнью до весны. А может, и навсегда. А может — скрыть, уберечь от той участи, которая его ждала: гибель, огонь, прах. Потом поверх листьев ложился тяжелый снег.

Жилец был под стать дому, бессонный. Полоска из-под ставен исчезала в глухое время, почти перед рассветом. И чего сидел, что делал?..

А каково ему было выходить ночью из теплой квартирке и оказываться в длинном, высоком сыром коридоре, безлюдном уже давным-давно? Какие-то короба и лари, привернутые к стенам великанскими шурупами или просто беспорядочно теснящиеся возле прикрытых дверей, какие-то ошметки жизни — тряпье, гнутые миски... Жилец запинался об этот хлам, сквозь зубы ругался. Но пока еще не потеснил хлам, не расчистил проход в жилище. Не по лени — по другой, самому себе необъяснимой причине. Вроде как это все — хлам, лари, миски — принадлежало дому, а он, чужак, не смел пока все это трогать. До поры.

Наверх, на второй этаж, вела лестница, узкая, темная, скрипевшая сама по себе — старые дома говорливы. От этой лестницы, ведущей в темноту, многое можно было бы узнать — если бы люди умели читать по скрипу, по сухому изъеденному дереву, по десяткам слоев краски на рамах. Слои краски — это вся история дома, как история и возраст дерева — его годовые кольца. Жилец иногда задумчиво отколупывал кусочек от подоконника, рассматривал. Или тянул за обнажившуюся дранку на стене, гадая, когда же обвалится остальная штукатурка. Или же, провоцируя аварию, прыгал на лестничном гнилье. Ступени хрустели, но держали. Жилец хватался за огромные гвозди, вбитые в потолочную балку на общей — дом долгое время состоял в разряде коммуналок — кухне. Гвозди не выскакивали, упорствовали.

Из коридорного окна второго этажа было видно, как напротив, на другой стороне улицы, удивлялся на пронзительную невесомость предзимнего пространства Думочкин дом, одноэтажный, широкий



и тоже крепкий. Думочкин дом был заселен по самую маковку — на крыше, например, во множестве ютились голуби. Бревна Думочкиного дома хозяева его двух квартир — левой и правой — зашили в современный синий футляр, и его истинную природу исторической деревяшки выдавали только ставни, правда толсто покрашенные. Флюгер, старый жестяной конек не поймешь каких лет, выдавал возраст. Очевидно, конек представлял ценность, потому что у левой хозяйки, на чьей половине крыши он крутился, хотели купить его то одни люди, то другие.

Конек и впрямь был хорош: несуетлив, надежно вертелся, тонко поскрипывал. И в непогоду это поскрипывание придавало остойчивости беспокойной жизни. И муж правой хозяйки очень любил выйти тогда на крыльцо и слушать. У левой хозяйки мужа пока еще не было. И она жила одиноко, а приветствовал ее по вечерам с работы ободранный боевой кот, прибившийся к Думочкиному дому, будучи брошен прежними хозяевами. Он пришел со стороны Каплина дома, дававшего ему временный приют.

Так что у домов Каплина и Думочкина имелось общее — ну вот хотя бы этот кот, забияка тощего неприглядного экстерьера, существо непочтительное и вечно голодное. Что-то было и еще — вокруг, — что соединяло их, сближало и выделяло на этой улице. Что-то еще, определенно, было.

Вдоль реки, которая делила город надвое, колыхалось по обоим берегам черное кружево кустарника. Он всю осень рыдал, и по воде плыли яркие кустарниковы рыдания. Раньше дерзкие питомцы улиц, грязные, как будто бы ничейные мальчишки-сорванцы сидели у костров на берегах, прогульщики уроков. Они тоскливо перевертывали головешки, глядя на утекающий по реке листопад. За ними, пока родители были на работе, приглядывал небесный свет. Где-то за городом, после микрорайонов и предместий, на все четыре стороны тогда лежала сырым черным кислым куском пустая осенняя земля.

Мальчишки, конечно, ждали снега. Когда декабрь начинал грототать замерзшим бельем во дворах, они точили коньки и выходили, рискуя жизнью, вопреки запретам родителей, на слабый лед. Теперь-то, думал Марат, никто не жжет костров на берегу. А мальчишки-сорванцы, кажется, и вовсе перевелись. Жилец Каплина дома думал об этом с сожалением. Сожалел, что ли, о себе тогдашнем.

Сожаления простирались внутрь собственной жизни, где с некоторых пор гнездились тревожное недоумение: как он мог быть тем, кем он был еще три месяца назад? Какая слепота накрывала его? Кто надел ему на голову мешок? Кто залепил глаза и уши? Все закончилось теперь, но казалось, что жизнь обрабатывает его, как деревянное изделие, грубой наждачной бумагой — чтобы снять прошлое, лишнее, иллюзии и заблуждения.

Три месяца назад они с женой вернулись в домашний крах. В самолете было душно. И, несмотря на две недели ничегонеделания и морских

прогулок, в самолете он почувствовал, как страшно устал. В самолете он понял, что страшно устал вообще. Жизнь его проходила под диктатурой календаря, каких-то требований, необходимостей без конца. Когда он вылез из такси и в лицо дунул холодный влажный родной ветер, он подумал: этому нет конца.

Дома он снял пиджак и сел за стол в кухне. Жена прицепила свое пальтишко на ручку шкафа, выпила воды и молча ушла в спальню. Он не видел, что она легла, и позвал. А она молча перевернулась на бок и замерла. «Спит», — подумал он. И пошел зачем-то по квартире, натываясь на разные вещи.

Квартира была полна вещами — дорогими, никчемными, данью привычке. Синяя вазочка, красная вазочка. Тряпки, стекло, мебель. Синяя вазочка замерла в воздухе и рассыпалась на крупные осколки, так что он убедился, что внутри она белая и неприятно зернистая. Он провел по сколотому краю пальцем — чтобы еще больше ощутить эту неприятность. Даже зубы у него заломило. И порезался. Кровь капнула на ковер.

— Марик? — Жена из спальни позвала тревожно. Она будто услышала эту каплю, этот беспорядок.

— Ваза разбилась.

— Ну, котик! Если ты думаешь, что можно тут все громить, громи, пожалуйста. Только учти, Марат, что это и мои вещи тоже.

Она возмущалась, включила нитье, но он уже ушел в ванную, чтобы не слушать.

У них давно разладилось.

К вечеру улицу заволочло резко пахнущей сыростью. Он вдыхал ее, стоя на балконе, куда вышел покурить. Прель благоухала внизу, тополя казались гигантскими морскими губками, пропитанными, заполненными этим запахом. В этом году осень гасла стремительно. С ней, казалось, отмирают остаточные связи.

Когда Марат задумывался о природе их с Еленой отношений, то позволял себе одну вольность — допустить, что Лена любит его. И всегда боялся спросить об этом напрямую — это было бы странно: они были успешны, их маленькая семья считалась очень благополучной. Он, может, и спросил бы — если бы хоть на минуту мог представить такую картину: она кидается к нему и, счастливо улыбаясь, говорит: «Ты единственный, кого я любила, люблю и буду любить!» Ага, жди. Она скажет так, поджав губки, и ее острое лицо еще больше заострится: котик, мы же договаривались, у нас взаимовыгодное партнерство; ну конечно, я тебя люблю; а теперь давай подумаем, куда нам деть эти старые фото, старые книги, твою старую гитару, держать их нецелесообразно, микробы; ты к ним привязан? — ну это же грязь; хорошо, давай подумаем, как обеспечить чистоту...

«Хорошо, давай подумаем. Лена, мне больно оттого, что ты не дышишь со мной одним воздухом, оттого, что земля, по которой ты ходишь, — не та же, по которой хожу я. И мы, глядя в одну сторону, на одно расстояние, видим разные вещи. Я ненавижу твою выгоду,



Лена. Я хочу быть свободным. И любить тебя, ни с чем не согласуясь, а только лишь с...»

Он часто воображал этот разговор с женой. Но всегда терялся, запинался. Не мог продолжить даже в своих фантазиях. Ему казалось, что его искренняя речь покажется ей смешной. От этого в нем возростала та обаятельная ненависть, которая мучит еще не полностью перегоревших, но расстающихся любовников. Ненависть вырождалась в тоскливое чувство несвободы.

Купить бы жалобную книгу домой, повесить в кухне на гвоздике и писать там, записывать для нее, — чтобы она читала, чтобы понимала, как в нем все меняется и как становится непоправимо. Подходит время, когда он будет готов отказаться от нее. Невозможно больше, ложась в кровать, засыпать с кроватью, с подушкой, одеялом. Лена, ты дрянная, пустая, бездушная, иногда думал он, но только в сердцах. Любить некого. А ведь они женаты всего ничего, с тех пор, как он вернулся.

«Может, она любит кого-то еще? Любит ли она кого-то другого? Не может же человек никого не любить?» — думал он, стоя на балконе с сигаретой.

Но ветер сострадательно подвывал его догадке: она не любит никого и никого не полюбит, она — урод, и как, мужик, тебя только угораздило...

Утром Лена нервно и требовательно уговаривала его. Эта форма их общения, которую жена выбрала, — тоскливый, но упорный, гипнотизирующий уговор, — действовала для всех случаев, от покупки хлеба до их дел в общем архитектурном бизнесе (они на двоих держали небольшое бюро, на почве чего и развились их отношения). Речь шла о поездке на дачу к его родителям: он хотел ехать, она — нет.

Елена тянула, выматывала. Обычно он сдавался. Поначалу — с боем, потом, поняв несоразмерность усилий, — без боя, одномоментно. И даже стал находить в этом особое, болезненное удовольствие. Она часто говорила, что он удобный партнер. Прямо оскорбление какое-то, усмехнулся про себя Марат.

Поначалу он пытался сопротивляться — и делал все, чтобы развеселить ее, размягчить ее пугающую прагматичность. Он приходил с газетными кулками, из которых букетами торчали огромные красные леденцы на пластмассовых палочках. Она взвивалась: «Время леденцов прошло, дружок! Приличные люди не дарят женам леденцы!» Он улыбался в таких случаях, говорил: «Ну извини». Потом он приносил ей котят, однажды — попугая, в другой раз — щенка. Точно так же он таскал животных домой в детстве. Мать отправляла его обратно, запрещая даже на порог ступать. Она была медик и доставала всех излишней чистоплотностью. Лена тоже любила чистоту, но по другой причине — она брезговала. Наверное, поэтому, протестуя, он тащил в дом блохастое и гадящее... А потом он устал искать решение и просто перешел в режим соглашательства.

В то утро Лена не хотела ехать к его родителям, она физически страдала от присутствия старого, угасающего — вещей, людей. Родители

Марата были старые и жили на старой даче. Все преходящее, полуживое, все уже неясное, неочевидное вызывало у Лены панику. Она совершенно не могла есть или даже пить в присутствии стариков. Может, так ее существо заранее протестовало против своей подразумеваемой гибели? Впрочем, неприятны ей были и младенческие сопли, — наверное, поэтому у них все еще не было детей.

Марату казалось, что с некоторых пор он тоже вызывал у нее легкое — легче, конечно, чем старики и дети, — чувство брезгливости. Она морщилась, когда он кашлял, психовала, если оставлял ношенные носки на коврик у кровати. Она их поднимала двумя пальчиками и демонстративно несла через всю квартиру, чтобы в коридоре у дверного коврика — раз! — и разжать пальчики.

Она старалась, конечно, сделать его безопасным, дезинфицировать, растворить, обезличить. У нее на все была своя особая логика. «Особая, несопоставимая с жизнью, логика маньяка», — думал он. Она маньячка. На самом деле он давно так думал. Но, и думая так, оставался: вдруг все переменится.

— Не поедem... — тянула Лена. У нее, как всегда, была сотня отговорок. Не переменится. Никогда.

Неожиданно для самого себя, в порыве какого-то прояснения, Марат прошел в ванную, ополоснул лицо. Потом молча и размеренно, под ехидные упреки жены, собрал кое-какие вещи и покинул их общую квартиру.

— Вали, вали! — прокричала в лестничный пролет ошарашенная Елена.

Ничто, никакие мысли, не мешали его плавному исходу. Спокойствие накрыло его своим нежным одеялом, и он будто провалился в причудливое сновидение: спускался в лифте (ему было хорошо, что Елена кричала где-то там, за стеной, мимо него), аккуратно загрузил багажник (он видел, что она растерянно стоит у окна, не понимая происходящего), медленно ехал по городу, где все было приветливым, даже горевшие красным светофоры.

Ему, по счастью, было куда идти. Хотя это и неудобно — уходить туда, куда ушел он: в буераки семейной истории, где воздух тяжел, густ, поскольку содержит запахи лет за сто, в дом, больше похожий на коробку с выскакивающим чертиком, — родственница, прабабка Каплина, двоюродная и незнакомая, давным-давно покойная, оставила наследство в истончающейся вселенной деревянного города.

Как-то раз, еще до женитьбы, дом ему приснился — они с волком взошли на его черное крыльцо. В реальности Марат навещал дом лишь однажды, хотя жили они с Еленой не так уж и далеко. Внутрь не заходил, просто осмотрел его, как посторонний архитектор. Лена считала, что рухлядь должна идти под снос, а на участке можно отстроиться заново.

Теперь вот он стоит на крыльце. В Милане находится самая древняя деревянная дверь в мире — по крайней мере, так считается. И то, что он чувствовал сейчас, смахивало на тот благоговейный ужас, который он



испытал перед миланской дверью: эта тоже знала обо всем, что сотню с лишним лет происходило внутри, она предотвращала проникновения, не выпускала тайное.

Ключ охотно повернулся в замке. Дом дохнул на улицу затхлым теплом.

Глава 4. Маня Иванович

Маня Иванович приковылял к крылечку Каплина дома от самой больницы. Это километров пять. Учитывая, что у него теперь не было пальцев на ногах — двух на одной и трех на другой, подобный переход доставил мало радости. Хотя вообще-то преодолевать расстояния он любил и даже когда-то жил вдали от города, в поселке, где родился. Но это было в незапамятные времена.

Под воздействием некой юношеской неопределенной мечты он давно перебрался в город, успел завести и подрастерять в нем семейство и надежды, а взамен обрел неодолимую склонность к Бахусу и жизненный опыт странствования и пребывания. Он по очереди пребывал то в тигрятнике, пахнущем резко и безнадежно, то под каким-нибудь забором или в заброшенном строении, то — после заморозков и зимою — в больнице. Из больницы он сейчас и явился. И в этот раз — без пальцев на ногах.

— Прспал пальцы! — горестно шептал Маня Иванович, лежа на койке и рассматривая желтоватые и красные мясные потеки на бинтах. Соседи поворачивали головы, матерились легонько, но проблему понимали — уснешь, а потом можно и не проснуться вовсе. Все они были люди бродячие, «колодезные», пригревшиеся в городских коллекторах, а некоторые, посерьезнее, — «помоечные», проживавшие на свалке за городом. Так что все Маню Ивановича понимали. Но подбадривать его считали делом лишним. Да и то: разве ж это горе? Что ему с этих пальцев? Тем более что большие-то пока на месте, ходить можно. Вот если бы ногу по колено, как чаще всего в таких случаях и бывало, — тогда другое дело. Или, не дай бог, руку. Вот это уж совсем не дай бог!

И Маня Иванович скоро сам почти поверил, что ножные пальцы, ничемушные, кривые, потеря смешная и невеликая. Он бы и целиком, всей душой принял это мнение — если бы речь шла не о его личных, Маниных, пальцах. Про посторонние он подумал бы сразу именно так, рассудительно: мол, чепуха. В определенный час по коридору больницы обычно шел косой мужик с пластиковым мешком. Все знали, что у него в мешке. Однажды из него торчала нога ступнею кверху.

— Ноха! — кричал по-южному мужик, видя интерес пациентов, гулявших в больничном коридоре. Кричал мужик, словно на базаре, заунывно и безжалостно. Будто ноги — это рыбыны какие. Ну да, похоже, хмыкал довольный сравнением Маня Иванович: сизые, раздутые, блестящие, отмороженные и отъятые, чьи-то, но теперь без хозяина, ноги. Вот уж неприятная бездомность. Вот уж точно, сироты.



Обездоленные конечности аккуратно упаковывали, увозили куда-то на «пазике», больные глядели на него в окошко. И Маня о чужих ногах не сильно переживал — о посторонних потерях с легкостью рассуждает человек и забывает сразу. А вот когда его чепуховые пальцы отняли, долго провожал глазами «пазик», предположительно их увозивший.

Воспоминания о потере одолевали Маню Ивановича, пока он ковылял по полуденной провинции, солнечной, но холодной. В ожоговом центре при выписке дали ему, по благотворительной программе, хороший паек и запасное нижнее белье, веселые, в ромбик, специальные носки для калек, перевязочный материал на всякий случай. Но даже забота его не радовала. Ведь часть его тела где-то сожгли, утилизировали, так сказать. Пальцы рóдные пропали — а он идет, человек беспальный, по паспорту Мэлс Иванович, а по правде — неизвестно кто. И в любое время с открытой всем космическим ветрам площадки, которая называется глупой судьбой, может снести этого Мэлса Ивановича бумажного, паспортного за милый мой. И будет его потрепанное тельце в итоге лежать под серым шершавым бетоном. И хорошо, если имя на плите напишут. Могут и просто зарыть без следа. И зарюют ведь, подлецы. А душа его после этого рухнет в черный водоворот и погаснет. Ведь что же сделал хорошего Маня в жизни? Да, в общем-то, и ничего. Теперь себя по частям теряет. И кто подлец в этом случае?..

В скорбную закорючку сложились на секунду его губы. Расправив закорючку, Маня Иванович поднялся на крылечко и дернул дверь. Она поддалась. Дохнуло изнутри теплым запахом гибнущего и остывающего. Не зайти ли?

Хотя Маня Иванович временами критиковал себя и полагал, что ничего хорошего не заслуживает, его неудержимо влекла жизнь. Да и то, был он еще нестарый человек, лет пятидесяти пяти. А живому, нестарому нужно согреться.

Вообще-то он шел до своих. Свои жили на металлосвалке, где в процессе жизни и работали. Была у них хорошая теплая землянка человека на четыре. Алкоголик Дягилев обещал устроить на зимовку. Но сколько еще шагать? Он и трети не прошел. Это ведь еще из города выйти надо, да по трассе сколько пилить. Машина его не подберет, денег у него нету. Автобусы, развозящие дачников, по зиме почти не ходят. Значит, надо зайти, отогреться, а то и переночевать.

Отошел он к кустам оправиться, перед тем как зайти, перед отдыхом, а заодно осмотреть вокруг строение, казалось бы, нежилое. Маня Иванович вырос в серьезном деревенском доме. И теперь он разглядывал бревна, прицениваясь: сгодились бы они, если разобрать и другое построить. Материал удовлетворил. И, похлопав по бревну, вернулся Маня на крыльцо. Заметил закат, яблочный — сладкий и красный, значит, будет ветрено завтра. Постеснявшись ради приличия еще полминутки, приотворил дверь и вскользнул, оказавшись у лестницы широкой и шумной. Он на ступеньку беспалой ногой — а лестница поет. Он перильце хватать — а перильце мелодично скрипит. Маня Иванович, не ночевавший разве что в ласточкином гнезде, смутился.



— Едрить твой ангидрид! Вот балясина торчмя торчит, — бормотал он, обводя взором опасные места.

Дом говорил ему что-то на своем языке. И Маня Иванович соображал, где болит у дома: где сырость, где и отчего встал горбом пол, где повело стену. Дом жаловался и жаловался. И Маня Иванович плюнул — все болявки не пересчитаешь — и стал искать помещение для пребывания. Тем более что отпиленные пальцы заныли, зачесались.

— Привидения, фантомасы, едрена вошь!.. — формулировал Маня Иванович.

Привидения пальцев поплыли перед глазами — виноградины, кривые колбаски. Маня Иванович достал бутылочку, которая предназначалась для обработки ран, понюхал — спиртом не пахнет. Вдохнул, потом притулился к чему-то удобному, так и уснул.

Жилец Каплина дома скоро вернулся. Магазин, куда он ходил, был не сильно-то далеко, кварталах в трех, но стемнело в момент, а свет в доме не горел.

Ловко, не запнувшись даже, проник жилец в свою комнату, открыл ее ключом и нажал выключатель. Каждый вечер он переживал, что свет не включится, — проводку надо было срочно менять.

На столе у окна лежал большой белый конверт с печатью учреждения, дожидался внимания. Пока чайник закипал, Марат разорвал конверт, неаккуратно, торопясь. Он волновался. Бумаги, которые извлек, развернул и расстелил на столе, как скатерть. Это оказались чертежи — ксерокопии чего-то старого, в черных отпечатках сгибов, измочаленных краев. Он вздохнул облегченно — да, то, что надо! Повисел еще над столом, потом взял один лист, в ящике стола нащупал фонарик и вышел в темень коридора.

Дверь его комнаты, оставленная открытой, выпускала свет, растекавшийся густо, медово по рухляди, по ступенькам, по ошметкам дермантина, которые колыхались от сквозняков на других дверях. Многие не закрывались до конца, разбухнув от сырости влажного лета и промозглой осени, — пока единственный жилец не начал топить сохранившиеся на первом этаже голландки, чтобы просушить внутренности здания. Притащил тепловую пушку.

Советские чугунные батареи висели по стенам и под окнами, как ржавые якоря. И напоминали, что суденышко это, Каплин дом, давно списано и следует с этим мириться. Но двери пели от сквозняков, в голландках похрустывал дровами голодный огонь, и в доме звучали еще шаги и голоса. И даже стекла были целы. Так что с помиранием можно и погодить...

Фонарик выхватывал факты разорения, жилец огибал завалы и заторы, открывал двери, обходил владения. Печи были теплы.

Но вот что это? В небольшой комнате у самой лестницы пахло табаком. Сам он в доме не курил. Но может быть, это дом дышал, выдыхал какие-то старые запахи, которые хранил? Марат иногда замечал, что появляются откуда ни возьмись незнакомые старые вещи в углах,

которые он только что очистил. То вдруг щекотал ноздри запах пирогов в какой-нибудь комнате. То вдруг духами пахло над лестницей на второй этаж. Привидения, что ли? Наверное, так дом говорит с ним. Так они знакомятся. Ведь его право быть здесь неоспоримо.

— Ты это понимаешь, мастодонт! — Марат хлопал рукой по бревнам, словно по гигантским несокрушимым ребрам. Если бы это было живое существо, он бы увел его отсюда в счастливые и теплые края.

Из коридорного окошка дуло. Марат приставил к окну картонку — закрыть щель. На картонку приклеена фотокарточка, старая, испорченная безвозвратно. Чья? Неизвестно чья. Он подумал: счастливцев тот, кто владеет кучей карточек, пусть старых, линялых, с загнутыми углами, в трещинах и пошлой ретуши. Счастливцев объясняет, что это вот — его прадедушка, начетчик в Вятке. Это — прабабушка, схоронившая в Чите трех мужей. Семейные истории — лекарство, хотя нас и не учили любить всю эту ветхость, а учили презирать провинции и буреломы памяти, а взамен мы получили свое будущее, в котором пустота совокупляется с пустотой.

Фонарик, бросавший луч на фото, погас: отошла батарейка. Темнота улицы стала проглядываемой. В ней как будто ходили какие-то давешние люди. Может, это бегала его родная прабабка с сестрой и братом? Марат не знал двоюродную прабабку, купеческую дочку Евдокию Каплину, по воле которой он получил дом. На фото ему, десятилетнему, показывали детей — двух девочек и мальчика. Дуняша была старшей среди детей, красивой девочкой. Он, конечно, наделял незнакомку дальнейшей судьбой. Вот она невеста, танцует с цветком в волосах. Ее муж — принц, на самом деле — пират; вот и она становится пираткой и уплывает на паруснике с черными парусами...

Марат легонько стукнул фонариком о подоконник — тот загорелся снова. Взрослым он узнал, что прабабка умерла бездетной. Все замаливала какие-то грехи перед семьей, говорила мать. Она не любила рассказывать о своей родне, ей было неинтересно, только припоминала иногда легенду о гибели в революцию купца Каплина и его последней жены, легенду, серым облаком витавшую в семейной памяти. Родные по материнской линии друг с другом не общались, разъехались кто куда — и семейное предание таяло, становились все более неопределенным. Так всегда бывает, если история остается только в документах, если ее не питает живой интерес. Каплина упоминали в краеведческих книжках как авантюриста и мецената, но это были слепые буквы, слепые слова, это были черные значки на равнодушном белом. Надо бы разузнать подробнее, подумал Марат, вспоминая прабабку-пиратку, которая снилась ему в детстве одноглазой и вооруженной до зубов.

Наконец, хозяин вошел в комнату, из которой распространялся запах табака, и остановился, чтобы обследовать печь, трогательную голландку в европейских изразцах — девочка и петушок. Он поднес фонарик к бумаге с чертежом, затем перевел свет на топочную дверцу.

А фонарик вдруг выхватил из темноты посторонний предмет, лежащий под кафельным боком голландки. А точнее — неизвестное,



накрытое ветхим одеялом каких-то дедовских времен, тело. Это был Маня Иванович, он уснул, освободив из ботинок покалеченные ноги. У окна белели дрова, похожие на голые, обглоданные кости. На дровах, притворяясь в темноте большими сонными птицами, дремали сырые языкастые ботинки.

Марат потянул за одеяло. Из-под него показалась крупная спящая голова.

— О, гости! Что ты тут делаешь, мужик? Еще ботинки расставил... — Марат удивленно пошевелил тело ног.

— Сплю. Слепой или что? — Маня Иванович, как и всякий человек, проживающий на улице, быстро очухался ото сна, подобрался, привел себя в сидячее положение и кулаком, по-детски, протер глаза.

Марат зыркнул фонарем прямо в лицо Мани Ивановича и присвистнул:

— Ну у тебя и рожа!

Действительно, рожа у Мани Ивановича была совсем неказиста: кругляшки глаз подзаплыли, а щетина будто черным туманом обволокла все лицо. При таком обманчивом освещении казалось, что даже лоб гостя крепко зарос черным волосом. На самом деле это была шапка, которую тот надевал на ночь даже в больнице, — боялся менингита. Был у него пунктик. Врачи над ним шутили, а один молодой докторишка прочитал лекцию про менингит. Что, мол, микробное проникновение в мозги, и все такое. Но что этот сопляк знает про менингит?..

— А что тебе моя рожа? Не на рожу надо смотреть, а на то, что у человека пальцев на ногах больше нету. Пропали пальцы! Все, как есть, до одного! Из больницы иду... — Маня Иванович даже всхлипнул, иллюстрируя потерю. И поднял вверх короткую ступню, надеясь разжалобить человека.

Марат пробежал фонариком по Маниной печальной фигуре. Поставил, подумал. Ладно, ночь все-таки на дворе.

— До утра спи. Не кури только, дом спалишь. А утром уходи. Понял? — сказал и тут же укорил себя за глупое мягкосердечие.

— А ты сам-то кто? Комендант, что ли? — не сдержался, язвительно хмыкнул Маня Иванович, рукой обводя запущенное хозяйство и обнеся затем пространство как хлебом-солью затейливым спелым матерком.

— Хозяин. Еще вопросы?

— Тут народ хозяин, — сказал Маня Иванович и сам смутился. Потому что какой, к чертям собачьим, народ...

— Какой народ? Ты кого-то, кроме меня, здесь видишь? — Марат подошел ближе, фонарный глазик пристальней уставился в лицо Мани.

Тот смекнул, что зря полез в бутылку. Лица человека он не видел, но, судя по голосу и росту, крупный тип. Выкинет, как шавку. Люди как раз сейчас такие, долго не думают.

— Ну хозяин так хозяин. Я буду тихо. Ты, это, извини, мужик. Я так...

— Спички и сигареты заберу.

Маня Иванович послушно протянул измятую пачку и сверкающую зажигалку, которую присвоил, втихаря изъязв у соседа по палате,

домашнего старичка. Старичок его жалел, ну, небось, не будет в обиде за такую мелкую покражу. Хозяин прошуршал — видать, сунул Манино добро в карман.

— Спокойной ночи. И не шали.

— Ты не обижайся, слышь... Вижу, ты с пониманием. И сигареты, это, не скури. Последние, слышь!

— Не скурю, — хмыкнул Марат и отвернул фонарик.

Свет удалился. Хлопнула где-то дверка. Маня Иванович радостно поплыл обратно в облегчительную бездну сна.

Утром Маня Иванович не смог встать. Он проснулся оттого, что все тело ныло и ныло. Даже в голове, казалось, раздается это мерзкое нытье. Снял носок — и от зрелища покрылся холодным потом. Ступни его распухли и покраснели. В больницу его, наверное, больше не возьмут. А с такими ногами на улице верная смерть. Ни пожрать, ни выпить, ни, стало быть, согреться.

Марат, пришедший спроводить гостя, обнаружил его сидящим возле печки и озабоченно разглядывающим красное, больше похожее на отростки коралла, чем на человеческие ноги. Марат смотрел молча, а внутри весь содрогался, плохо соображая, что теперь следует делать. Он всегда робел перед телесным недугом, перед полнотой боли, которую внезапно чувствовал в другом человеке.

— Ты, слышь... Я тут у тебя побуду, у печки. А то не дойду до своих... — У гостя зуб на зуб не попадал, его знобило.

— Что ты тут делать-то будешь? Чего вылеживать? А вдруг заражение и ты тут... — Марат чуть не сказал «помрешь». И, досадуя на себя за такие, пусть и не сказанные, слова, ерошил волосы.

— Ну не дойду я. Не на чем, братан. Не помешаю, смирно тут буду лежать.

— Куда идешь-то? — тихо спросил Марат и понял, что не к месту спросил: зачем об этом спрашивать сейчас?

— Из ожогового центра к друзьям шел. Они там живут... далеко... У них остановиться хочу, пока... пока не обустроюсь. — Маня Иванович махнул рукой в пространство и подтянул одеяло к подбородку.

Слово «обустроюсь» вырвалось у него помимо воли. Где бы он стал обустроиваться? Но перед этим, перед хозяином, неудобно как-то сказать, что он бездомный без надежды на всякое обустройство, что все его обустройство — в землянке у друга, убежденного алкаша Дягилева, или в колодце, где проходят горячие трубы. Да и то, еще неизвестно, не выгонит ли Дягилев. Он мужчина себе на уме. Ему лишние калеки, наверное, ни к чему. Он же про пальцы не знал, когда предлагал место в землянке. А ведь если место дают — стало быть, и работать надо, железяки таскать.

— Ладно, сиди пока тут. Сейчас что-нибудь придумаю. Скорую, может, а?

— Не возьмут.

— В смысле? Как не возьмут? У тебя же ноги...





— Ты на меня внимательно посмотри. Ты бы взял? — неприятно ухмыльнулся болящий.

Марат оглядел незнакомца внимательно. При дневном свете он заметил огромное зеленое пальто, которое служило и матрасом, и верхней одеждой, и вытянутые трикотажные штаны. И рассмотрел лицо. С холодным и непривычным внутренним стыдом подумал, что нет, наверное, не взял бы. И про себя уstraшилcя такой правды.

— Ты из какой, говоришь, больницы идешь? До двери дойдешь? Сейчас... — Хозяин убежал.

Маня Иванович вздохнул, сжался весь — э-эх, выгоняют все-таки... Очень уж ему не хотелось на улицу. Впрочем, он уже привык, что внезапно нужно сниматься с места и уходить, даже если идти, по-хорошему, невозможно. Он бы поогрызался еще, а может, и поумолял бы. Но силы уходили. Он собрался, дополз до ботинок, сгреб их и, кое-как поднявшись, поковылял к двери.

— Эй, куда собрался? — Вернувшийся хозяин протягивал ему ворох одежды: — Переоденься, а то в машину не посадят.

Маня Иванович бездумно переменял одежду, уже плохо соображая, и шумно опустился на пол у печки, вытянув ноги в веселеньких благотворительных носках.

Скоро доктор и два прыщавых помощника, видать студенты, осматривали конечности пациента.

— Чистые, — кивнул на носки Маня Иванович, когда заметил, что прыщавые внимательно оглядывают его ноги. И мысленно поблагодарил неведомых благотворителей.

— Доктор, в ожоговый отвезите. Он из ожогового пациент... — Марат мешался под ногами.

— Родственник? — спросил молодой высокий доктор с ярко-голубыми, шальными глазами, легкомысленно и неумолимо жуящий жвачку, время от времени выдувая маленькие резиновые пузырьки.

Марат подумал, рассматривая этот мерно двигающийся жевательный механизм, и сказал:

— В какой-то мере.

Доктор вытащил из кармана тетрадь. И уставился на Марата небесными крошками:

— В какой же? Имя, фамилия пациента, год рождения...

Марат взял доктора за локоть и, нагнувшись, тихонько, но настойчиво сказал, чтоб не слышали прыщавые:

— Человека в больницу заberi. А там все и узнаешь.

Доктор усмехнулся, приостановил жевание, поморщился, подвигал плечами, словно у него случилось какое-то неудобство в спине, и проигнализировал своим:

— Грузите.

Те понесли Маню, а сам распорядитель еще постоял, пожевал, потер лоб, пооглядывался вокруг — место уж больно неожиданное. И, сощуриив глаза, как-то сочувственно, по-товарищески спросил:

— Тебе это надо?

Марат промолчал. Только кивнул неуверенно, не поняв в точности, к чему относится «это» — к человеку или же к дому.

— Ну и хорошо, что надо, — удовлетворенно сказал доктор и вышел.

Так Маня Иванович отправился обратно в больницу. Уколотый обезболивающим, тихонько грустил он на носилках, глядя на санитаря, который качался согласно движению. Он пробовал восстановить в памяти того, кто отдал ему свою одежду и неожиданно назвался родственником. Лицо не представлялось во всей полноте. Он, по правде, его вообще не разглядел — сначала в темноте, потом в воспалительном приступе. Мане Ивановичу сделалось неловко. Да уж, такой вот он родственничек.

После того как уехала машина, Марат долго еще торчал на крыльце, смотрел в утренний туман. Потому что незнакомый человек вторгся в его безлюдное существование и нарушил его. Марат вспомнил Елену и неожиданно ощутил удовлетворение оттого, что ее нет больше рядом.

Глава 5. Нольберг

Двое злоумышляли против человека по фамилии Нольберг. Они вынашивали свои не слишком коварные планы скромных вымогателей уже второй месяц — задание, которое они намеревались получить в этом кабинете, внезапно отменилось, и они жаждали компенсации. Однако Нольберг выпихивал парочку из своего скучного обиталища до того, как она успевала что-либо сказать — а значит, и совершить.

Отослав противных гостей и в этот раз, Виктор Нольберг разместился в узком кресле и, покручиваясь то в одну, то в другую сторону, мечтательно глядел на бумаги, которые были разложены в разноцветные папочки на дальних углах стола. Между ними располагался тяжелый письменный прибор из яшмы — подарили сослуживцы. А середина стола была пуста. Это потому, что Нольберг любил смотреть на бумаги отдаленно, когда они лежали спокойно, символизируя порядок, в котором Виктору Викторовичу отводилась хорошая, достойная роль.

Фантастические силы смиренно лежали, укрытые пластиковыми сава-нами, синими и красными, и выставлялись на белый свет лишь своими острыми краями — как мульташные вампиры в гробах острыми носами и скулами. Так же и оживали — внезапно, в нужный момент. В них заключалась какая-то сверхъестественная мощь, благодаря которой мог безбедно, с затеями существовать и он, и его отец, и двоюродный брат Вадик, и еще отец Вадика, окопавшийся в дорожной службе. Они, эти бумаги, давали работу легиону служащих, существовавших, так или иначе, за счет белых гладких листков. Оказываясь в обед в скромной столовой, куда его коллеги стекались непрерывным потоком с двенадцати до двух, Нольберг восхищался тем, какова же власть бумаг.

Постучалась Рая, секретарша. Она принесла еще папочку, почти-тельно положила на стол.

— Ты лучше кофе принеси, — встревожился Нольберг, отодвигая папочку на край столешницы.



Ему оставалось досидеть два с половиной часа до конца рабочего дня. Он не ждал, что сегодня ему придется думать еще над чем-то посторонним.

Иногда на него находила какая-то детская слабость, будто бы одна его половина ясная, предсказуемая, полезная, а другая — темная, незнакомая, опасная. Красивое лицо тогда искривлялось гримасой, со стороны — будто бы беспричинно. Раечка поначалу думала, что это приступы высокомерия или брезгливости, но быстро поняла, что начальник в принципе высокомерен, а гримаса относится к чему-то другому. И определила, что «рожа» появляется, стоит только Нольбергу попасть в неудобную или неловкую ситуацию. Стало даже весело — в такие моменты Виктор Викторович выглядел просто невозможной копией своего папаши, который, бывало, заглядывал к сыну в кабинет. Правда, старший был человеком жестким, а отпрыск казался слабаком, даже споров с папашей избегал, на все как будто бы соглашался.

Поначалу Раечка злилась: мол, приставили ее к какому-то доходу, которого и шефом-то называть стыдно. Очевидно же — человек не на своем месте, нет в нем ни соображения, ни воли. Потом ее отношение к начальнику изменилось. Он был человеком с двойным дном, неустойчивым каким-то, поэтому опасным.

Нольберг-младший всю свою недлинную жизнь искал возможность быть таким же сильным и бескомпромиссным как отец. Главным словом воспитания в их семье было вопросительное, с вызовом «Слабак?». Он отлично учился, серьезно занимался плаванием, стал юристом, женился — и все это для того, чтобы батя не сказал ему через губу, прищурив глаз: «Слабак?» Чтобы чувствовать себя защищенным, чтобы слабость не могла застать его врасплох одного-одинешенька. Стоит только ему оплошать, его сомнут, сожрут, расстреляют. Отец так и наказывал подчиненных, еще когда работал большим начальником на ГЭС, — буквально, ставил их к стенке и расстреливал речью, полной злых и даже запрещенных слов. Так же он обходился и с его матерью, да и с ним.

Виктор Викторович и в свои тридцать пять робел перед отцом, когда тот заходил внезапно в его кабинет — бывший свой, зыркал по сторонам, словно проверяя, все ли на месте. Сам он занимал большущий кабинет этажом выше. Туда младший Нольберг старался без особой надобности носа не показывать. У него — и он это понимал — не было ни номенклатурной хватки отца, ни его опыта, ни его уверенной ловкости, усвоенной в этих широких коридорах, смягченных ворсом красной ковровой дорожки под ногами. Тюп-тюп-тюп — так звучали здесь самые решительные шаги Виктора Викторовича. С этим ковровым тюпаньем прокравшись до кабинета родителя, он обычно долго топтался возле, примеривался, как взяться за ручку кабинетной двери. Но чувствовал себя здесь посторонним.

Он завидовал отцу, которого, несмотря на жесткий характер, уважали всегда — и когда-то на предприятии, все, до последнего бетонщика,

и здесь, в этой закрытой от общего глаза вселенной государственной службы. Отец умел решать самые сложные вопросы, умел настоять на своем. Может, его и не любили, но дело у него всегда шло.

Открылось окно, в кабинет ворвался ветер. Рванул со стола все невесомое, раздул бумаги по кабинету. Вмиг стало холодно, а на полу — бело. словно в помещении повалил с высоченного потолка снег.

— Рая! — громко, глухо, противно, словно в жестяную баночку бил, позвал Нольберг, упавший в мысли об отце, как в яму. Слабость заставляла его быть жестким. И таким он себя любил, таким он казался себе похожим на отца.

— Ой, я сейчас уберу... Ой, не волнуйтесь! Там все пронумеровано. — Рая, хлопая коровьими огромными глазами, смотрела на шефа, изображая встревоженность.

Она знала этот его голос — значит, в ближайшие дни он ее совсем замучает, будет стервозить и тупить. Придется самой делать большую часть работы.

Наивно-глуповатое выражение Раечкиных глаз, так же как вообще ее внешность и особенно секретарский макияж, было обманчивым. Рая обладала живым и расчетливым умом. В архитектуре и городском обустройстве она разбиралась, надо сказать, куда лучше своего начальника. Раина мама гордилась, что дочка получила хорошее образование и неплохое местечко. И рассчитывала, что и жениха через свое служебное положение Раечка заполучит достойного. Представления о жизни, о комфорте, о счастье дочери строились на ее собственных неосуществленных планах. Рае, когда она вспоминала маму, всегда хотелось плакать — оттого, что мамины мечтания настолько не сбылись, что мама больна и почти не выходит из дому на своих толстых слоновьих ногах с огромными, как синие канаты, венами.

Мама была из предместья, из простого трудового семейства — рабочих мамы и бабки. Женщины в Раечкиной семье на протяжении двух поколений заворачивали конфеты на кондитерской фабрике. (На Раечкино счастье, фабрику закрыли, а то заворачивать бы и ей сладости без продыху.) Мужчины в семействе обычно долго не задерживались, сбегая от своих безрадостных, угрюмых и требовательных женщин, которые, что бы ни делали, казалось, все монотонно заворачивали и заворачивали конфеты. От таких любой убежит. Так что Раечка своего отца понимала: помер, все равно что сбежал — зашибло насмерть на стройке. Отчим просто однажды ушел, в соседний дом.

Вдовствующая, а потом и брошенная, мать неистово хотела, чтобы Раечке досталась хорошая жизнь. На сына, Раечкиного брата-погодка Толика, она рано перестала обращать внимание, ей казалось, что мальчики растут сами по себе и что от них потом все равно никакого толка — женится или уедет, и поминай как звали. А вот дочь — это другое (она и сама не бросила свою сварливую мать, и та мотала ей нервы, пока не преставилась). Все свои схематичные мечтания она посвящала дочери, а через это — и своей старости: мол, не останется одна, будет





за ней присмотр, гарантирован стакан воды. Раечка за эти досадные, убогие мечтания жалела маму.

Когда Нольберг спешно покидал кабинет, помощница, ползая по полу, собирая под столом разметанные ветром бумаги, размышляла о маме и о том, что было бы, если бы вдруг, по стечению сказочных обстоятельств, она заняла бы удобное кресло за этим столом...

...Еще через полчаса те двое, которые всякий раз изгонялись из Нольбергова кабинета, сидели на кухне новой квартиры в новенькой многоэтажке. Один пил водку, а второй не пил, только хлебал борщ и поддевал с блюда сало. Поэтому у второго, на чьей кухне они и сидели, были жена Дарья и дочь Настька. А у первого жены не было, а была где-то дочка, но далеко, он никогда ее и не видел.

— Долго сидеть будем? — Дарья вплыла на кухню серым облаком.

Это была ее новая, еще не освоенная кухня, территория, где она деловито устанавливала свое владычество. Муж на кухню не претендовал, а вот второй... Острым взглядом она глодала и посетителя, и мужа, непримиримая, как акула. Тем более что и мебели в квартире не густо — старую выкинули, новую не купили, на все сразу денег не хватило, — и Дарью очень интересовал стул, на котором сидел гость. А заодно и стол — дочка Настька достала краски, альбом и уже полчаса ныла, требуя светлого места для рисования. Им, переселенцам из ветхого жилья, за государственный счет досталась все-таки не самая лучшая квартира: с обеими комнатами на теневую сторону и только с кухней — на солнечную.

— Все? Натрескались? — сурово поинтересовалась Даша, сложив руки на груди.

Она была богатыршей, могла поднять мужа и покрутить его в воздухе. Толик это чувствовал и никогда не спорил.

— Ну? Все?

Толик притих, отложил ложку. Гость вздрогнул, выпрямил длинное тело, скрюченное над столешницей, отодвинул стул.

— Кобыла, иди сена пожуй! — и вышел совсем. Только дверью входной, квартирной, хлопнул сильно. Резкая Дарья ему совсем не нравилась, хотя он и был ее единокровным братом Евгением, по-семейному — Жекой.

— Иди, иди! — заорала вслед и Дарья.

Брат отсидел свое, потому что был в гневе неукротим, прибил одного мужика. Даша знала о рисках, но временами в ней зашкаливало. Она и сама становилась похожа на буйного родственника, особенно теперь, когда ее жизнь, не шибко-то богатая, но зато спокойная, к которой она привыкла, находилась в зоне риска. Она чувствовала это, хотя и не могла предъявить конкретных подозрений. Дарью тревожили таинственные планы, которые с некоторых пор обсуждали муж и брат. Ее не посвящали, мол, не бабское дело.

Она подумывала позвонить отцу, пожаловаться, поделиться подозрениями. Но отец был очень стар, дышал на ладан и каждый раз, когда она, любимица, его навещала, прощался. Мать все чаще заговаривала

о гробе и ритуальных услугах, мол, надо бы заранее заказать. Это сначала было страшно, потом стало просто утомительно и печально. Даша отчитывала мать — чего живого хоронит. А потом подсаживалась на отцову кровать — тот быстро утомлялся и уходил лежать, — прикрывала голубеньким детским одеялком его ноги и смотрела. Он действительно уже уходил, но что-то держало и держало его. Даша содрогалась, представляя, что и она может вот так же застрять между жизнью и смертью. Так себе существование. И удивлялась, что она молода, тридцать с хвостиком ей, а отец ее так стар. Даша была его последним ребенком из трех, Евгений — старшим, от первой покойной жены. Конечно, отец, некогда сильный и горячего нрава мужчина, не смог бы повлиять на сына, повидавшего виды.

Может, обратиться к сестре? Сестра Аня проживала недалеко от их прежнего дома, в частном секторе. Она была плодоносяща, как старая кривая яблоня во дворе. И некрасива, как эта яблоня. И так же молчалива. Только шелестела иногда стиркой, тряпкой. Муж ее уважал, но любил на стороне женщин поинтереснее. Аня знала, но не укоряла — что ж делать, если Бог дал ей такую узловатую натуру. Муж, как бы в ответ, завел магазинчик и очень щедро содержал ее и детей, поставил хороший дом. Нет, Анне не пожалуешься — что она сделает? Только расстраивать...

Даша была не такой, как Аня. Даша была большой и красивой. Даша хотела руководить своей жизнью и строить счастливое, тихое будущее. В детстве они с братом Жекой кроваво дрались, и часто она побеждала. Но когда ж это было... Теперь его так просто не усмиришь.

— То-о-оль, — загундосила Даша, — что у вас за тайны такие, расскажешь, а?

Она решила выпытать все хитростью. Выпятила живот. Они ждали второго ребенка.

Толик заулыбался, мечты о продолжении рода были самыми сладкими его мечтами. Конечно, Жека прав, семью надо кормить-поить. Но он и так кормит-поит, не голодают. Шубку Дашке купили, для пуза. Толик поглядел на жену. Да, они, младенцы, внутри женщин живут такой непонятной одинокой жизнью, и настанет момент — вылупятся, попадут в шумный, опасный мир. Их еще надо научить быть стойкими, держать удар. Сердце у Толика сжалось, забродила в нем жалость, сам не знал, к чему и почему. Он, конечно, был силы невеликой, так себе, но достойно нес свое существование, скромный, но хорошо оплачиваемый автослесарь и отец семейства.

— Дашуль, ну какие тайны? Ну ты чего навывдумывала себе?

И Жека, конечно, прав. Конечно, стесняться нечего. Они хорошо заработают. Жека, конечно, свое прогуляет. А он, Толик, свою долю отложит, пригодится им с Дашей, Настьке и тому, кто сейчас плавает в утробе.

— Дашуль, может, чайку заварить? — Толик сделал попытку заговорить жене зубы, чтобы за пару минут придумать, как правдоподобней соврать. Дарья нехотя шагнула к чайнику.



— Я вчера какой-то хитрый чай купил. Продавщица сказала, очень ароматный. Вот его.

Да, Жека прав, пожалуй. Сделать надо по его плану, двойные деньги загрести. Везде уже новые дома, а тут — старье, пусть уже его заменят. Там уже даже бомжей нету. А с этого модного, с поганки этой, взять за молчание. Сам-то он, наверное, куш сорвал так сорвал... А дело-то противозаконное все же — пожар устроить. Рискуют они все же. А эта сволочь серая еще и торговалась до последнего. Небось с канистрой по морозу не ему бегать! Кому бегать — это им с Жекой найти предстоит, сами-то — нет, не побегут, только на крайняк, как запасной вариант. Риск большой, Жека говорит. Хотя в чем риск? Кто их увидит, с другой стороны? Зато все деньги им останутся. Кто не рискует, тот не пьет шампанского...

В предвкушении богатства Толик весело накручивал себя и уходил в революционные кухонные мечтания. Лично против Нольберга Толик ничего не имел. Лично против *таких* не имел ничего ни он, ни его товарищи. Потому что в *тех* не было ничего личного. Они в сознании автослесаря Толика существовали фигурами, представляющими непоименованную силу. Не зло пока еще, но уже и не добро. Эту зыбкую силу такие, как Толик, тайно ненавидели — ибо за чей счет *те* жируют? Но одновременно признавали и простодушно завидовали, мечтая приобщиться.

Раздался звонок. Еще один. Еще один.

— Сестра твоя, что ли, пришла, нетерпеливая? — пробурчала Даша и завопила, отставив заварник: — Райка, щас! Щас открою!

Глава 6. Философ

...Один старый поэт-эмигрант говорил: что вы понимаете в свободе, вы, молодые! Вы ее не желали, как жену лучшего друга! Вы не проливали о ней слез в камерах хрущевских кухонь! Не страдали за нее через нищету и всеобщее порицание! Не прорывались к ней через танки!..

Да, все так. Но мы ее получили. Такую несмелую, всю в ваших липких отпечатках, свободу. И даже не опознали ее сразу. Что, думаем, за чудо-юдо, что за неопределенность и субстанция? Эта глина, которую вы назвали свободой, расплзлась, размокла. Мы в ней только вязнем, мы не знаем, как лепить из нее. Да и вы не знаете — это мы увидели, в этом мы убедились.

Так что не готовы проливать о ней тайные или кровавые слезы. И вообще, мы не уверены, что эта жидкая ерунда, которую вы назвали свободой, — и есть свобода. И уж точно, она не лучший строительный материал для счастья.

Да, мы не были на вашем месте, но мы были после вас. Если свобода — это форма безответственности или вариант рога изобилия, в чем вы пытались нас убедить, то нам такая больше не подходит, — и спустя десятилетия мы хорошо разбираемся в этой вашей свободе. Нас от нее даже тошнит.

Мы весьма даже в ней разбираемся, наблюдая теперь наших собственных детей — инфантильных, безыдейных, полностью независимых. Их не интересуют крупные вопросы бытия, они обитают в торговых центрах — они свободны. Конкуренцию им могут составить разве что юные карьеристы, но и здесь мы упремся в стену пользы — они просто хотят хорошо, богато и причудливо, жить. Кругом — одно ничтожное.

Так что не учите. Ваша так называемая свобода — это прекрасные глаза дьявола. Это скука дерзаний. Вот если бы вы хотя бы показали нам приблизительный способ укрощения этой глины... Но, конечно, у вас, к нашему несчастью, не было и нет рецепта...

Так беспокойно думал Леня Абрикосов. А он бывал особенно неспокоен, если вдруг появлялось ощущение, что свобода, которая стала для него главной темой для размышлений еще в юности, — это что-то совсем другое, совсем не то, о чем он думал раньше. «Россияне могут помочь премьер-министру придумать кличку для его новой собаки. Каждый желающий может прислать свой вариант клички на его сайт. Одна собака у премьера уже есть. “Конечно, очень важно, как они выстроят свои отношения”, — отметили в пресс-службе премьер-министра...» — читал Леня в новостях. Боже ты мой! Это признак свободы?! Леню мутило, он физически ощущал подлость времени.

— Свобода в итоге ведет к уничтожению себя. Свобода — твоё несуществование. Сочинители вечно пеняют на недостаток свободы. Но нет же! Нет же! — кричу я. — Наденьте на меня наручники, обмотайте ноги колючей проволокой — верните, наконец, ценность слову «свобода»!

Леня так думал, кричал внутри себя — и ему было тесно. Лене казалось, что он в червивой яме. И зубастые черви пока не грызут его, как капустный лист, только потому, что хорошенечко не разглядели. Леня был псих. Окончательный, проявленный псих. Он это знал так же хорошо, как свое имя. И даже мама уже подозревала... Боже, но как же тесно!..

Он думал: хочу знать о желании воли и возможности свободы для конкретного русского человека!

— Помойка — душеспасительное жильё по сравнению с вашими золочеными конюшнями! — закричал Леня кому-то, заорал в балконный проем.

Уже холодно, пора закрыть чертов балкон.

Лене было сорок три. Сто лет назад он вышел с философского факультета — один из шестидесяти выпущенных в тот год философов. Они, философы, всегда состояли в приятельских отношениях с журналистами. Это был симбиоз. Они мыслили, где бы зависнуть и дать разрядку своим молодым нервам — поговорить, поспорить о свободе, а журналисты притаскивали материал — выпивку. Но это сильно в прошлом. Теперь Леня спорил о свободе то ли сам с собой, то ли с кем-то невидимым, — никто из живых знакомых, даже на факультете, больше не хотел о ней



говорить. Тогда они еще много говорили и о женщинах — в нежном возрасте о женщинах говорят едва ли не больше, чем о свободе. Потому что поначалу кажется: чем больше женщин, тем больше и свободы. Но теперь и это кончено — стало очевидно, что это совсем не так. Тем более Леня влюбился.

Сумрак, мастер женских полуфигур, преподносит нам женщину как существо плавное и текучее. Это обман. Женщина не существует в заданном русле. Если, конечно, под руслом не понимать природу — но природные тяготы существуют в ней лишь компасом, указателем направления, и только. Русло женщины образуется и преобразуется, соотносясь с нуждой момента. Она может накрыть собою все, а может быть точкою в пространстве и, сидя на своем удобном диване, не отвечать на звонки мужа, не обращать внимания на детей. Она в этот момент может просто существовать, воображая себя вселенной на краю галактики, принцессой в башне или итальянкой на шопинге — кому как больше нравится. Не стоит в такие моменты пытаться выяснить с нею отношения.

Леня Абрикосов всего этого не знал. Он, бедняга, даже не догадывался об этом. Элеонора — какая фантазия наделила это существо столь ярким именем? — цокала коготками о полированную крышку стола, болтала правой ногой, легкомысленно положенной на левую. Голова ее была прекрасна. Эта голова умела говорить. Но что она говорила! Иногда Леня приходил в ужас.

Только нелепая, необузданная и извращенная случайность могла соединить Леню и Элеонору. По правде, знакомы они были с детства — вместе росли, так как родители их работали на одном секретном производственном предприятии. Леня и Элеонора ходили в одни ясли, в одну школу, ездили в один пионерский лагерь при комбинате, где их мамы и папы собирали гигантские самолеты. И все для того, чтобы созрел этот кошмар: в сорок лет Леня вдруг влюбился в Элеонору. Может, переезд в новый дом так на него повлиял? «Господи, ну почему любовник Элеоноры не купил ей квартиру в каком-нибудь другом доме!» — вопрошал Леня уже не Канта с Гегелем, а Всевышнего. Вот до чего докатился — Всевышнего! — что тут еще скажешь...

Есть такой род чувства, который в просторечии именуется безумной любовью. В случае с Ленией это было истинно так — невыносимо. Что в нем, какая сумасшедшая косточка хотела слышать этот голос, видеть это все? В школе Элеонора была самой глупой девочкой, вообще самой глупой, какую он только видел в жизни. И она не поумнела. Элеонора была фатально глупа и так же фатально хороша собой. Но Леня вдруг полюбил ее целиком, вместе с ее незатейливым умом и затейливой прической, которые в его глазах соединились в одно целое. В общем, он больше не пытался объяснить себе — точнее, объясниться с собой, оправдаться перед собой, — за что любит Элеонору. Просто так оно есть — и всё тут.



Леня Абрикосов, то есть бородатый Леонид Леонидович, кандидат наук, человек грандиозных помыслов, обладатель подвижной психики, любил иногда дремать на балконе в зарослях петуний, которые выращивала в неограниченных количествах его мать. И это были лучшие минуты жизни. Это были самые тихие минуты. Это они случались нечасто и сами собой. Непроизвольно вырывались, можно сказать. Все остальное время он бредил Элеонорой и поиском свободы. И непонятно, чем больше. Часто Элеонора и свобода сливались в нечто невыразимо приятное, монументальное, похожее на статую свободы, но как если бы ее соорудил какой-нибудь Микеланджело или даже Фидий.

Замуж за Леню Элеонора не вышла, конечно же. Он, правда, и не предлагал, все стеснялся. Пока просто проживал вблизи.

Эта самая Элеонора сидела сейчас на его, Ленином, диване и смотрела в стену. Ей, думал Леня, все равно куда смотреть, она богиня, она может вообще никуда не смотреть.

— Ленчик, ты меня любишь?

В детстве Элеонора спрашивала обычно: «Ты меня любишь? Тогда дай конфетку». Но год от года вторая часть этой словесной конструкции претерпевала возрастные изменения. Теперь она спрашивала:

— Ленчик, ты меня любишь? У моего парня проблемы с женой.

Леня вздохнул. После полета со второго этажа он стал спокойнее, нога зажила, трещина в ребре не беспокоила. Тогда Элеонора целовалась со своим ухажером прямо на лестничной клетке, и это чуть не убило несчастного влюбленного, который накануне вел спор с филологом-сторожем о свирепых ницшеанских воззрениях на женщину и любовь. Но падение сделало Леню адекватнее, терпеливее.

И все же, хоть он и был привычен к неожиданностям, исходящим от любимой, всякий раз подтверждаемый факт наличия у нее постороннего любовника вызывал как бы жжение в глазах. Он посмотрел в сияющие глупые очи своей свободы — и усмирил жжение.

— У него такие проблемы! Я просто не знаю, что и делать. Я хотела бы ему помочь. Может быть, ты поговоришь с его женой? Ты такой умный!

— Элечка, о чем я буду с ней говорить? — Леня в недоумении чесал бороду.

— Ну, ты ей объяснишь, что у нас все серьезно, что он меня любит...

Змея заползла Лене под рубашку. Он сдерживал себя, чтобы не начать расспрашивать глупышку о том, кто этот парень, где он работает, где живет. Он с радостью расскажет жене этого засранца, что у нее имеется жесткая конкурентка, непередаваемая красotka. Да, пожалуй, в ней все идеально. Леня опустил глаза на Элеонорины колени. Узкие, идеальные... Ну, или почти всё.

Нет, так он поступить не может. Или может? Нет, не может.

— Так нельзя. С какой стати я стану с ней объясняться? С незнакомой женщиной! Не представляю.





Элечкины глазки нехорошо заблестели. Будет плакать, подумал Леня и захотел сбежать. Но не сбежал. Он сказал:

— Я подумаю. Оставь мне ее телефон.

Элеонора записала телефон на клочке бумаги. Леня смотрел, как бегают ручка по мятым клеточкам тетрадного обрывка: «Агата Нольберг».

Леня решился на следующий день. Решился, потому что ночью ему снились разноцветные сны, и среди них — эротическое наваждение Элеонора.

С утра он позвонил незнакомке и потом отправился в путь — к оскорблению себя, к унижению чужой, неведомой ему женщины и, может быть, к счастью Элечки.

Леня шел для разговора, который должен был повлиять на его судьбу. Голос у женщины по телефону был тихий. Грустно такому голосу сообщать печальный факт. Леня тогда растерялся, долго молчал в трубку и пригласил женщину на встречу — так, лицом к лицу, все-таки удобнее. Он понимал подлость Элеонориной игры. И теперь, поддавшись соблазну, решил рассказать незнакомке всю правду, выложить как на духу и свой интерес — и тем, может быть, поправить дело, сделать его честнее, искупить вину.

Они договорились встретиться в большом торговом центре, на первом этаже, у фонтана.

Фонтан сильно плескал и мигал разноцветными огнями. Леня, который по грустному случаю вырядился в пиджак, осматривал проходивших женщин, пытаясь вычислить свою визави. Женщин было мало: рабочий день все-таки. Вот одна спустилась на эскалаторе, остановилась. Сапоги черные, пуховик черный, голубая шапочка. Неоригинально, н-да. Леня привык к экзотическим нарядам Элеоноры.

Женщина в голубой шапочке подошла. Они посмотрели друг на друга. Лене сделалось неудобно, потому что у женщины был очень спокойный вид.

— Кофе? — женщина показала рукой куда-то позади себя.

Они прошли в кофейню. Леня с повышенным вниманием инспектировал белые панели кофейни, черную доску с названиями напитков. Он избегал смотреть на спутницу. Она сидела, даже не расстегнув пуховик. Но шапочку сняла.

Он не смог выложить ей свою личную историю. Духу не хватило.

— Я не должен был, конечно... Но обстоятельства бывают сильнее.

— Вас попросили? Нольберг?

— Нет, я не знаю, кто это. То есть, с вашим мужем я не знаком, но...

— А! Так вы влюблены в эту девицу? — Агата улыбнулась.

Она все поняла! О, всезнающие Ницше с Гегелем и Боже ты мой в придачу! Ленина диафрагма задвигалась, в животе нехорошо затрепетало, как при расстройстве желудка. Она его раскусила, на раз-два! В глазах потемнело, он как-то сразу вспотел, ощутил капли, ползущие по шее. А потом поднялся и убежал, сбив рекламную раздвижку «Приходите к нам еще!».

Глава 7. Агата

«Этот больше сюда точно не придет», — хмыкнула Агата, когда охранник вернул раздвижку на место. Взялась было за голубую шапочку, но осталась сидеть, уставившись на оставленный бородачом большой картонный стакан с кофе. Стакан с кофе в роли молчаливого свидетеля драмы — это так банально. Впрочем, бородач произвел на нее впечатление. Он был несчастный, детский какой-то, человек.

Она спокойно допила свой кофе. Думать тут не о чем. Все уже давно подумано. Надо донести наконец туфли до ремонта.

Агата раскрыла пакет с вишневыми туфлями, лишенными набоек. Туфли-вамп, которые давно не пили крови.

Она подошла к фонтану, гудящему монотонную песню. Вода прыгала на пуховик. Слезки эти не катились, а сидели, вцепившись водяными ручками в черную траурную поверхность. Пора снять черное. Никто не умер, а она в черном.

Пакет с обувью Агата положила на край неглубокого, но примечательного бассейна — по всей чаше клубились замысловатые цветы, выложенные мозаикой. Наклонилась потрогать бортик. Пакет соскользнул в воду. Туфли выскочили из него и, покачавшись на поверхности, плавно осели на дно. Агата смотрела на туфли и на то, как плавают белый пакет. Нужно было достать их — как вещи или как мусор, неважно. Она в раздумьях огляделась. Где же охрана? Помахала одному вдальеке. Пока сюда дойдет, туфли уже будет не спасти, подумала равнодушно — и решила уходить, пусть сами достают.

С другой стороны кто-то залез в бассейн. Мужчина, разувшись, закатав джинсы, брел к вишневым туфлям, ступая по образам цветов.

Выловив пару, он поставил ее на край бассейна. Ни слова не говоря, вылез из фонтана, обтер ноги носками, достал из пакета новую пару носков, оторвал этикетку, надел, обулся, взял куртку. Агата с интересом смотрела.

Он взял в руку одну из спасенных туфель. С сожалением развел руками:

— Вряд ли восстановят вид.

— Вы сапожник?

— Нет, вообще-то архитектор. Но теперь, бывает, имею дело с кожей. Эта высохнет и пойдет пятнами.

— А... Ну спасибо все равно.

А что еще скажешь? Агата разглядывала некрасивое лицо с приятной улыбкой. Видела разворот плеч, бедра, плотно схваченные джинсами.

— Значит, выбросить?

— Выбросьте. Я вам новые куплю.

Агата рассмеялась неожиданному предложению. Он был, похоже, чудак.

— Вдруг еще встретимся. На этот случай — меня зовут Марат.

— Агата.

Они вышли из торгового центра и пошли прямо по улице. Агата шла домой, в свою хорошо благоустроенную нору на семнадцатом



этаже, в центральном районе, престижную нору, дорогую. Куда шел ее спутник, она не знала и не спрашивала. Он шел вместе с ней, в одну сторону. Но все равно им нечего было сказать друг другу.

Он думал: «Агата, имя красоты».

На перекрестке, под пиканье светофора, они, еще раз взглянув друг на друга, разошлись в разные стороны.

«Адам и Ева были детьми?» — думала она, падая на кровать, закинув мокрые туфли в пакете в дальний угол. Зачем она вообще притащила их обратно?

С ней ничего не случилось за то время, пока она шла домой. Но, с другой стороны, случилось. Может быть, ее взвинченный, нервный организм так внезапно и живо откликнулся на случайное участие? А даже если и так, кто ее упрекнет? Кто посмеет, учитывая, что сегодня ее просто так унизили?

Как прекрасно было бы жить в детстве человечества! Во времена безмолвных умных деревьев... Но кто он, где он?

— Мам!

Хорошо было бы стоять рядом с ним сорастением, чем-то растущим параллельно. Не касалась бы его, только видела и была бы рада, что они растут рядом. Но самые простые мечты и есть самые неисполнимые.

— Мам!

Природа порождает культуру, природа — мать любви.

— Ма-а-ам!

Агата поднялась с кровати — с ненавистой, чужой ей кровати. Потому что до сей поры она была совершенно спокойна, а теперь вся полна чувств, которые невозможно умерить. Сердце ее работает и теперь не вытерпит никаких полумер. Полумеры в теперешних обстоятельствах ее убьют.

Дети уже клевали носами перед телевизором и, мамкая, ждали, пока она придет, чтобы прогнать их спать, уложить, поцеловать.

Пятилетняя дочь распустила волосы, и Агата расчесывала их долго и медленно. Успокаивалась. Шестилетний мальчик забрался на свою кровать, на верхний ярус, и засыпал, пока мать укладывала златовласку.

Полумеры ее убьют. Виктор ею пренебрегает. Почему? Она, конечно, подозревала, но не решалась даже отчетливо об этом подумать — и тем впустить в свою жизнь что-то враждебное, постороннее. Надо называть вещи своими именами, говорили ей в детстве. Но люди обычно тянут до последнего. Это как с болезнью: болит у человека голова, а потом вдруг бах — и рак. И что теперь?..

Она долго, по очереди, обнимала детей. Дети робели, видя такой напор материнской любви. Но детское сердце отзывчиво и неподозрительно.

Нольберг задерживался. Агата была рада. Он придет — она уже спит. И не надо натужных, скрипящих, как старый шкаф, разговоров. Кому они нужны? Ей уже, во всяком случае, точно не нужны. Она вдруг поймала себя на мысли, что влюбленные и счастливые становятся

эгоистами, у них просто нет сил, никакой возможности смотреть на события объективно. Возможно, и у них с Виктором такое было, это сейчас Виктор вот живет своей жизнью и эта жизнь ей малоизвестна. Раньше у них будто бы находились совместные интересы — они покупали вещи, ездили по миру. Но с некоторых пор этот способ существования стал ее раздражать. Она вдруг обнаружила, что они оба живут неправильно, не так, как могли бы совершая что-то важное. А вся жизнь почему-то напоминает суетливое выживание, но по высшему разряду, с ананасами в шампанском.

И это странно. Тем более что поначалу ей казалось, что это и есть свободная и справедливая жизнь. Правильная жизнь для них. Материальный достаток — а то и переизбыток — давал возможность не считаться с некоторыми очевидными бытовыми трудностями, что стало привычкой. Привычка переключалась и в отношения. Они их не выясняли, не решали свои внутренние вопросы, а откупались и от вопросов, и друг от друга. Как будто друг другу говорили из раза в раз: ну вот, сейчас некогда, едем на Бали, потом поговорим, или: идем на костюмированную вечеринку, поэтому надо метнуться по магазинам, с остальным потом разберемся.

Виктор бросил идею сделать карьеру в следствии, потом — в адвокатуре. Он согласился на бывший отцовский кабинет и теперь отматывал там срок, как ни крути, под надзором. Агата побаивалась тестя, который считал своим главным правом окончательное решение в семье по любому вопросу. Кажется, Виктор к этому привык и отупел. Хотя, если честно, восставать против отца ему никогда и не приходило в голову. Скорее, он добивался его оценки и, может, любви: старший Нольберг был человеком скупым на чувства. Во всяком случае, так ей казалось.

Когда-то она оставила работу в юридическом институте, отчасти — из-за детей. Когда дети подросли, наверное, можно было вернуться. Но не вернулась. Так что она чаще, чем хотелось бы, встречалась с родителями мужа. Нольберг-старший был убежденный семьянин и хотел видеть внуков рядом. Мнение, которое у Агаты сложилось в самый первый раз, еще тогда, когда она была студенткой, не поменялось: жесткий, ловкий, неприятный человек.

Но Виктор, казалось, был его полной противоположностью. А как же иначе — иначе, наверное, она его даже и не выбрала бы? Или все было не так? Просто высох и распался тот воображаемый парадный чехольчик, внутри которого сидел равнодушный прожорливый червячок. Или нет?

У китайцев есть такое понятие — «правильное имя». Если мы называем вещи своими именами, то в любой момент будет легко понять, кто мы, в какой ситуации и рядом с кем оказались, — и принять правильное решение. Да, в этом есть смысл. Особенно в такие моменты, которые она пережила сегодня. А этот бородач, который так трогательно влюблен в любовницу ее мужа, — это что-то!

Агата рассмеялась — исключительно из чувства противоречия, чтобы не заплакать. Потому что, в общем-то, все изменения в муже



происходили на ее глазах и при ее молчаливом согласии. Потому что ей так было удобно. Потому что она трусиха.

Дети спали. Мальчик бормотал во сне. Агата прислушалась, но ничего не разобрала и, приглушив свет, отправилась в спальню, подняла пакет, вынула испорченные туфли, водрузила на подоконник. Виктор не выносит беспорядка — так пусть туфли стоят здесь.

Как будто яблочком из пакета выкатилось: Марат — неожиданное имя. Человек в ванне, Французская революция. Усмехнулась: как трагично.

С этим она ушла в гостиную, там включила таинственный угловой свет, потушила верхний и улеглась на диване, прижав пылающее от огня переживаний лицо к холодной кожаной диванной обивке.

Прошло немного времени, и прохлада дивана, его сонное волшебство, обволокло ее всю. Она услышала глухой уличный шум, это ветер облизывал заборы. Раны крыш, кровавые, блестящие, открывались новой пугающей свежестью в контрасте со снегом. Чешуя старости сползла со стен на этих старых улицах, они обновились. Человек двигался к Агате как к неизбежности, в неизбежном направлении. И он пришел, и встал перед домом, и ждал. Хотя как же она могла разглядеть его, стоящего внизу среди машин под деревьями, в снежном мареве? Она знала, что мужчина раньше следил за ней, шел за ней однажды до ее дома. Она видела его сквозь стеклянную дверь подъезда. Она думала: только бы он не пришел, не набрался храбрости. Да он и номера квартиры не знает. Нет, не придет. «Нет, придет, придет!» — ликовала внутри нее серая птичка-подкидыш...

Но как же она могла заметить его с семнадцатого этажа? А очень даже просто, ведь как-то мы ощущаем вспышки на Солнце, хотя не видим их глазами. Конечно, в окно с семнадцатого этажа не разглядишь деталей. Но там точно было животное, крупная черная сутулая собака, и человек — снизу смотрел вверх, на силуэт Агаты в окне. Она, конечно, пошла в прихожую и, когда забрякал домофон, нажала на кнопку и встала у входной двери в ожидании. Руку приложила тылом ко лбу, ждала температуры как объяснения бреда. Но нету температуры! И лифт шумит! Едет! Она ждет.

Звонок. Звонок. Еще звонок.

Агата проснулась, подскочила. Упала на пол диванная подушка. Открыть! Она остановилась на минуту перед зеркалом, потеряла глаза. Хотя смотрела куда-то мимо себя, внутрь зеркала. Не стала спрашивать кто, потому что понятно — кто: он, тот мужчина. Потом запуталась пальцами в цепочке. И сняла ее наконец, и повернула наконец ключ, и приоткрыла...

Вошел Нольберг.

— Витя... Рано ты. — Она растерянно стояла посреди коридора, вынутая из сна, из блажи ожидания чьими-то безжалостными руками.

Он хмыкнул, как всегда. Хорошо хоть хмыкнул, мог вообще проигнорировать.

Нольберга она намеревалась встретить не так, а во всеоружии. Не то хотела ему сказать. Она придумала надеть лучшее платье, быть красивой, еще успеть на маникюр. Чтобы он пожалел, что обманывает ее.

— Рано? Сама же ныла: «Приходи пораньше, приходи пораньше...» — Нольберг был раздражен.

После работы он часто бывал раздражен. К Элеоноре он не успел, она уехала на фитнес. Во всяком случае, так ему сказала: по делам, на фитнес. Он, правда, слышал на заднем плане мужской голос...

— А... Ну так обедать? — Агата ненавидела себя за то, что сюсюкает, а не шарахает внезапно тарелкой об пол, а затем высказывается в резких и даже непечатных выражениях.

— Ты на часы-то смотрела? Ужинать давно пора.

Он бросил пальто в кресло и удалился в ванную.

В кухне, вцепившись пальцами в краешек стола, она стояла как диковинная птица в своем пестром халатике, то ли злая, то ли растерянная. Вот и найди в такой момент «правильное имя»...

Утром она позвонила отцу по поводу работы. Он как-то говорил, что в институте освободилась вакансия. Нужно было возвращаться к нормальной жизни.

Глава 8. За кулисами

— Мы были в тьме тараканьей, где сети нету, — пожаловался, припадая ртом к телефону, сиплый сосед.

Женщина напротив достала платок, салон маршрутки окатила волна тошнотворного сладкого парфюма. Будто труп разлагается, подумал Марат. Он не выпался: все думал об этих вишневых туфлях в фонтане.

Земля — это могила первого родившегося на ней ребенка. Подумал — и глаза закрыл. Отчего всякая ерунда, мимолетная, с претензией на глубокомысленность, вытрясается из головы, едва только ослабишь бдительность? Дешевка какая-то... Почему он не спросил ее телефон, не пошел за ней?

Говорят, театральные люди ходят в театр как домой. Точнее, каждое утро из квартир, где ночевали, они возвращаются в театр, как в родной дом. С ним ничего такого не происходило. Он был здесь случайный, временный. Зачем он сюда устроился? Конечно, с Еленой он работать пока, наверное, больше не сможет, надо как-то разделить бюро, а до того — ждать, пока волна ее обиды не уляжется. Но в каком порыве он согласился на предложение режиссера театра, старого школьного товарища, который срочно искал сотрудника, хотя бы на время? Их неприятные обстоятельства совпали: Марат погряз в своих переживаниях и режиссер, который недавно развелся, то ли решил помочь товарищу по несчастью, то ли воспользовался ситуацией. Весь мир — театр, снисходительно оценивал Марат свой поступок. Никогда человек не знает, к чему движется, — он просто движется, иногда иррационально соглашаясь на взятки пространства.





К Марату в театре относились с умеренной доброжелательностью. И он был благодарен, хотя чувствовал себя как транзитный пассажир, сошедший с одного самолета и прожидающий неопределенные часы в аэропорте, чтобы сесть на другой. В жизни чего только не бывает.

В глубине души театр всегда казался ему безжизненным. Он ждал настоящего, чего-то выходящего за рамки, как практичные абстракции Захи Хадид или органичность райтовского «Дома над водопадом». Бутафория театра, пусть она даже без обмана выполняла прямую функцию быть подобием, раздражала. Он утомился от нее уже после первого месяца — ему требовалось что-то реальное. Написать заявление наконец и отвалить от границ этой сомнительной страны вечных капустников.

Он чувствовал себя беспокойно, следовало пройтись пешком, через парк, умиротвориться.

В три начинался спектакль. В половине второго к театру начинали подкрадываться дети. Кольцо детей сжималось. Гардеробщица уже проверяла номерки на пустой пока еще вешалке. Марат спустился в бутафорский цех.

Ручейки детей текли через парк. Еще недавно возвышались в парке облупленные карусели. Их убрали. Только колесо обозрения еще какое-то время скрипело предательски, но все не падало. Его сиротства городские власти не вынесли — и уронили, а потом убрали махину.

Колесо горожане любили неясной, но устойчивой любовью. Его исчезновение, казалось, породило виртуальную, незаполняемую дыру в городской вселенной. Однако недалеко вокруг корчевали старые дома, смешивая память с битым кирпичом и горелым деревом, — и вскоре о колесе, отправленном на металлолом, жалеть перестали. Хотя многие помнили полученный в детстве укол свободы, смешанной со страхом, — а иначе и не бывает, свобода предъясняет свою цену. Марат с приятелями и сам катался на колесе без остановки раз по пять, покупали билеты сразу на несколько оборотов, на сколько денег хватало. Наконец, он добрал до театра.

Агата вела златовласку на кукольное представление. Девочка старательно обходила маленькие лужи, но с восторгом забегала в самые большие. Мать пребывала в мягкой, не тревожной задумчивости и не одергивала ее. К театру малышка пришла в брызгах свежей осенней грязи, заляпалась и куртка, и подол нарядного платья. И только башмачки, принесенные с собою, были чисты. Впрочем, девочка была еще слишком мала и не расстроилась, а излучала довольство прогулкой.

Агата сдала в гардероб верхнюю одежду, и они пошли устраиваться на бархатных креслах с самого краю, чтобы в случае чего, если вдруг девочка начнет засыпать или закапризничает, улизнуть, никого не тревожа.

Спектакль рассказывал малышне старую сказку о Ноевом ковчеге. Больше Агата ничего не запомнила, потому что у нее самой глаза слипались. Ночью она так и не смогла уснуть, переживая свое вечернее видение и неочевидную, вялую ссору с Нольбергом. Златовласка, напротив, выпучила глазенки и засунула в рот сразу четыре пальца — так

она делала в моменты особой заинтересованности. Перед ней прыгали апельсинового цвета львы, лимонно-желтые обезьяны. Расширились черные пределы маленькой сцены. Златовласка прилипла к стулу и смотрела. Агата засыпала.

Конец представления заставил девочку разреветься — звери сошли со сцены в зрительный зал и напугали. Агата открыла глаза.

К ним подошла сотрудница театра в разноцветной жилетке с меховой опушкой и сообщила, что сейчас ребятишкам покажут жизнь театра за сценой. Она позвала златовласку с собой. Девочка перестала реветь, закрыла рот и подала ласковой тете руку. Следом поскакали другие дети. Матери вальяжно, как медведицы, шли за ними.

Агата решила подождать дочь в зале. Она снова задремала. В дреме она двигалась по верху широкой крепостной стены, заросшей светло-зеленым мхом. Внизу колыхались, как трава, верхушки деревьев. Потом белый воздух затрепетал и разошелся, как изношенная ткань.

— Вы спите с открытым ртом, — улыбнулась знакомая человеческая голова.

— А я все думал, кто эта женщина, которая сидит на первом ряду справа и спит...

Агата широко открывает глаза, потому что к ней приближается чужое знакомое лицо. И она уже чувствует запах, смешивающийся с запахом кулис. Это запах клея и лака. И еще апельсина.

— Нам, кажется, пора домой, — говорит она нерешительно, спростонья, все еще не до конца узнавая говорящего. Поворачивает голову, ищет дочь. Куда убежала? Открывает рот, чтобы позвать: — Тоня!

Но вот — раз! — и узнала. Туфли, фонтан. Собака черная бежит во дворе. Виктор рано пришел вчера. Девочку повели осматривать театр.

— Я смешно выгляжу? Дурацкая ситуация, я так с вами согласна! — с жаром сказала она и приложила ладони к щекам, которые вспыхнули от внутреннего огня.

— Я не говорил, что дурацкая.

Смеется. Чего он смеется?

И вот она идет вдоль сцены между кулисами вслед за мужчиной, спасшим ее вишневые туфли. Идет, чтобы забрать златовласку. Им с дочерью пора домой.

Самое опасное для двух людей, случайно вошедших в свободное пространство между кулисами, — почувствовать себя отгороженными от мира, хотя бы даже и на секунду. Мало ли что может случиться в эту секунду. Может быть, ради нее, этой секунды, все и затевалось? Они вынуждены обратить внимание друг на друга. Узнавание таит многие опасности. Иногда лучше остановиться на первом взгляде, на первом случайном столкновении, на единственном неожиданном свидании.

Там, где они идут, справа синяя плотная ткань, слева воздушная белая. В них путаются детские голоса, долетающие откуда-то. Агату качает: синяя волна справа, белая волна слева. Как поступить? Хочет сказать: «Посмотри на меня!»



с длинным мужественным, но некрасивым лицом. Может быть, слишком некрасивым — оттого в неудачные моменты оно казалось лицом идиота: глаза небольшие, глубоко посаженные, неопределенного зеленоватого цвета; под глазами не круги даже, а темные овраги; большой лоб. Шкаф, в платяной части которого было устроено зеркало, отражал, было дело, людей куда красивей.

Такой вид часто до старости сохраняют «щипцовые» дети, поддакивала шкафу лампа. Уж она-то много чего перевидала, освещая самые темные уголки человеческих судеб.

Однако же была у этого лица одна счастливая, подавляющая прочие, особенность — улыбка. Обычная, или, может быть, приятная на обычных средних или красивых лицах, на этом лице улыбка сияла счастливейшим шедевром. Это была одна из тех редчайших улыбок, которые имеют особое значение, которые преображают, которые вдохновляют. Когда человек улыбался, лицо начинало дрожать, как водяное зеркало, расходились волны и под ними гладко и победно выступала истинная человеческая природа: благородство и доброта. Вещи верили в это.

Лицо содержало какую-то романтическую иллюзию, воспоминание о чем-то славном. И многие люди, посмотрев на него, испытали бы некое дежавю: туман позабытой отваги, в закоулках памяти резкие запахи и чужеродные звуки времен иных. Оно как нельзя лучше подходило к этому дому, который крепился, сохранял благородство и не готов был погибнуть. Словом, в единственном жилище Каплина дома, при всей его скромной внешности, была способность пробуждать в окружающих особенное, спрятанное зрение, напоминать о чем-то смутном и прекрасном, которое, без сомнения, живет в каждом, но, увы, не в каждом находит выход.

Короче, дому и предметам в доме жилец нравился.

В то утро Марат доехал до остановки «Областная больница», дошел до корпуса ожогового центра, нацепил бахилы, взятые в пластиковом баке, и поднялся на второй этаж. Здесь царила густая смесь запахов — нездоровой плоти, хлорки и цитрусовых. Двери во многие палаты были распахнуты.

— Если в книжке никого не убили, значит, дурацкая твоя книжка! — утверждал человек с красной лысой головой, обращаясь к горбатой соседней кровати.

На кровати, неразглядимый под двумя широкими одеялами, концы которых спускались до полу, кто-то ерзал и тихо не соглашался.

Палата была слишком светлая: стены, пол, белье, кусок белого света, видный сквозь чистое окно. Марат наткнулся взглядом на ослепительный холодильник и завис в дверях.

— Тебе кого, малый? — красная гладкая голова повернулась к двери лицом, на котором гофрой собрались глубокие и тоже красные морщины.

Марат смотрел на голову, пытаясь определить причину красноты. Голова затарахтела без пауз:



— Иванова? Петрова? Кошкина, может? Кошкина тебе, что ли? Ну вот и к Кошкину пришли. Эй, Михалыч, вылазь из-под своих покровов, гляди, пришли к Кошкину!

Горбатая кровать ожила. Из одеял показалась головешка маленькая, в белом стариковском пуху. Старичок вылез, быстро и неслышно подошел к Марату и протянул коричневый стручок ладони. Марат с радостью пожал тонкую ладошку. Через пожатие он становился свой и теперь мог перешагнуть порог.

— Вот его кровать. Садитесь, садитесь, — интеллигентный старичок усадил Марата на железную койку в углу.

На тумбочке стояла банка, в банке — крошечный кипятильник. Знакомые ботинки подпирали дверцу. Точно, к Кошкину. Значит, фамилия у бродяги есть — Кошкин.

Старичок уже звенел кружками — он повесил их на растопыренные пальцы и пошел в угол палаты, к раковине.

— Маня сейчас приедет.

— Маня?

— Кошкин. Он сейчас будет. Хорошо, что вы заглянули. Вы родственник? Он загрустил что-то. До места, видать, не дошел, обратно привезли. — Старичок завернул кран и стряхнул воду с кружек.

— А почему вы сразу решили, что я к Кошкину?

— Так не ко мне и не к нему. А третий у нас Кошкин, Маня Иванович. Так что к нему. Хотя к Мане никто не приходил раньше, мы не видели... — Старичок примолк.

— Почему — Маня?

— А Бог его знает. Как назвали, так зовут. А вы ему все-таки кто? — насторожился красноголовый, шуршавший до того чем-то в тумбочке. И он, и старик, уже разливающий чай из стеклянной банки, уставились требовательно.

— У меня к нему дело. — Марат мучительно соображал, какое может быть у него дело к Мане Кошкину, бродяге, пригревшемуся у печки в его доме. Он и себе внятно не мог объяснить, зачем пришел сюда, зачем разыскал этого человека. Просто почувствовал какую-то надобность.

— И что за дело такое? — старичок, недоверчиво покачивая головой, оставил приготовления к чайной церемонии, обратно в тумбочку засунул пакет, содержащий, видимо, снедь. И уселся на свою кровать. И замолчал, ожидая объяснений.

Тут в палату въехал Маня Иванович на рыжей инвалидной коляске, мрачный, как демон. Марат узнал своего гостя по свитеру, который одолжил. По лицу не узнал бы, тогда в темноте не разглядел лица. Маня Иванович поздоровался, объехал Марата, докатился до окна, где замер спиной к присутствующим. Все молчали: старичок и красноголовый — от возрастающего недоумения, Марат — от неловкости, проклиная себя, что заявился к неизвестному человеку с неопределенными целями.

— Кошкин, ты чего сегодня невежливый? Гостя не встречаешь! — красная голова закачалась, как мак на ветру, не сводя, впрочем, подзрительных глаз с Марата.

Голос Мани Ивановича (Марат выдохнул — по голосу узнал: точно, тот самый мужик, что подпирал его печку) в ответ зазвучал остро, с обидой:

— Что-то ты, Гоша, распутился сегодня. Смотри-ка, и я пошучу...

— Человек к тебе пришел, а ты, наглая харя, отворотился. И злитесь еще, смотри ты!

— Здравствуйте. Я действительно к вам. Вы у меня ночевали недавно.

Рыжая коляска резко развернулась. И на Марата уставилось измученное лицо.

— А, хозяин! — Потухшие глаза наполнились удивлением, и губы Мани Ивановича искривились вроде бы как в улыбку. — За одежкой пришел? Щас соберу. Погоди... — Человек в коляске засуетился, перебирал руками колеса, лихорадочно бормотал.

— Да нет, нет! Не за одежкой. — Марату пришлось повесить голос, чтобы среди бормотания Мани Ивановича, который был явно не в себе, его услышали.

— Стой, инвалид! Харэ кататься! Стой, говорю! — на выручку Марату пришел красноголовый Гоша, который схватил коляску за спинку, остановил, развернул.

Маня Иванович дернулся разик, но взял себя в руки. Смотрел потухшим взором мимо всего одушевленного и ждал. Суетливость и беспокойство покинули его так же внезапно, как и посетили. Он обмяк. Сдувается как шарик, пришло Марату в голову. Мешки под глазами провисли вялыми волнами, углы губ опустились, словно держались раньше на веревочках, но вот кто-то отвязал эти веревочки. Картофелина носа съежилась, одрябла. А ведь Маня Иванович еще не был стар.

Марат опустил глаза. Одна нога Мани Ивановича стояла на подножке короткой, но все же отчетливо удлинненной ступней. Вторая белой толстой культей колола пространство.

— Я просто хотел узнать, как дела, и вот, передать... — Марат осторожно положил на кровать белый пакет с разными витаминными и питательными вещами, а на тумбочку — бумажку, на которой заранее на всякий случай написал адрес и телефон.

Старичок одобрительно покивал головой. Маня Иванович в своем кресле не шевелился. Он думал о долгой дороге, которую ему придется преодолеть. Думал, насколько дольше придется идти на казенных неудобных костылях, которые ему, как обещал доктор, выдадут вскоре. Эта зима представлялась ему немислимо трудной.

Марат попрощался и вышел. Сердце у него щемило от того, насколько незащищен может стать человек перед жизнью.

Обратная дорога показалась очень длинной. Может быть, потому, что часть пути ехали в тумане — река сильно парила, скрывая небо и острова по обеим сторонам моста.

Наступило время вполне холодное. И снег уже пробрасывал¹. А однажды утром покосившееся черное крыльцо Каплина дома хорошенечко

¹ Пробрасывал — здесь: начинал идти время от времени, шел недолго или с перерывами.



выбелилось. Ненадолго, до полудня, но все же. На него, испуганно ойкнув от такой чистоты, ступил Маня Иванович одной ногой своей и двумя деревянными — костылями.

На нижней ступеньке лежали круглые красные листья. Их натрясло с маленького куста, названия которому не знал даже такой природный человек, как Маня Иванович. Он, кряхтя, устраивая поудобнее свои горемычные ноги, уселся на ступеньку и поднял большой красный лист.

Когда-то — но об этом Маня Иванович не знал — на этой нижней ступеньке, выпуская изо рта тонкую красную струйку, по цвету очень схожую с листом, лежала, вывернувшись неестественно на тонкой белой шее, голова Домны Тимофеевны, купчихи Каплиной, молодой, влюбленной в своего пожилого мужа. Рядом, на клумбе, дергался сам Каплин, с ладонями в собственной густой крови, натекающей из треугольных штыковых ран. Он дышал из последних сил широким зубастым ртом, и кровь казалась ему слишком вязкой, липкой. Как она может такая течь, как может передвигаться, не слепляя сосудов, сердца? Он сжимал и разжимал пальцы, пробуя ее на липкость, удивлялся по-детски, снова склеивал пальцы — пока не умер.

Трупы потом оттащили на старое кладбище и сбросили в яму. И те, кто тащил, хладнокровно любовались на мертвую Домну.

Дом, который так навсегда и остался Каплиным домом, разорили и передали многим и многим жильцам вместе с обстановкой, вещами, предметами. Жильцы со временем выехали без одного все — по очереди на улучшение жилищных условий. Последней была Евдокия Каплина, и она никуда не съехала, скончалась здесь, среди старья, набитых мусором и вещами кладовок и комнат, — жильцы многое оставили, потому что это был старый хлам, чужой, не родной. Но до того еще, однажды, каким-то внезапным приказом, не без участия старухи Каплиной, дом был записан в памятники истории и архитектуры. И, ненужный, но одновременно и неуничтожимый, он терпел свое путешествие во времени стоически, крепился, хотя в последнее время немного ослеп — стекла замутились, кое-где заменены были фанерой. И случайный приют в нем оттого, наверное, и был таким теплым, будто бы даваемый из последних сил.

Конечно, Маня Иванович, обычно не склонный к отвлеченным рассуждениям, не знавший про дом ничего, лаская грубой ладонью очищенную от листьев ступеньку, имел о нем свои мысли. Которые, если хорошенько подумать, не противоречили бы истине. «В чем есть суть дома для человека?» — вопрошал то ли себя, то ли пространство Маня Иванович. Суть дома — это священная радость продолжения, а также и светлая печаль воспоминания. Человека и человеком-то назвать можно, если у него есть дом, а без родины и флага ты песок, лежащий, куда принесло.

Уж он-то, бродяга, мог об этом судить, — думал и затягивался сигареткой. Утерял — и жизнь мимо пошла. Сам, короче, мозолистыми руками все и порушил. Я смехотворен, констатировал Маня Иванович, обиженно озирая подернутые ранним снежком окрестности. Потом

поднялся и не стал стучать в дверь, хотя затем и пришел. Он спустился на землю и поковылял от этой чистоты в неопределенную даль. Крыльцо вопросительно скрипнуло ему вслед.

Глава 10. Странники

В алкоголике Дягилеве была одна светлая черта — зубы. Все остальное представлялось неясным темным пятном, которое размещалось возле костра, составляя контраст пламени.

— Родители мои были — чистейший рафинад. Я потомственный интеллигент. А это — как прикус. Но исправить можно. А вы, благородный бродяга, как считаете?

Дон Педро, приземистый, кряжистый, но с героическим римским профилем, достойным какой-нибудь древней монеты, чесал переносицу и, часто моргая, отвечал:

— Согласен с вами.

Появление Дона Педро, человека нетривиальной внешности и необычайной покладистости, в жизни Дягилева носило характер авантюрный и поэтому придало тому в глазах Дягилева, падкого на истории, сверкающий ореол: Дон Педро романтически, как Зорро, соответственно своему героическому профилю, сбежал из полицейского «уазика», скрылся и нашел приют на металлобазе. Он был, конечно, романтик, да еще, видать, отчаянный. Дягилев был падок на образы.

Мама, выгнав папу Дягилева как неосознательного, не отвечающего ее требованиям (о нем Дягилев ничего и не помнил), скромно влачила библиотечарские будни в заводской библиотеке. Все детство поэтому он провел под тяжким грузом литературы, которую мать настойчиво, часто посредством ремня, рекомендовала отпрыску. Женщиной она была деревенской, упорной, и маленький Дягилев вынужден был изучать жизнеописания Карениных, Идиотов и прочих вымышленных существ. Он мало что понимал, но быстро набрался словечек и научился пускать пыль в глаза хорошей речью. В свободное время маленький Дягилев предпочитал истории о Тарзане, а еще о пиратах — Блона, Стивенсона, Сабатини. Мать такое убожество не одобряла.

Она гордилась сыном, потому что, справедливости ради стоит сказать, годы, проведенные в педагогическом колледже, сама потратила лишь на то, чтобы научиться писать без ошибок. На полноценное освоение программы по литературе у нее не хватило ни времени, ни одаренности. И когда в библиотеку приходили читатели и спрашивали, про что книга, она часто не могла ответить. Приходилось делать загадочное лицо: прочитаете — узнаете. Экземпляр книжки она потом тащила домой и отдавала сыну. Сын, она была в этом уверена, должен прочесть все. Прочитанное он пересказывал ей, как умел, на своем детском языке.

Когда настало время распорядиться собой, Дягилев свинтил из дома в общежитие Политехнического института. Он поступил на автомех. Мать ругалась неопикуемой бранью, потому что видела сына гуманитарным



профессором. Но сын, претерпевший от Карениных и Идиотов, любил железные изделия и не склонен был к ученой меланхолии.

Детские его муки прошли не совсем даром. Он бросил институт, и после того, как много лет спустя оставил и честный труд в гараже отделения Академии наук, отчалив в свободное пьяное плаванье, детские познания пригодились. Лет десять нигде не мог он надолго прищавртоваться. Но во всех своих случайных портах, на всех своих стоянках он заслуживал себе славу как отменный рассказчик, пересказывая прочитанное, — и тем был сыт и за то бывал не бит.

Мать умерла, но дома Дягилев принципиально не жил, квартиру сдавал. Состарившись к пятидесяти пяти, болея всем организмом, Дягилев обитал на свалке, в подвалах, в последнее время на металлобазе, но домой не возвращался. За деньгами к квартирантам ходила старенькая соседка. На глазах у этой соседки Дягилев превратился из живого сообразительного мальчугана в почти уже мертвого алкоголика. Она была свидетелем этого грандиозного провала.

— Тебе бы в тепло. Загнешься ведь! — уговаривал его и Дон Педро, когда Дягилев особенно загибался от мучительных своих болезней.

— Это уж дудки! Это неприкосновенно! — Дягилев, не успевая прояснить, что именно неприкосновенно, начинал хрипеть, закатывал глаза, и казалось, что скончается сей момент.

Но выдюживал, воскресал словно бы. Шел в баню.

За время болезни Дягилев обычно обростал волосами и грязью, начинал, как в бреду, крепко ругаться — словно и внутри, и в душе у него все затягивалось черной паутиной. Становился он похож на темный ком с оскалом ослепительных, чудом сохранившихся зубов. Из бани возвращался ясный, и только в этот час можно было увидеть настоящую внешность Дягилева. Он был смуглый, как и все люди, живущие круглый год где попало, лицо его разбухло, как семечко, долго лежавшее в воде, щеки повисли, как у старого пса. Огромные синие мешки под длинными глазами подчеркивали нежную голубизну последних. Радужка потеряла четкие контуры, и казалось, что весь глаз у Дягилева — голубой. В зависимости от освещения и от состояния хозяина это было похоже то на бельма — когда он бывал пьян, то на очи фантастического существа — после бани.

— И чего дома не живешь? Пустил кого попало, а сам слоняешься. Что дальше с тобой будет, не думаешь? — досадовал Дон Педро, ближайший приятель, когда Дягилев в очередной раз выкарабкивался. Дон Педро имел маленькую надежду, что если Дягилев вернется домой, то, не привыкнув к бытовому одиночеству, позовет с собой и товарища.

— А это, знаешь, еще как посмотреть. Кто тут «кто попало», а кто и не «кто попало». Я пока этот самый «кто попало» и есть. Вот так-то, амиго! — загадочно отвечал Дягилев и шел «исполнять танец маленьких утят», как он называл эту процедуру. То есть рассматривать себя в зеркало. Он всякий раз старался установить степень желтизны своей кожи, диагностировал себя. Чем желтее, тем хуже работает печень. Он

видел немало таких, как он выражался, «утят смерти». Чувство юмора редко отказывало ему.

Дон Педро подозревал какие-то старые тайные связи, каких-то детей Дягилева, которые проживают в квартире. Но у Дягилева не было никаких детей, во всяком случае ему самому известных. Педро и в голову прийти не могло, что Дягилев говорит напрямую, вещи называет своими именами и в виду имеет следующее: он и есть для материнского дома «кто попало», станет жить — и проплет, как бесчувственный, потерявший себя забуддыга. Проплет сначала обстановку, а затем и стены. О будущем Дягилев как раз и думал — и только о нем: когда почувствует, что силы его оставляют, когда поймет, что завтра уже может и не встать, то сдаст квартиру в обмен на место в доме престарелых и поселится оседло, навсегда. Чтоб умереть и быть похороненным — в гробу, под памятником, желательно гранитным, на котором будет стоять его, Дягилева, имя и даты рождения и смерти. Он хотел быть уверен, что его смерть зафиксируют в какой-нибудь книге актов, тем самым увековечив его, Дягилева, для человечества. Более всего он боялся сгнуться, как сгнули многие его приятели: как неизвестные, в полиэтиленовом мешке, под серой плитой с цифрами — с номером покойника — на кладбище для безродных. А то и вообще неизвестно где.

Этот страх граничил с фобией. Дягилев как бы временно пребывал в этом мире, здесь ему не нужен был дом, это был путь — с привалами, с бивуаками, со всеми возможными временными пристанищами. Он проходил этот путь, проживал свою жизнь. Но потом, на крайнем берегу, на самом крайнем, у воображаемого моря, где дальше видна только вода, благословенная, вечно подвижная живая пустыня, он не сможет без дома. Можно сказать, что Дягилев берег свою квартиру именно для того, чтобы обменять ее потом через дом престарелых на памятник — или хотя бы крест — со своим именем.

Дону Педро неизвестно было о долгосрочных планах приятеля. За них он бы его не простил. Ему давно надоело существовать сорванным с дерева ненужным листиком. Он обрел свою навязчивую идею — оставить помойное житье и каким-нибудь чудом снова втереться в общество, найти работу и прочее. Оставался один вопрос — где ему проживать в этом случае. Дон Педро надеялся на Дягилева. В глубине души он вынашивал и рискованный запасной план: пойти и поздороваться с женой, женщиной беспокойной, очень громкой — если сказать по правде, истеричной. Она с их общим сыном пребывала на их общей жилплощади уже много лет и отказывалась разменивать квартиру, а Дон Педро — для жены просто Петька — никак не мог набраться смелости настоять на размене. Был он слишком уж покладист, несмотря на свой профиль.

Маня Иванович наблюдал за приятелями. Он не пил уже три дня и восемь часов — из соображений уважения к грядущему. Выйдя из больницы, не удержался — отметил событие, а заявиться в таком виде к хозяину дома было стыдно. Поэтому-то и не стал задерживаться,



посидел на крылечке, покрутил листик, обдумал — и пошел приводить себя в порядок, хотя было непросто добраться до свалки.

Когда он рассказывал об этом Дягилеву, то багрово краснел.

— Значит, скоро увидим небо в круассанах! — издевался Дягилев.

Небо в круассанах символизировало райское блаженство, а в переносном смысле — белую горячку. Он считал, что хорошо знает Маню. Предрекал ему запой после вынужденного воздержания. Но в этот раз он ошибался. Мане Ивановичу слишком хотелось вернуться в Каплин дом — и чистым, трезвым.

Дона Педро и Дягилева встретил Маня Иванович некоторое время назад в пункте приема металла. Тогда Маня Иванович страдал. Он собирал не очень много банок, денег за них явно не хватало на выпивку.

— Слышь, братва, добавьте! На водку не хватает, не на круассаны, — сказал тогда вконец измотанный похмельем хриплый, весь пересохший Маня Иванович. И взглянул.

Дон Педро молча вынул бутылек из кармана куртки. Дон Педро, бывший физик, а ныне скорее химик, ловко соединял и очищал разные химические составы, которые годились для распития — и теперь слушал, как булькает в горле Мани Ивановича, и вздыхал. Ему было немножко жалко содержимого фляжки, но бросить человека в беде он не мог.

Вот оттуда, от первой встречи, и пошла острота Дягилева о круассанах. Но Маня Иванович на такую памятьливость не обижался. Небо в круассанах — очень даже ничего, сытно, благородно. Хорошо. Маню Ивановича неудержимо влекла жизнь. Он был страшно благодарен Дону Педро за фляжечку, а Дягилеву — за приют.

— Люди! — благодарно и восхищенно воскликнул тогда, и точно так же воскликнул сейчас Маня Иванович, выставив верх указательный палец. Он имел в виду и себя, способного сопротивляться своим демонам.

В землянке у Дягилева Маня не задержался, хотя места на троих и хватало.

Через несколько дней после прихода Мани Дягилев уехал в деревню к дряхлой тетке, единственной своей родне, прихватив и Дона Педро. А Маня Иванович, поживши один, приведя себя в достойный вид, снова приковывал к Каплину дому. Сел на крыльцо и теперь не спешил уходить. Новенькие костыли положил рядом.

Жизнь Мани Ивановича была решена. Всю ее он видел теперь завязанной на этом доме. Потому что можно было бы пойти в собес и там выклянчить приют. Но в приюте для инвалидов теряется вся последняя радость, вся последняя надежда. И как ему сообщить хозяину о том, что он намерен расположить здесь свою судьбу? Тем более Маня Иванович был не очень вежлив при последней встрече, в больнице. Надо бы извиниться заодно. Напрашиваться не хотелось, а вот сказать — пришел извиниться, другое дело. А там, в беседе, кривая как-нибудь вывезет на главную тему.

— Здравствуйте, господин Кошкин! — раздался голос.

Маня Иванович подтянул костыли, поднялся.
— Я... это... зашел носки вернуть. Мне уже не надо.

Глава 11. Поселенцы

Маня Иванович воцарился в квартире напротив. Марат был этим доволен. Он ждал, когда бродяга снова явится. И был уверен, что тот явится. Странное побуждение — чтобы был сосед, пусть и такой неоднозначный, возникло, когда стало ясно: дом абсолютно годен для проживания.

В жилище, определенном Мане, царил живописный хаос. Оно состояло из двух комнат и закутка-кухоньки. Оставленная хозяевами мебель сдвинута как попало, резной буфет, неаккуратно и не раз крашенный, выдвинут в середину комнаты побольше, поломанные стулья закинуты на верх буфета. Тряпки закрывали батареи, среди тряпок — вышитые платки, нечто кружевное, замызганное, застиранное глупой рукой. Из подставки для зонтов торчал поломанный зонт с нанизанными на него газетами. Марат снял верхнюю.

— Свежая пресса двадцатилетней давности.

Маня Иванович нашел интересный объект — хромоногий стул. Выиграла мастеровая жилка. Он вытребовал у Марата инструмент, какой нашелся. И при скудном техническом оснащении подступил к стулу.

Странно было видеть эти вещи — годные к использованию, но порченные, будто специально, грубым ремонтом, нелепой покраской.

— Ниче, все починим, — вдохновенно трепетал Маня Иванович над стулом.

Комната к вечеру приобрела более или менее жилой вид; мебель, какую можно было использовать, расставили по местам. Маня и с костылем был довольно ловок.

Неочищенной оставалась только кладовая, которую мужчины нечаянно обнаружили в закутке, имитирующем кухню, отодвинув пенал-развалюшку. Марат открыл дверку, прикрашенную, прилипшую к стене. Оттуда посыпались папки, газеты, исписанные какие-то листочки. Письма.

«Дорогая Лизочка! Невозможно себе и представить, что я пишу тебе это письмо после всего. Десятилетия примирили меня с произошедшим, но и не менее измучили. Я вижу во сне отца, и все чаще. Видела однажды и Домну. Как же мы были к ней жестоки! Я не могу не вспоминать этого. Как жестока к ней была тетка Татьяна Яковлевна (она очень злилась на всех после маминой смерти, но оно и понятно — все-таки любимая сестра), а мы позволяли ей изводить Домну в отсутствие папы. Мама бы нас не одобрила. А мы могли бы вмешаться, я уверена.

Мама мне не снится, я ее почти и не помню. Говорят, снятся те, перед кем сновидец виноват. Я виновата перед папой и Домной. Я виновата перед всеми вами. Я знала ведь, что *они* придут. По-прежнему хочется этот груз с души снять, уж ты меня извини за непрошенные переживания.





У Маши Тышкевич мы спрятались в кабинете отца ее, за книжным шкафом, и разглядывали запрещенные нам, детям, книги, когда отец Маши пришел домой. Он был, ты помнишь, каким-то командиром у них. С ним — еще двое, в солдатской, не разберешь каких войск, форме. Я слышала, как они говорили о папе. Неразборчиво, но имя папино слышала. Потом ушли. Мне следовало немедленно бежать домой, немедленно рассказать! Но мы с Машей, а более всего Маша, боялись ее отца. И досидели в своей засаде почти до вечера. Потом поздно было. Я к вам прибежала, а они уже пришли.

Лизочка, я прощения не прошу. Потому что сама себя простить бы не смогла. Я знала, что тебя и Саню отправили в детские дома, разные. Старики Думочкины меня приютили и выясняли потом для меня, где вы. Но так и не осмелилась, помня свою вину, я навестить кого-нибудь из вас. Потом я узнала, что умер наш Санечка, и стало совсем невозможно искать тебя. Ведь он умер, можно сказать, из-за меня — так рано, в каком-то холодном-голодном детском доме. А он был такой обжора, ты помнишь, как он таскал пирожки у няни Ольги?..»

Письмо обрывалось.

На волнах разлинованного листа воскрешались тени, вызванные к жизни читающим. Сто лет прошло, кто бы мог подумать. Марат осматривал бумагу, соображая, когда письма могли быть написаны. Писавшая была, вероятно, уже стара — почерк, в котором усматривалась хорошая каллиграфическая школа, ослаб здесь, был нетверд. В соединении букв, в неустойчивом их наклоне дрожал, заявлял о себе возраст. А может — горе.

«Дорогая Лизочка, когда вспоминаю о тебе, я плачу. Как прекрасно было наше ученье! Ты совсем малышка, но такая сообразительная. А помнишь кисточки на портьерах, золотистые и голубые? Это ведь я срезала все золотистые, хотела украсить ими кукольное покрывало. Это мой маленький детский грех.

Лиза, можешь ли ты представить, что живу я в одиночестве в отцовом — в нашем — доме! Трудно вообразить большее для меня наказание.

Сложилось у меня поначалу не очень. Жила у Думочкиных. Их младший, Костя, ты его еще дразнила за румянность, жених мой, утонул. Замуж не вышла. И вот вся жизнь теперь — одно воспоминание для такой старухи одинокой, какой теперь является сестра твоя Евдокия Каплина».

«Вся жизнь, Лиза, прожита в отчаянии. И оно меня сломало. Оно раздобрело, разрослось, заместило для меня все прочие человеческие чувства. Вела счета в Облпотребсоюзе, дослужилась до главбуха. Квартиру отличную, благоустроенную дали. Да все не в радость. Все механически живу. Домой с работы иду — смотрю на дом наш. Парадное крыльцо развалили да перестроили на простой манер. Балкончик едва, непонятно на чем только, держится. Лавочку с торца пристроили, там всегда кто-нибудь сидит. И можешь ли представить, кого я однажды увидела на этой лавочке? Машу Тышкевич! Она (что за злая шутка судьбы?) оказалась

здесь — вышла сюда замуж. Они с мужем занимали квартиру в дальнем коридоре, где комната няни Ольги и классная. Маше было плохо здесь, из-за нас отчасти. Чувствовала и она вину — за своего отца. И умерла. Ходила я на похороны. У нее никого не осталось: ни детей, никого. Ее лицо мне под старость снится — мертвое уже. И отчаяние возвращается. Комната няни Ольги, кстати, всегда мне казалась удобной и теплой...»

«Кругом в папином доме — люди, чужаки. И я чувствую себя привидением, осколком из прошлого. Но дом давно уже расселяют, он освобождается. И, может быть, настанет время, когда он будет пустым.

Лиза, мне кажется, я пропустила всю свою жизнь. Не могу избавиться от этой мысли. Может быть, потому что готовлюсь к больнице, проверять сердце. Никого нет у меня. Только ты. Помнишь, Саня спрятал при наших проказах Домнино кольцо, да сам и забыл куда. Так и не нашли. Папа Домну утешал потом, она плакала, говорила: не к добру. Папа посмеялся: суеверия. И купил ей другое. Которое потом сняли, когда ее потащили. Большое кольцо с изумрудом, камень обняла крылышками птица. Модерн. Один увидел и бросил тело, чтобы кольцо снять. Оно в грязь упало, он ругался и шарил по земле руками. Перед глазами все. Не забуду».

«Я много лет ищу папину и Домнину могилу. Думочкины рассказывали, что их и других вместе с ними похоронили в общей яме под кладбищенской горой. Архивы открывают, я написала в ведомство. А самой по архивам шастать нету сил. Едва дохожу до церкви.

Батюшка служит молодой. Смотрит на меня близоруко и сказать что-то хочет как будто. Как будто бы он даже похож на отца Павла, который венчал папу и Домну. Волосы темные, орлиный нос, на абрека похож, не на священника. Няня Ольга на отца Павла все заглядывалась, да он же был монах. Думаю об одном — вся моя жизнь закончилась тогда, за шкафом в квартирке Тышкевичей. Я призрак среди живых. Если бы вы могли узнать обо мне, о том, что я жива, и написать или приехать! С адреса вашего, видимо старого, письма возвращаются мне. Невозможно...» Дальше — размыто.

«На втором этаже в наших спальнях, еще поселились учителя, временно. Ждут квартиру в благоустроенном доме. Все, что и говорить, хотят уехать. Для них здесь пустой, холодный быт без достаточных удобств. Они даже и мебель не покупают, пользуются той, нашей, что в доме осталась еще с тех времен. Много разрушено, но кое-что осталось.

А на одной жилище я обнаружила Домнин платок и мамины кружева. Раритет, антиквариат, говорят. Сперва вспыхнула, хотела отобрать. Но взяла себя в руки. Это же вещи. Они — есть, хозяйки мертвы. Где эти вещи пребывали все это время? Кочевали десятилетиями по людям, по дому. Вот я с ними встретила, как с прошлым».

«Пишу тебе сообщить, что дом окончательно расселяют. Приходили чиновницы. Я отказалась выехать, высказала им обеспокоенность судьбой



дома. Они утешали, что хождения мои по инстанциям успешны, что он записан как исторический памятник, пример купеческой усадьбы. Одна меня наругала — мол, у вас же, уважаемая старуха, есть квартира, а вы здесь сидите. А я сижу, я же наследница Маши Тышкевич. И молю Бога, чтобы они забыли обо мне. Ну отчего бы им, в самом деле, не забыть о скучной старухе?

Может быть, для того Господь и оставил меня в старости еще бодрой, чтобы сохранить наш дом. Может быть, это моя возможность искупить свою вину и перед вами, перед папой, Домной. И мамой, которой было бы больно от моей детской трусости, я уверена.

Мама приснилась мне на днях. Она стояла в фате, как невеста. Помнишь ли ты, как горевал папа, когда мама умерла? Домна была ему в дар за то, что он был добр и щедр, а мы, дети, этот дар из ревности отравляли. Бедный папа!»

«Живем тут вдвоем, я и пес, то ли приبلудный, то ли был чей-то, а хозяйева съехали, бросили его. Клички не знаю, зову Чернышом — крупный, весь черный, жуткий с виду, но спокойного нрава. Охраняет меня, провожает до магазина, ждет.

Греет лишь одно на закате дней — что умереть я смогу здесь. Что бы ни случилось, поручила знакомым, чтобы вынесли меня отсюда и прямоком на кладбище, никаких ритуальных залов. Все мое перейдет кому-нибудь из твоих детей, а может, и внуков. Нужно ли оно будет им, не знаю. Но поступить иначе не могу.

Люблю тебя, Лизочка. Твоя сестра Евдокия».

Глава 12. Сашка

Прабабка Лизочка Каплина приснилась Марату. В толстом сером платке на детских плечиках, под которым — оборки, банты. Она сбегает с лестницы второго этажа, морщит нос оттого, что солнце, врываясь в окно, щекочет ей лицо. Снизу, с первого этажа, на нее смотрит другая прабабка, Евдокия, подобранная сухопарая старуха. Смотрит, но не видит — Евдокия слепа. У ног ее сидит черное животное, то ли пес, то ли волк, — поводырь. И тоже глядит на него, Марата.

Он проснулся оглушенным.

В этот момент Маня Иванович и вторгся к нему без стука. Он тащил за шиворот существо белобрисое, чумазое и шумное. Существо брыкалось, намереваясь выбить у дядьки костыль, но ручищи Мани Ивановича прочно удерживали и то и другое.

— Ну вот, вытащил из шкафа! Новый жилец, што ли? — Маня Иванович запер дверь и отпустил существо, которое тотчас заметалось по комнате, ища выхода.

Марат тем временем оделся. И когда белобрисое пролетало мимо, схватил, чтобы получше рассмотреть. Существо оказалось пацаном, достаточно неряшливым, чтобы сойти за беспризорника, но достаточно смышленного вида, чтобы сойти за умника.

— Ну? — Марат улыбнулся и потряс мальчишку.

Мальчишка улыбнулся и вырвался. Но убежать больше не стал, вытер руку о штаны и протянул лопаткой:

— Сашка. Александр то есть.

— Марат.

— Сашка. — Пацан обернулся к Мане.

Маня Иванович ухмыльнулся и освободил ладонь. Сашка бесстрашно пожал красную ручищу. Взрослых он не боялся.

— И что ты здесь делаешь? — поинтересовался Марат.

— За тобой наблюдаю.

— И давно наблюдаешь?

— Ага.

Пока шел разговор, Сашка-Александр слопал пачку печенья и выпил два стакана молока. Марат и Маня Иванович дивились тому, что к ним залетело нечто такое непосредственное, детское.

Новый знакомец наконец решил, что для первого раза хватит.

— В школу надо сегодня сходить. А то бабка с ума сойдет, а то еще и по башке треснет. Выпустите!

Марат сунул в карман Сашкиной куртки непечатую пачку печенья:

— Ну давай. В другой раз заходи.

Мужчины остались одни. Маня Иванович полез за куревом. Марат смотрел сквозь грязное стекло на уходящего парнишку.

— Маня Иванович, обустраивайся, мебель сооружай. А я погуляю.

Маня Иванович, человек понятливый, увидел исписанные бумаженции, старые видать, совсем желтые, разбросанные по комнате. Оценил выражение Маратова лица.

— Давай-ка я пока яишенку соображу. Колбаса имеется?

Марат улыбнулся, отодвинулся, открыв Мане Ивановичу доступ к холодильнику, и вышел.

На улице кряхтел ветер. Пробирало холодом землю, и она, кажется, дрожала. Вот здесь лежал Каплин, а где-то здесь — Домна, подарок небес. Их кровь впиталась в крыльцо, в почву, на ней и выросли, может, и эти обильные черемуховые и сиреневые кусты, и красные ягоды рябин суть ее отражение. Невозможно оставить все это теперь, невозможно отделаться и уйти — перекантоваться здесь и все потом бросить. Марат, конечно, примеривался восстановить дом по старым чертежам, сделать жилым. Но прежде это была лишь догадка о том, что следует сделать. Теперь, с этими письмами, пришло намерение.

След юного утреннего гостя давно простыл. По дороге уходил какой-то мужчина. Марату показалось, что это купец Каплин, передав наконец дом в надежные руки, уходит в свою страну на покой, к мосту, за которым туман, и буйная полынь, и чье-то детство. И огромный волк встречает на той стороне своего человека. Так представилось Марату. Умиротворенный и вдохновленный этой фантазией, он вернулся в дом.

Сашка, кстати, соврал — ни в какую школу он не собирался. Сегодня он, по плану, как раз ее прогуливал. Отбежав от Каплина дома



на почтительное расстояние, Сашка спрятался за крупным деревом и выглядывал, наблюдал за Маратом, прижимая куртку плотно к бокам, чтоб не поддувало. Обитатели Каплина дома ему понравились.

Про бабуку он не соврал — бабука бы ему точно накостиляла. Ныла бы весь вечер. А потом бы еще к психологу повела. Хуже психолога ничего не придумать! Толстая тетка смотрит на него как на психбольного, разговаривает жалостно и все время вздыхает. А Сашка ей хамит или вообще молчит весь сеанс.

— Александр! Стыдись так себя вести! — это визгливое существо, называвшее себя его бабушкой, всегда обрушивалось ливнем причитаний после этих глупых сеансов.

Причитания носили характер обвинений и угроз, потому что Сашка был единственным, кто мог ответить за грехи своей родительницы, блуждавшей где-то во вселенной. Сам он мог бы усомниться, что родительница вообще существует, поскольку вживую ее никогда и не видел. Но бабука, материна мать, регулярно напоминала ему о ней, кляня и понося. Сашка был для бабуки прямым доказательством ее, бабукиного, горя, которое она когда-то сгоряча назвала Виолеттой. И поскольку таким образом он соотносился с ним, с горем, то отчасти был за него и в ответе.

Бабука была еще не старая, а прямо даже почти молодая, сорокавосемилетняя дама. Она неплохо сохранилась, имела еще талию, любила леопардовый принт и пышные прически. И время от времени Сашка даже думал — а вдруг это его мама просто притворяется зачем-то бабушкой. Но в этом случае в его сердце закрадывалась печаль оттого, что все матери любят своих детей, а его мать-бабука его не очень-то любит. Так что пусть лучше остается бабушкой, родственницей более посторонней, чем мать. Ему было даже приятнее думать, что эта бабука — совершенно чужая, что она нашла его на улице, где он в младенчестве был кем-то утерян, и присвоила. Или вообще украла у добрых родителей ради какой-то злой колдовской практики, уж очень она смахивала на ведьму.

Мифическая Виолетта, которую проклинала злая бабука, казалась Сашке несчастной принцессой, которую заточили, как в башне, в темном канализационном коллекторе, превратив перед этим во что-то совсем другое. Бабука могла бы, ей ничего не стоит. А теперь говорит, что его мать натуральная бомжиха. Сашка подозревал в бабуке скрытые способности к волшебству, которые она никогда, конечно, не демонстрировала — ни в своем директорском кабинете в школе, ни в других общественных местах или вообще на людях.

Но дома, обидно отбивая линейкой ритм по Сашкиной голове или тыкая пальцем в станицу его тетради, испорченную ошибкой, она включала свои колдовские навыки — во всяком случае, для того чтобы поселить в нем необоримый страх. Сашка пытался сопротивляться, но в ее присутствии не мог, весь замирал. Его протестом были бесконечные прогулы и вялая успеваемость.

— Мать твоя вообще считала образование чуждым человеческой природе. И где она теперь? Бродит по колодцам? Я не уверена, что она жива. Скончалась где-нибудь под забором, вероятно. И ты пошел, как

я вижу, в нее. Копия — как внешне, так и внутренне. Откуда у меня могли появиться такие потомки?! — Бабка обращала глаза к небу, складывая руки на леопардовой груди, словно она святая статуя из учебника истории.

Ирина Аркадьевна считала внука уродом и душевнобольным — в педагогическом смысле, конечно. Какое-то время она крепилась, но, когда на десятом году жизни Сашка вероломно похитил у нее пятьсот рублей, жалость к внуку пропала навсегда. Что же до любви к нему, то он лишил ее надежд на яркую полную жизнь — как можно это любить? Как женщина нестарая и разведенная, она рассчитывала пораньше выпустить в самостоятельное плавание дочь и попробовать найти достойного мужчину, не такого, как первый муж, человек без фантазии и развития, инженер без перспектив, который к тому же еще и умер. Непутевая дочь и внук нагло украли у нее эту возможность. И да, если бы Сашку забрали, она была бы рада. Но кто же заберет ребенка у директора школы? Сама, по собственной инициативе устроить внука в детское учреждение не могла: что люди подумают, если отличник народного образования сдаст собственного малолетнего родственника в казенное учреждение? Достаточно позора от дочери, которая в пятнадцать родила и сбежала, подкинув матери младенца. Этого Ирине Аркадьевне школьный коллектив, конечно, не простил, завуч по воспитательной работе при случае (и это точно, ей неоднократно рассказывали) доносит до нужных ушей неблагоприятные эпизоды из ее личной жизни.

Поэтому Ирина Аркадьевна все эти годы внука терпела, обдумывая потихоньку, как бы от него избавиться без потерь для своей репутации. Нашла уже подходящий интернат — кадетский корпус, через год можно сдавать. Но полковник из интерната предупредил, что нужны еще и хорошие отметки, конкурс большой: дети военнослужащих, а еще полицейских, пожарных, а еще соцнагрузка из неблагополучных семей, с которой отметок, конечно, особо не спрашивают. Но Сашка — внук директрисы, с него положено спросить.

Пока Сашка навещал Каплин дом, бабка пялилась на портрет президента, висевший над совещательным столом в ее рабочем кабинете, и думала о своей жизни, испорченной всеми плохими людьми, которых она встретила на жизненном пути. А президент мужчина видный, строгий, неплохой такой мужчина. И разведен...

В широкую директорскую дверь постучали. Толстая математичка доложила, что Александр не явился на уроки и она теперь не отвечает, если ему поставят тройку в четверти по совокупности успехов. Ирина Аркадьевна мотнула головой, пригласив математичку войти. Лицо ее обрело приличное директору школы строгое, безжалостное выражение.

Сашка не любил школу. Он любил заросшие пустыри, заброшенные дома, а также ближние к городу дачи, особенно в зимнюю пору, когда они стояли пусты. Каждую осень на Сашку находило тоскливое чувство, манящее неизвестно куда. Он бродил по городу, добирался до каких-нибудь дач и, удостоверившись, что никто его не видит, проникал на какой-нибудь участок, а то и в дом. Многие хозяева оставляли





на деревьях облепиху, если она была мелкой. Но Сашка знал секрет ее сбора: после первых морозов нужно было расстелить на земле простыню или полотенце, что найдется в доме, и трясти деревцо. Он возвращался домой с мороженой облепихой в пакете или наволочке.

Ирина Аркадьевна злилась.

— Ну что, нашел? — пыхтела она, засовывая наволочку с облепихой в помойное ведро.

Она была убеждена, что Сашка бежит искать мать. И хоть это было не так (он что, дурак, рыскать в полной неизвестности непонятно где?), Сашка не разубеждал бабу.

Однажды он попал в переделку. Это был как бы сон о том, о чем Сашка хотел бы вовсе не знать: о страшной жизни детей. Когда дети входят в звериный возраст, в переломный, опасный возраст, тогда только родительская любовь может как-то сдерживать их. Но отделенные от нее, отнятые раньше срока — ведь и взрослый человек может существовать без нее с большим трудом, — дети становятся легкой добычей страха, преодолеть который помогает только ярость. Нелюбимый и ненужный ребенок идет по жизни как внезапно ослепший человек, натывается на твердые и острые предметы, им руководит боль и ужас неизвестности. И тогда рождается эта самая ярость. Если пути таких детей пересекаются, они становятся бандой, группировкой, дворовой компанией. Не позавидуешь тому, кто попадает на их пути, и Сашке просто не повезло.

Сашке не повезло, и теперь он часто видит этот повторяющийся кошмар во сне. Он в дачном домике лежит на полу. Хозяев не будет до весны. Глаза его не могут смотреть, смотреть больно. Он ничего не видит, только слышит. Прыгают вокруг пьяные малолетки. Звякают бутылки. Сашкина голова лежит в остро пахнущей луже. У него болит все тело. Его, кажется, бьют. На шею накидывают веревку и тянут. Сашка медленно изо всех сил кричит. Кричит так, словно кто-то летучий хочет выскочить из его тела и улететь, улететь от этого отчаяния, которое означает ожидание скорой смерти. Он кричит: «Ма-а-ма-а-а!»

Сашка на этом месте обычно просыпается. Тогда, в реальности, он очнулся, когда тетенька в белом халате гладила его по голове. Он радостно подумал в первую минуту, что это мама вернулась, что он все вытерпел, звал ее — и она услышала, пришла его спасти. Но тут же заподозрил, очухиваясь, что это никакая не мама. Хотя детям на помощь, конечно, всегда приходят мамы. А это просто врачиха, как в поликлинике. Он отвернулся, ткнулся лицом в коззам кушетки и горько расплакался. И не мог остановиться, и рычал, и даже извивался. Вторая волна отчаяния пришла и стала душить. Разочарование от минутного очарования было так страшно после всего, было так непереносимо!

Он тогда задергался, изо всей силы толкнул врачиху, она отлетела к стене. Врачиха не обиделась. Она улыбалась ему, и в глазах ее он видел доброе сочувствие. Ему воткнули укол, и вокруг него образовалась

тишина. Она раскачивалась, раскачивала его как в гамаке. В этом укачивании Сашкины мысли успокоились, стали стройными, и Сашка принял какое-то большое решение.

Ребят, мучивших его, он больше не видел. Но знал от тетеньки-инспектора, что троих постарше заперли в спецшколе, а маленьких оставили родителям, но под очень строгим присмотром полиции. Она назвала имена.

— Они тебя больше не обидят, не бойся.

Сашка усмехнулся про себя: за меня не бойтесь, за них бойтесь. Он чувствовал себя невероятно повзрослевшим, он чувствовал себя старым и хитрым. И мать была ему больше не нужна. Так он думал.

Потом еще одна тетка с красивыми черными волосами пришла к ним домой и в кухне разговаривала с бабушкой. Сашка слышал бабкины вскрики, лицо его гневно подергивалось. А потом он ушел в свой угол, лег на кровать и принялся мечтать: он мечтал, как мучители вырастут и он отыщет их и всем отомстит.

Вечером бабка заглянула к нему в комнату. Посмотрела с жалостью как будто бы. И ушла, не сказав ни слова. После этого Сашка заплакал.

Конечно, все это был страшный сон. Когда он стоял за деревом, воспоминания возникли, как волна, но быстро отхлынули, потому что он сунул руку в карман и ощутил там острый, скалистый угол пачки с пеньем. Подпрыгнул и побежал прочь, намереваясь вернуться к этому дому. Может быть, ему больше не придется проводить в одиночестве свои злые дни. Может быть, место ему найдется.

Глава 13. Любимые, потерянные и найденные

Маленькие обычаи, выдуманные или усвоенные, мешают наступлению любви, превращают возможность *значимого* в суету. Букеты в шумных обертках, иные подношения, долженствующие сказать о щедрости, наряды и маскирующая раскраска, имитирующие красоту, лишь создают пеструю неверную рябь. И волна, которая могла бы поднять нас чуть выше привычной поверхности, не созревает.

Все притворяются, что рябь это и есть волна. Но она не содержит ни высоты, ни глубины. А бывает еще и грязновата, когда невидимые потоки, дрожание водяной толщи взбивают со дна сумрачный ил. Сквозь эту рябь лицо напротив даже приблизительно не опознаваемо. Оно искажается, и потом все может оказаться иначе, не так, как ты себе представляла.

Сердце повернулось, застряло — это влечение. Мне кажется, я больше не путаю влечение и любовь — желание и сладкое усилие. Нежная шкурка желания, под которой скрывается ослепительное ядро, лопается, и выходит свет, обучающий меня чистоте.

Без чистоты невыносимо. Особенно, если представить, согласившись с Шекспиром в определении мира, что память — главная героиня всех наших пьес.



Агата, думая все это, плавала в кисельной дреме воображения. Диван поскрипывал теплой кожей.

— Они почему-то с рыбалки всегда привозили только малюсеньких рыбок...

— Я похожа на рыбку?

— Все рыбки похожи на мыло.

— Я похожа на мыло?

— Нет.

— А на что я похожа?

— Ты? Не знаю. У тебя пальцы бесстыжие.

С кем она беседует? С одной стороны белая штора, с другой — синяя, плотная.

Ни у кого сейчас нет белых простыней, белых пододеяльников, белых наволочек. Сейчас у всех цветные. А у него есть.

Она как будто пришла на эту пустую улицу, к дому, словно собранному из какого-то неземного вещества. Она приблизила голову к черной стене, к выпуклому бревну — хотела прислушаться, не дышит ли дом, этот мамонт, трагически увязший в болоте времени.

Возле старой двери напало на нее бессилие, руки не поднять. Тогда кое-как постучала в окно.

А дальше — все в темноте: скрипы, теплота, ощущения. Горьковатый привкус на коже; и запах, до конца не распознаваемый, трагический, сладостный, отчаянный, — наверное, потому, что любое острое чувство обнаруживает в себе смерть. Ведь острое чувство — принадлежность физического, указывающее на естественный исход, так или иначе. Поэтому страсть равна смерти, поэтому они суть одно, но только проявленное соответственно обстоятельствам.

Она в своем то ли любовном, то ли смертельном плаванье — которое воображала — ощущала лишь себя. Его не ощущала. Он и все прочее относилось к миру вообще, а не к ее чувству, которым она упивалась, погружаясь все дальше в свои фантазии.

К окну тем временем прорвался ночной снег — снеговые тучи осаждали город уже несколько дней. Суетливые хлопья наполнили воздух, но быстро успокоились, больше не ройсь, не мельтеша под фонарями, плавно оседали, придавая картине окна отрешенный вид. На горизонте стоял голый парк, равнодушно цепляя деревянными руками вату темноты. Бог особенно виден в спокойной природе, словно подернутой дымкой разумности, когда ничто не ослепляет и восторг чист и освещает тебя ровно, — ты словно осознаешь себя со стороны. Бог — в мгновенном чувстве глубокого покоя, когда ты смотришь на то, что взаимно влюблено в тебя, — на человека, собаку, на ночное дерево. На снег в конце концов.

Агата, конечно же, не входила в чужой дом. Она бы не отважилась. Сейчас, во всяком случае, вот так сразу. Она не была отчаянной. Во всяком случае, такой она себя не знала. Оставив этому человеку номер



телефона, поначалу несколько дней на звонки, если номер незнакомый, не отвечала. Они разговаривали лишь дважды. Ситуация казалась слишком типичной, критически пошлой. И когда ночами Нольберг отчаливал в иные миры, откуда извлечь его могло только солнце, бугаем ломящееся в скучное окно семейной спальни, она сидела где-нибудь в квартире и переживала эту пошлость, осветляя ее хотя бы контрастом: наличие у супруга любовницы казалось ей верхом вульгарности. Тем более что Нольберг особо ничего и не скрывал: не видел, наверное, необходимости.

Телефон вибрировал под кожаной диванной подушкой.

Муж похрапывал в спальне. Агата заглянула к нему. Он спал крепко и сладко, подрагивая голыми ногами, как собака лапами. Ноги его всегда торчали из-под одеяла. И никогда он наутро не помнил, что ему снилось. Во сне он был словно мертвый и каждое утро воскресал. Но сейчас еще было не утро, можно было не беспокоиться.

Снег, снег. Она побрела на кухню и в полусне ответила на звонок с незнакомого номера.

— Ты как? — Агата говорила шепотом, открыв дверцу холодильника, замаскировавшись под ночного едока. Начало разговора было так себе, но она не знала, что сказать.

— Хорошо. А ты как? — Он говорил в полный голос. У него был матовый, глуховатый и глубокий тон, похожий на серого ночного мотылька, который бьется вокруг плафона, ожидая, когда придет его очередь сгореть.

А дальше они оба молчали. Агата закрыла холодильник. И села с телефоном на крошечную тахту возле балконной двери, покрыла ноги кухонным полотенцем, а трубку и половину лица — кухонной прихваткой, для тишины, чтобы никого не разбудить. И пыталась представить, как там он, что делает, стоит или сидит, или лежит, может быть. Молчать представлялось естественным — между ними еще ничего не было, они еще ничего не знали друг о друге.

Она опасалась, что знание может разрушить ее смутные ожидания — пока, впрочем, только одно, ожидание освобождения. Ведь ничего до этого не помогало ей сломить стену, которая встала на ее пути: стену нелюбви, которая откуда ни возьмись появилась в ее жизни. Эта отчаянно прочная стена росла и питалась чем-то из-под земли. Сама Агата чувствовала себя мушкой или птичкой — кем-то, имеющим крылья, но неспособным перелететь стену.

Тихий ночной тайный разговор продолжался.

— Здесь много грязной работы, нужно все разобрать. Но дом хороший...

Он рассказывал о себе. Агата недавно уже видела этот дом. Нет, не входила, лишь поднималась на крыльцо. Обошла его вокруг, полуживая от волнения. Но не стучала в окно, конечно. И ручку входной двери не трогала. Пришла туда после долгих раздумий, из жгучего любопытства, но как бы в окончание прогулки. Не стала ждать автобуса, пошла по мосту, по длинной набережной, потом завернула и прошла еще несколько кварталов от реки. Постояв возле дома, вернулась на мост, смотрела на воду, сияющую, ломившую глаза.





Почему говорят, что на огонь и воду можно смотреть бесконечно? Потому что мы не имеем в отношении них никаких других ожиданий: вода — это вода, огонь — это огонь. Одна течет, другой горит. Они естественны — и мы естественны в нашем отношении к ним. Вода под красным солнцем имеет вид жидкого серебра в кровавых брызгах — это уже наше воображение. Точно так же мы вспоминаем лицо, ставшее вдруг любимым, находя в нем всю правду — и всю нашу жажду утоляя этой находкой. Воображение помогает преодолеть давление материи, оно обоснует наши чувства как чистые, как единственно возможные. К счастью, иногда так и бывает. К счастью, иногда чистота открывается нам неожиданно.

— Придешь в гости? Когда захочешь.

— Приду. Скоро приду.

— Приходи быстрее.

Елена позвонила Марату неожиданно.

— Я хочу увидеться с тобой, котик. Ты так гадко меня бросил, надо сказать. И работу бросил. Надо, чтобы ты вернулся, мы тут ничего не успеваем. Кстати, и вещи свои оставил. Или возвращайся, или забери их уже совсем. В чем ты вообще там ходишь? Все приличные рубашки висят в шкафу.

Елена тарыхтела, но не кричала, не упрекала. Марат решил навестить жену и уладить с ней все вопросы. Он пообещал ей вернуться — но только на работу, в бюро.

— Маратик, ты умница! Остановимся пока хотя бы на этом. — Елена хвалила, но как будто бы и ругала. Как, впрочем, всегда. И это означало, что Елена не отступит и будет его атаковать. Он хотел было рассказать о том, что в его жизни произошла важная встреча, но сдержался.

Когда они увиделись в бюро, Елена была спокойна. Этого он не ожидал, хотя и считал ее мастером манипуляции.

— Нужно будет посетить одного человечка. Крупненький контрактик. — Она кивнула в сторону своего стола.

Система получения контрактов была известна Марату, и обычно он отстранялся от таких встреч, предоставляя их Елене. Но в этот раз неожиданно для себя сказал, что хочет прочесть документы и поедет на встречу вместе с ней.

— Ой! Ты не болен? — Елена закатила глаза, но губы ее подернулись той редкой улыбкой, которая свидетельствовала: она растрогана и довольна.

А вот Марат был собой недоволен — он вовсе не хотел ее растрогать или дать надежду, хотел лишь усилить свои позиции, настоять на своем, доказать, что их отношения теперь чисто деловые, что он больше не может доверять ей как прежде.

Марат посмотрел на свой стол, расчищенный от бумаг. Лист на календаре был перевернут с октября на ноябрь. Его чашка, обычно зарастающая налетом чайной заварки, сияла. Это окончательно его раздражило.

— Мне надо забрать вещи. Поехали.

— Что конкретно ты будешь забирать? Какие-то вещи — наши общие, ты же понимаешь.

— Возьми чемодан, сумку и сложи туда то, что считаешь нужным, — сказал он сухо.

Он ждал ее в машине, пока она была наверху, дома, собирала сумки.

Любовь преследует нас, требуя исполнения обещаний, овладевая ее тонкостью, овладеваешь тонкостью вообще. Теперь он не мог подняться туда, в жилище, где обещания не были исполнены, где все покрыто уродливыми наростами взаимного негодования.

Елена выкатила из подъезда чемодан. Он погрузил его в багажник.

— Когда тебя ждать дома?

— Никогда.

— А на работе?

— Заеду, как смогу.

И вдруг Елена заплакала.

Ночью Марат не мог уснуть, ворочался на своем диване в винных разводах. Слезы жены не выходили из головы. Не то чтобы ему было ее жаль — просто он осознал, что большой этап его жизни закончился, начинается новый, совершенно неизвестный. Он подскакивал, глотал воду, стоял у окна, прилипнув лбом к холодному стеклу. Его трясло. Размытая фонарями темнота предлагала ему картины какой-то фантастической действительности, а может, снова воскрешала мертвецов. Они просто его преследуют в этом городе!

Потом он возвращался в постель и как будто засыпал. Но, засыпая, видел совершенно отчетливо, что главная дверь в его доме заколочена. Впрочем, позади, там, где сегодня растет толстый тополь, есть еще одна. Через эту дверь спаслись дети Каплина.

Он видел, как они бежали, Дуняша даже и босиком, по листьям, сохранявшим, будто в ладошках, нерастаявший снег. Испуганная няня Ольга завела их в тупичок между домами на другой стороне улицы и велела там притаиться возле забора, сидеть тихо. Сама убежала. Больше никто ее не видел. Они сидели, Дуняшины ноги окоченели, но плакать следовало молча, чтобы не напугать младших.

Их скоро подобрали какие-то люди. Дуняшу жители тупичка, мещане Думочкины, благообразная немолодая пара, выпросили себе. Марат видел ярко, в широких картинах, и дальнейшее, находясь, по видимому, под впечатлением от писем. Видел, как долго она жила у них, как выучилась на бухгалтерских курсах, как схоронила обоих стариков Думочкиных. Как в зрелости вернулась в отцовский дом, поделенный на квартирки. И как вынесли Дуняшу, седую, тощую, через эту же дверь черного хода, он тоже видел. Возле двери тогда хлопал зелеными крыльями юный тополек. Выл черный пес, потеряв человека.

А перед смертью постояла Евдокия в коридоре дома, послушала, что говорит дерево. Вскипятила чайник. Нарезала хлеба. «Хлеб нынче пекут влажный, тяжелый», — только успела подумать и умерла. Соседи решили, что через черный ход выносить ее будет удобнее: потом прямо





в горку, прямо к церкви. Маленькая дверь всегда плотно прикрыта, но не замкнута.

И сейчас не замкнута, войти можно. И человек войдет, и всякое...

После этого вокруг Марата оформилась как будто бы окончательная тишина — ничто не отрывало от плавных мыслей, мелькающих, но уже непроглядных, спутанных, сплетенных в одно ласковое покрывало, легчайшее, легчайшее...

Покрывало прорвал то ли плач, то ли стук. Тишина расползлась, как ветхая тряпка. Образы замылились. Очередь, провожающая гроб с Евдокией, рассыпалась на кубики.

Марат стряхнул дремоту, сполз с дивана. Стук повторился. Открывая дверь в коридор, он все еще находился в окружении молчаливых призраков. Призраки толпились в сторонке, ожидая внимания.

В открытую дверь вшагнуло светлое пятно, стукнули каблуки.

— Мы где? — Пятно пошевелило воздух.

Призраки обиженно нахохлились, а потом отступили.

— Ты попала в логово маньяка. — Марат ответил автоматически, даже не разобрав еще облика гостьи. Неловкая шутка. Но как еще встретить этот голос? Как словами высказать объем счастья, который созрел в нем в одну секунду, раздавив остатки сна. Можно было спросить, какими судьбами занесло ее сюда так поздно, удивиться — и разрушить восторг момента. Можно было насторожиться — и разорвать череду тонких событий, которую сплетала ради них судьба.

Поэтому он нашел милую, незнакомую пока руку, ухватился за нее, как утопающий.

— Не бойся. Это мой дом.

Он в первый раз назвал этот дом своим. Призраки, столпившиеся на лестнице, удивленно обернули к нему свои прозрачные расплывчатые лица и, успокоенные, уплыли вверх по лестнице.

Люди остались одни.

А утром никто не спешил просыпаться. Утром дом был, как в вату, упакован в тишину — тишину воскресенья, блаженных поздних снов, их некоторые сновидцы разматывают аж до полудня. Потом с опухшими глазами блуждают внутри своей жизни, натываясь на вещи, на случайные воспоминания. Сбросить тяжесть сновидений порой непросто. Порой вся жизнь превращается в сновидение.

А вот Агата проснулась очень рано, выбралась в коридор, забралась на второй этаж, некогда разбитый на клетушки жадными руками коллективного хозяина. Обломки старого дерева — стульев, полок — плыли навстречу ей обломками неизвестных судеб. В них ютилась страсть тления, скрывались тайные истории, в которых горечь мешалась со сладостью, а щемящее личное перебивалось чем-то общеизвестным. Во всем чувствовалась печаль, рационального объяснения которой не было.

Она уселась на низкий подоконник в одной из комнат, самой большой и пустой. Лепнина, сохранившаяся над проемом двери, — лавровые

листочки, забеленные на миллион раз почти до полной неузнаваемости — сглаживала, как еще могла, сиротливость пустого помещения. Кто-то когда-то любовался свежим гипсовым лавром, и она, эта лепнина, ловила вечерами и отблески свечей, а не мерзла, как сейчас, только под электрическим мертвым светом. Вся эта пустота отзывалась внутри неотчетливой, но очевидно знакомой песней. Какими-то незамысловатыми, легчайшими куплетами, где за музыкой и словами горели высоким огнем человеческие сердца. Их бытие разворачивалось на светлых равнинах или в тревожной узости ущелий, близ холмов, наполненных подземным трепетом, на долгих сырых побережьях. Или здесь, сейчас — среди снегового шепота, блуждающего по кронам и крышам. В юности этот шепот слышишь отчетливей и будто бы даже разбираешь в нем какие-то отдельные слова. Но под давлением лет словно закладывает уши — не слышишь ничего, лишь догадываешься о сюжете: едет на коне мужчина, навстречу ему, глядяваясь в пылевую тучу на дороге, спешит женщина, еще не разобрав, кого встречает, а следуя лишь обещанию сердца.

Склонная к большим переживаниям — хотя по привычке, выученной в родительской семье, относилась такое к романтическим бредням, — Агата с неудовольствием обратилась к собственной жизни, в которой находила тьмы мелкого, пошлого, скрывающего, как пыль на дороге, ее всадника.

На горло ей плавно давило и раскаяние: очевидно, что она недостаточно умелая жена и недостаточно ответственная мать. Ведь если любовница мужа подсылает к ней бородатых пажей с посланием, то ясно, что она как жена уже ничего не стоит. А у нее духу не хватает и на то, чтобы устроить скандал. Даже туфли утопила. И о детях сейчас совсем не думает.

Раскаяние сменялось тихим вопрошанием: как же так вышло, что она вообще почти никто? Ничего не умеет, и все ее достижения лежат в области далекого прошлого. Нужно хотя бы себе самой ответить честно. По настоянию Нольбергов она когда-то согласилась, что женщине из *такой* семьи работу можно посещать факультативно, ради того, чтобы не утратить связь с реальностью, но и это не обязательно. И она, не сопротивляясь, уселась дома. Это было давно. Потом появились малыши — и она выросла в домашние стены, стала чем-то вроде обоев. Ее собственные родители были с этим вполне согласны. Жизнь в *такой* семье налагала свои штрафы.

Тем более отец считал, что дочь немного мешает его собственной карьере, вызывая ненужное внимание и досужие сплетни: он возглавлял большую авторитетную кафедру, она на ней работала. Конечно, думала Агата, он бы никогда в открытую не сказал, что она для него помеха. Но все было понятно и без слов. И мать возражать не стала, видимо взвесив карьеры — настоящую мужа и возможную дочери. Можно ли винить ее в том, что она выбрала настоящую, которая могла в будущем расцвести и в директорском кабинете? Агата не винила родителей. Не винила и *такую* семью. Просто хорошо понимала, почему настойчивость Нольбергов



была принята матерью и отцом, людьми уважаемыми и практического склада, благосклонно. Но ведь и сама она не протестовала, согласилась на все, к чему ее склоняли. И даже была довольна.

И все туманности, недосказанности ее маленькой жизни были развенчаны минувшей ночью. Она стала как будто виднее — сама себе. Силуэт ее будто бы стал четче. Что получила она от наступления ясности? Правда была горьковатой, досадной, но она все равно давала облегчение. И если посторонний (облако пыли), незнакомый человек, к которому она склонилась всего лишь от сильного внезапного ощущения, увидел ее отчетливо, то разве сама она не должна сказать себе всю правду?

Конечно, не этого она ожидала от Марата. Чего ожидала, ей неизвестно. Чего-то меньшего. Можно сказать, что она ожидала легкого обезболивающего эффекта для своего уязвленного самолюбия. И когда пересекла она улицу, как Рубикон, очевидно совершая огромный и, возможно, непоправимый проступок перед *такой* семьей, чувствовала себя ничтожной нарушительницей устоев, обиженной ничтожной дурой. Ей мнилось, что за ней следят фонари, что Виктор сейчас явится как из-под земли. А его непотопляемый папаша разотрет ее в порошок и развеет по ветру.

Если бы Нольберг не собрался в очередную внезапную командировку (Агата называла их «командировки выходного дня»), она бы осталась дома. Страдала бы в неведении и сомнениях, переползала бы из комнаты в комнату всю ночь. Обычно помогало присутствие детей, которым она была нужна настолько, что на посторонние мысли попросту не оставалось времени. Но дети отправились в гости на все выходные к ее родителям — бабушка с дедушкой открыли зимний сезон на даче, там были кошки и собака, живые огни в настоящем каминчике. Наконец, пустой лес на берегу пугающе большой реки. Река пока не замерзла, а лес еще заволакивало туманами. Эхо в почти голом лесу, если громко крикнуть, материализовалось, как казалось Агате в детстве, в старика — белое одеяние, белая борода. Агата боялась этого деда, который, конечно же, был лесным колдуном, а кем же еще. Повстречаете колдуна — тихонько уходите, хотела напутствовать Агата детей, когда застегивала им курточки. Но тут подошел отец, провел ладонью по голове внука. И она не стала ничего говорить.

Конечно, мать бы сказала о ее побеге: ни стыда, ни совести. Она так говорила всегда, стараясь принудить дочь к подчинению. Может быть, Агате за всю жизнь просто надоело стыдиться, может быть, она устала, поэтому-то и взошла на крыльцо и постучала. Остальное, конечно, ничем таким не объяснишь, но подобные вещи вообще плохо объяснимы. Остается таить тишину, которую они приносят, стать чем-то вроде этого дома.

Внизу заскрипело. Агата вдохнула поглубже и отправилась вниз, в свою секретную жизнь.

Минувший вечер ничего не объяснил, все запутал. Одеяло было холодным, как озеро. Когда они, набрав побольше воздуха, падали в это озеро, никто и не надеялся выплыть. Марат, по крайней мере, не надеялся.

Было темно, хотя и горел свет. Темноту в глазах вызывала бьющая в теле кровь, застилающая все внутренние зеркальца, в которых хоть что-то могло отразиться. Действовать приходилось на ощупь.

Ее появление было жданным, но неожиданным. Впрочем, к такому не пригодишься. Не знаешь, что сказать, как мальчик. Он поздно заметил, что дрожат руки, — она уже смотрела на его руки таким пристальным, будто привязанным, взглядом.

— Проходи? — и легонько подтолкнул ее к обитаемой комнате.

Она будто напряглась, он перехватил это напряжение, подался навстречу, загородил отступление. Но собиралась ли она отступить? Рванула дверь перед собой, зашла, обернулась к нему влажным, заострившимся от переживания лицом.

Обнимать женщину в пальто непросто — он терял ее в широких шерстяных складках. И эта игра в ускользание так раззадорила его, что он схватил фигуру в охапку и, плотно прижав к себе, зафиксировал так жестко, что та ойкнула. Затем полетело в угол пальто. Затем и нагрянула темнота.

Озеро кровати, из которого они умудрялись высовывать головы, чтобы вдохнуть, взбилось в пену. Все простые движения и общие людские интимные привычки, давно ставшие обыденными — а потому жалкими и неловкими, — обрели вдруг первоначальные смысл и красоту. Страсть принесла ту форму тепла, которой так не хватало им обоим.

Она преобразила инстинкт в прекрасное условие миропорядка, а события — в череду неотвратимых обстоятельств, которые обычно называют судьбой. Каковыми были, например, застигнуты в свое время купец Каплин, плакавший по утонувшей жене, и молодая Домна, прислонившаяся к нему в бальной зале, оступившись. Она едва не уткнулась носиком в бутоньерку на лацкане, а подхваченная за локоть, взглядом уперлась в седеющую бороду, упрямые губы, а смутившись и подняв глаза, попала в светлый шторм совершенно безжалостного взгляда. Каплин был расстроен сделкой, которую срывали иногородние партнеры, не явившись в условленное время. Хозяин бала — сторона сделки — все еще терпеливо ждал. Ждал и Каплин, но уже начинал злиться. Подхватывая под локоток девчонку, которая — надо же! — запуталась в собственных юбках, он выругался про себя. Но вдруг обнаружил в себе и в девчонке что-то случайное и чудесное, мираж. Будто черты давно знакомые и позабытые померещились ему в этом существе. Будто нагрянул сложный запах, дарящий человеку ощущение свободы, — так налетает, сшибая с панталыку, весенний восточный ветер. И одновременно с Домной в поле его зрения попали запыхавшиеся партнеры, оправляющие одежду. Ну вот, подумал Каплин, ну вот, всё. Всё.

Таким же неотвратимым обстоятельством был, например, и дом, который Марат желал воскресить как событие и узел минувшего. Неотвратимыми обстоятельствами были и перемены, вычищающие объемы истории от самой истории, как очищают емкости от остатков



содержимого: деревяшки в центральной части города исчезали чаще, чем их настигала естественная погибель. Может быть, и следовало им уже исчезнуть? Взамен появятся другие здания, свежие, вместительные. Но для человека дом — все же не помещение, не удобства. Дом — это вмещаемое: семья, недруги и друзья, любовь и смерть, предательство и преданность, верность и ничтожество — все качества и побуждения, все оправдания и обещания. Даже тот дом, который еще не построен, уже не пуст — ибо у кого-то возникло намерение построить его для чего-то. А как же сломать такой, который, простояв сотню лет, настолько крепко связан со своими людьми, что его уничтожение напоминает убийство?

Неотвратимыми обстоятельствами, в конце концов, были люди — друг для друга. «Что нас ждет?» — подумал Марат в тот момент, когда Агата, проскрипев лестничными ступенями, снова вошла в комнату, стянула с себя его безразмерную футболку, в которой спала.

— Что же нас ждет? — сказал он вслух, она пожала плечами и улыбнулась.

И когда страсть сфокусировалась в напряжении этого бесконечного вопроса, пропало вдруг всякое волнение. И для тонущих посреди маленького белого озера наступила возможность окончательной правоты.

Глава 14. Бдения Леонида Абрикосова

Леня Абрикосов все еще мучился раскаянием, хотя прошло уже изрядно времени.

Конечно, если бы он знал, что его мерзкий, несмыываемый поступок приведет к началу чьей-то любви, он бы, наверное, так не переживал. Хотя как знать...

В тот день, после совершения им злодеяния, Элеонора, вернувшаяся с работы, позвонила и даже прибежала к нему, чтобы, скромно опустив глаза, выслушать отчет о случившемся ради нее моральном преступлении. Она была довольна.

В ней не было сильных чувств, но ее сжигало любопытство, которое добавляло злорадности ее хоть и скрываемой, но видимой радости, — любопытство неестественно искривляло ее рот. Лене казалось, что у его мистической розы неведомой болезнью тянет мышцы.

— Она очень расстроилась? — с надеждой спросила Элеонора.

— Ну... наверное.

— Вспомни, какое было у нее лицо?

— Лицо как лицо.

— Ленчик! Ну что ты такое говоришь: разве может быть лицо лицом у женщины, которая узнала, что мужик ей изменяет! Это рожа должна быть, как у чудища... — Элеонора скривила лицо в устрашающую гримасу и выставила когти.

Ее пальцы, над которыми регулярно трудились маникюрши, сегодня были черными с металлическим ободком.

— Никакого чудища не было, Эля. — В голосе Лени, смотревшего на опасные ногти богини (не хватало только желобков для стока крови), появилось упрямство, тон повысился.

— Всегда в таких случаях именно чудище, ты просто не заметил. Есть жвачка?

Эля быстро переключалась на свои мелкие потребности, каким бы серьезным ни был разговор. Эта черта в ней не то чтобы нравилась Лене, она его успокаивала. Хотя в глубине души он догадывался, что в черед грубых манипуляций, которыми Эля владела в совершенстве, эта — съехать с темы, чтобы расслабить оппонента — не самая последняя.

Он отправился на поиски жвачки. И пока рылся в карманах верхней одежды, лазил по ящикам своего письменного стола, пришла мама, обычнодохнула холодом.

— Элечка, как приятно! Мой дурачок даже не предложил тебе чаю?! Есть отличные печеньица... — услышал Леня, так и не отыскавший жвачки в своем настольном хозяйстве.

Печеньица! Дурачок!.. Он намеревался было поставить мать на место, но, увидев ее острый висячий нос с подрагивающими крыльями, сказал всего лишь:

— А нельзя о родном сыне как-то повежливей?

— Люди подумают, что я тебя не научила правилам хорошего тона!

— А ты научила? — Леня раздражился, внутри у него все заерзало.

— Я-то учила, а вот способны ли некоторые усвоить урок?! — парировала мать, махая длинным носом.

— Господи! — задыхаясь от возмущения, промолвил Леня и уволок Элеонору из кухни в свое холостяцкое логово.

Там муза продолжила расспросы. Она желала изведать страсть отмщения (все-таки Агата числилась женой ее мужчины — чем была, всяко, перед ней виновата). Волны этого желания сладко перекатывались в ней, не ведающей нравственных препятствий. Она просто хотела наслаждаться своим новым знанием — соперница в курсе, что отвергнута.

Наблюдать за богиней хладнокровно Леня не мог, ему хотелось накинуться на нее — то ли поколотить, то ли расцеловать: в отношении такого элементарного объекта, как Элеонора, ему, страстному человеку, склонному к поискам правды и справедливости, но неустойчивому перед красотой, трудно было определиться.

Элеонора, конечно, знала, что рядом с ней Леня неспокоен, — она знала о Лениных инстинктах все. В некотором смысле она его тоже хотела — как бородатого джинна, никому не мешающего в своей бутылке, но иногда, по необходимости, исполняющего самые странные желания. Такие, как то, которое он уже исполнил.

— Ну то есть она расстроилась?

— Думаю, да. — Внутренне он весь сжался, вспоминая.



— Ну тогда целую, Ленчик, я побежала! Прихорошусь — и на концерт... — и унеслась в свои гламурные пампасы.

...А Леня с тех самых пор мучился.

А ведь еще лет десять назад он знал, что делать. Пошел бы, например, на митинги, заявлял бы на каждом углу о своей гражданской позиции, боролся бы за правду и справедливость — и боль бы ушла. Да, было время, когда Леня скитался по «тигрятникам», его чуть было не обвинили в экстремизме. В доме его, к ужасу матери и соседей, органы однажды устроили обыск, ничего не нашли и ограничились штрафом.

— Теперь не такое время, когда человека можно вот так просто упечь! — выговаривала тогда Ленина мать молоденькому полицейскому.

Тот вздыхал:

— Гражданочка, мы при исполнении всего лишь.

— Гражданочка! Леня, ты слышишь — гражданочка! Как в тридцать седьмом!

— Мама, но тебя же в тридцать седьмом еще и на свете не было, — аккуратно возражал Леня, бросая извинительные взгляды в сторону заробевшего полицейского, но мама продолжала бунтовать.

«Мама куда опаснее для государственной безопасности, чем я», — так думал Леня и дожидался, пока его компьютер упакуют в коробку и увезут. Мама поправляла черную прическу — она красилась дочерна, как в юности, надеясь сохранить привлекательность. И мчала к подруге делиться протестными впечатлениями. Мама считала себя шестидесятиницей.

Но теперь и митинги стали редки, и не хотелось туда. Да и вряд ли Ленина боль ушла бы — он стал старше все-таки. Поэтому, не найдя решения, Леня лег зубами к стенке и лежал, гоняя в голове одну мысль: как от всего этого освободиться? Так и уснул, надеясь, что утро вечера мудренее.

Очередной понедельник не задался. Оттарабанив студентам лекцию, доцент Абрикосов с испугом подумал о том, что, покинув университет и вернувшись домой, он останется наедине с собой и будет снова порицать себя со всей страстью.

Он решил завернуть к кому-нибудь, например, к Шурику-антиквару — Шурик всегда на месте, в своем магазинчике в центре. Раньше они встречались то на митингах козлобородых анархистов, то вблизи «Русского марша», то на сходках против повышения цен на электричество. Но Шурику были ближе немые позеленевшие божки и тяжелые вышитые полотнища со страшными зелеными и черными демонами, вздыбившиеся страницы дряхлых книг, мебельная рухлядь, монеты... Со временем хозяин и сам стал похож на все это — словно позеленел, покрылся патиной, стал уязвимым, каким-то ломким.



Но зато Шурик точно будет Лене рад.

И Шурик действительно обрадовался. И он оказался не один. В маленькой комнатухе, которая мыслилась и арендовалась как склад при магазинчике, сидели знакомые и незнакомые, человек пять. У Шурика был день рождения.

Троих Леня хорошо знал — по философскому клубу, собранию беспокойных умов, гнездившемуся в факультетских стенах. Философский клуб заседал дважды в месяц по пятницам. Марксист Петров, приторговывающий на рынке фермерской продукцией, приносил на заседания отличные сливки. На кофе скидывались. Варили его в кабинете декана, имея туда доступ через неокантианца Костопулоса, который был однокурсником декана, а вдобавок — женат на его сестре. Виктория Костопулос отправляла философам собственной стряпни печенье. Оно, конечно же, пахло Грецией.

Человек в клубе набиралось до пятнадцати, а то и двадцати — вместе со студентами-занудами, которые ожидали увидеть здесь пир мысли, а обнаруживали чаепитие седеющих неудачников. Студенты бабочками залетали на посиделки — и так же легкомысленно улетали. Леня искренне любил завсегдатаев клуба. И Петрова, который, скупая у фермеров продукцию для своего магазина, нередко давал крестьянам слишком низкую цену, и Костопулоса, который для счастья все мечтал перебраться или в Грецию, или в Калининград, поближе к могиле гения. И университетского дворника Илью Горацио, человека, окрыленного тихим и светлым помешательством. Илья часто приносил на заседания бездомных животных, утверждая, что созерцание животных — это есть «философия в действии». Его мыслительный процесс был настолько причудлив, что Леня удивлялся порой, как Илья еще не превратился в какую-нибудь бабочку или марсианского жука.

Этих троих — Петрова, Костопулоса и Горацио — он и обнаружил за столом у товарища-антиквара. Они ничуть не изменились, разве что Горацио стал тоньше, бесплотнее.

Был там и еще один человек, которого Лене видеть было одновременно очень приятно и не очень приятно, потому что он казался Лене самым свободным человеком на белом свете, но секрета этой свободы Леня никак не мог понять. Чудак поэт в берете с пером захаживал на собрания философского клуба просто так, чтобы навестить тех, кого знал и не знал. С такой же необязательностью он мог посетить филармонический концерт или кабинет какого-нибудь министра. В споры он никогда не вступал, а вот стихи мог читать до бесконечности. Поэта звали Витольд Сосновский, «единственный в своем роде», как сам он говорил про себя, представляясь.

Никогда нельзя было точно сказать, пьян он или трезв. Но всегда был, однозначно, в своем уме, прагматично выделяя речь — клейкую, прилипчивую, но приятную на слух поэтическую массу, в итоге застывающую в разноцветный рахат-лукум его тоненьких книжек.

Впервые Леня столкнулся с ним в факультетском холле возле вешалки, которую тот уронил и разглагольствовал на месте катастрофы,





обращаясь то ли к лежащим на полу курткам, то ли к мебели. Леня счел, что речевые прыжки «единственного в своем роде» очень логичны, обоснованны и, пожалуй, свидетельствуют о большем понимании свободы, чем доступно ему, Лене.

— Я не простой пьяница. Но валяюсь периодически. А что делать? Образ надо держать... Вот премию получу, мы поляну накроем. Всех позовем! Я уже сходил к кому надо, говорю: не дадите премию — я выкопаю яму, приглашу французскую прессу и сожгу себя! Надо еще в министерство культуры попасть, им пообещать. К этому... как его там... Сапожников, Безбожников?.. А, короче, какой-то Шариков. А потом поеду в Италию. Или в Нью-Йорк... Но ведь ты понимаешь, что только такие, как я, — поэты, художники и прочие — этот город и сохраняют? А вот мы уйдем кто куда — и останется что? И ничего. Ну, что-то, положим, останется, но все-таки — ничего! Ты по этому опустевшему городу пойдешь и подумаешь: вот здесь бы мог сидеть на лавочке Сосновский со своим крокодиловым портфелем. А нет! Не мог бы я там сидеть, потому что меня, по факту, нет! Я в яме заживо сгорел из-за Шарикова, перед французской прессой! А ты, кстати, кто? Надо тебе прозвище придумать, на русском языке, матерщинное...

Леня, который вернул вешалку на место, стоял, овеваемый этой правдивой сумбурной речью. Для него не было сомнений: псих, но как прав! Леня вытянул руку для рукопожатия, подождал, пока Сосновский приблизится к нему, и басом произнес:

— Леонид Абрикосов. Очень приятно.

С тех пор Сосновский приходил в клуб еще пару раз. Приносил философам коньяк в необъятном портфеле. Он садился и говорил, говорил, но никто его не слушал, кроме Лени. Впрочем, Сосновского это не волновало. Время от времени он выкрикивал философам, что они дураки.

— Леня, они же дураки! Какие они философы, они убиватели мух. А я хочу тебя познакомить кое с кем. Вот они — настоящие философы! Завтра в два зайду.

Сосновский не пришел ни завтра в два, ни послезавтра. Он вообще куда-то пропал, то ли уехал, то ли заболел. Леня тогда огорчился утерянной возможности. А теперь вот он, как новенький!

Пятого гостя, слишком цивилизованного и сдержанного для такой компании, Леня никогда не видел. Этот — он был здесь какой-то случайный — в основном молчал. Но Лене понравилось это молчание.

— А это мой однокурсник по архитектурному, Марат. И архитектор в отличие от меня, — представил Шурик пятого, одновременно пододвигая Лене стул.

Архитектура, как помнил Леня, никогда не интересовала Шуру — она интересовала его родителей. Мать в юности мечтала учиться на архитектора, но пошла в медицинский. Парню пришлось отдуваться за несбывшиеся материнские мечты. Впрочем, личный интерес Шурика был некоторым образом смежен: он обожал старые вещи, в которых видел стиль, утерянный ныне.

— Теперешнее, старик, ценности вообще не имеет — и не будет иметь. Банки-коробки, коробки-банки. Ни в чем теперь нет души. Ну может, только в платьях от Гуччи, — мешал Шурик серьезное с шуткой, продолжая как будто общий разговор, но обращаясь все-таки к пятому гостю.

Шурик, окончив институт, резко подшутил над матерью: попросив у нее деньги на открытие собственного маленького дела, он обратил их в старый хлам, купленный по цепочке знакомых на каких-то зловещих углах, привел его в порядок и открыл торговлю. Магазины были мал, но основное происходило в кулуарах. Шурик вел дела широко, обеспечивая провинциальных богатеев предметами пожилой роскоши. А недавно — но об этом он предпочитал умалчивать, видя опасность для своей репутации отчаянного любителя древностей, — вошел в небольшое выгодное дело: участвовал посредником в застройке на дорогой земле. Застройка не афишировалась, имела вид безобразной кишки, вклинившейся между старинными домами-памятниками. Леня, как всегда, полагал, что Шурик альтруистически любит свое барахло и готов жизнь положить, чтобы в мире такого барахла было как можно больше.

— Марат, ну так что? — Шурик, видимо, вернулся к какому-то прежде обсуждаемому вопросу.

Чудное же имя! На татарина непохож. Наверное, родители чтили пионера-героя Марата Казея, хмыкнул про себя Леня.

— Дом хороший, конечно, но в исторической части. Земля под ним дорогая. Не боишься, что сожгут? — так осторожно, что Леня вздрогнул, продолжал Шурик.

— Не думал как-то, — молчаливый мужик свел брови на некрасивом, но поразительно располагающем лице.

— А ты подумай. — Шурик набрал воздуха, желая еще что-то сказать, но сдулся, будто в нем проделали дырочку. А потом все же добавил: — Тебе надо бы его статус окончательно узнать, не по старым бумажкам — по новым. Бумажки правят миром. А вообще, лучше бы тебе выехать пока. Пока не установишь, что к чему. Это я тебе свои личные соображения говорю, как другу...

Шурины соображения часто оказывались к месту. Леня это знал. Разговор развлек его.

Шурик продолжал:

— Про монетки тоже подумай. На эти деньги, старичок, ты полэтажа отремонтируешь. Кстати, нет ли у тебя там и рухляди какой-нибудь?..

Обещав посмотреть рухлядь, пятый гость поднялся, собираясь уходить. Леня наблюдал, как тот надевает куртку, неторопливо наматывает шарф. Лицо Шурика, который провожал гостя, меняло выражения, словно он сопротивляется внутренним силам, принуждающим его еще что-то сказать.

Это выражение Шурикова лица не выходило у Лени из головы, посеяв какую-то иррациональную тревогу. И ведь не спросишь, не его дело.





Наконец, устав маяться и разгадывать чужие лица, Леня принципиально напился и отчалил домой. Что же, в этот раз его не затянул завораживающий бред Сосновского, не развлекли страдания Костопулоса, который в очередной раз вернулся из Греции и теперь, по привычке интеллигента, клял родину, мечтая снова уехать.

В лифте Леонид Абрикосов пел «Интернационал».

Утром, проснувшись, обнаружил над кроватью страшную черную надпись: «Элеонора, я тебя...», сделанную, судя по корявому почерку, собственной рукой.

Надпись пришлось заклеивать старой невыброшенной школьной картой — пока мама не увидела и не затрясла трагическими черными кудрями.

В самый разгар маскировочных работ позвонила Элеонора.

— Представляешь! Она завела кого-то! Мой в озверении, придушит ее, наверное. Ну, ты представляешь, какая она гадина!

Леня был не в настроении, его тошнило с похмелья, он даже отменил лекцию, поэтому ответил коротко:

— Сама такая! — и положил трубку.

А через минуту покрылся холодным потом: будет ли означать эта его похмельная фраза, фактически — оскорбление, окончание их с Элеонорой отношений?

Он ошибался — она, как обычно это делала, прискакала к нему минут через пятнадцать в коротких пижамных шортах и бигудях, очень милая. Это было совсем плохо, хуже не бывает. Это означало только то, что шансов на взаимность у него нет — перед настоящим мужчиной Элеонора не выступила бы такой неприбранной. В голове настойчиво затюкал вчерашний коньяк: нет надежды.

С полчасика Элеонора трещала, как мотоцикл, громко, назойливо.

— Нет, ну ты представляешь?! — В последний раз встряхнула бигудями и убежала.

Леня метнулся в туалет, его просто выворачивало. Потом он опохмелился капустным рассолом и кефиром. И к вечеру горизонт его жизни кое-как прояснился.

К шести небо заволочло тучей неестественного, медового цвета. Кралась непогода. Пока она кралась, нужно было успеть прогуляться, подышать свежим воздухом.

На детской площадке, усевшись на лавочку, уставившись на пустые карусели, он закурил. Ни одного малолетнего оглоуда на улице не было: уже сильно дуло и пробрасывал снег. Его самого мамаша всегда загоняла домой по такой погоде. А он, между прочим, любил ветер.

За спиной порывивали машины, устанавливаясь на парковку. Видимость словно затуманилась, покрылась серой пылью. Зато слышимое стало ясней. Леня вслушался в звуки: вот бродит голубь, ждет крошек, коготки его стучат по ледовой корочке, вот кудахчет проблемное авто. Даже приближение снега будто бы слышно, хлопья его падают, натыкаются друг на друга, создают трения, пощелкивания, трели, слова: «Мы сегодня все продумали и решили: будем этот дом

убирать... какая собственность? хлам сплошной!.. и так не город, а дыра... понял вас... все сделаем... понял... в лучшем виде будет... понял вас... памятник?.. ну, с этим мы как-нибудь решим... Не помешает? Нет, уверяю вас, он вам не помешает, мы все просчитали. Участка не хватает... Вам хватит? Но это впритык, а как же нормы, градостроительный кодекс?.. Нет-нет, надо убирать... Будем убирать». А потом, через минутку, снова, но уже по-другому, зубодробительным звуком, точно нож правили на точильном камне: «Рая, завтра с родственниками твоими организуй встречу. И жене моей позвони. Или нет, не звони, сам, потом...»

Леня больше не мог подслушивать и обернулся.

— Ленчик! Приветик! Ты прям как бука, тебя мама выгнала из дому? Шучу, шучу... — Элеонора, топтавшаяся возле мужчины, бросающего в телефон резкости, присеменила к скамейке. Мужчина, продолжая разговаривать, оценивающе глянул на растрепанного, несчастного Леню и отвернулся.

Элеонора была немножко испугана. Ее дружок, очевидно, не знает, что она подслала гонца к его жене, подумалось Лене. Поэтому, наверное, с ходу и защебетала шепотом, пытаясь приглушить страх. А может, в ней просто образовалось какое-то злое вдохновение, которое она выплескивала, — Леня не понял.

— Не знаю, что и будет. Он орет второй день, никак не остановится. И жена-то так себе, никакая не красавица, ну ты ее видел. Чего тогда орет? Секретарша у него, Раечка, дура, но молодец, в моем случае, — на хвосте ему принесла печальную, хи-хи, новость... Теперь бросит свою мартышку, как думаешь? Не знаю, правда, где жить будем. Наверное, выселит ее? Как думаешь? Правда, дети... Райка ее увидела на Ленина, у театра. Что уж сама-то у театра делала? Стоят, целуются в подворотне. Ну и доложила... А мужик этот — архитектор какой-то, в Москве работал. Богатый, наверное... Как думаешь, богатый? Какой-то хлам в центре реставрирует, для себя, вроде. Точно, наверное, богатый, деньги девать некуда. А жена, по ходу, еще не знает, что ее подловили. Он ей специально не звонил. Сейчас домой поедет. Ну там будет!

Леня не перебивал. Он внимательно, с каким-то нехорошим предчувствием, смотрел в спину говорящему. Леня разглядел, наконец, возлюбленного своей возлюбленной: холеный прыщ. Чиновник, похожий на бытовую технику. На черный принтер, что стоит в деканате. Он всегда зажевывает бумагу.

Ни дорогой костюм, ни славная машинка «ауди», из которой возлюбленный вытащил стильные пакеты, ни его мужественное лицо, испорченное сейчас яростным и надменным выражением, не вызвали горячего отклика в душе отвергнутого воздыхателя. Леня даже растерялся. Всегда ожидал, что соперник зажжет в нем яркие чувства, такие, что можно будет бросить вызов. Но сейчас все возможные чувства затмило одно — подозрение.

Леня был философом и верил в стечение обстоятельств. Вернувшись домой и куря в форточку одну сигарету за другой, он остаток вечера



сводил в голове информацию, сортировал и расставлял все по полочкам. Предположим, женщина, которую он обидел грубым вмешательством в ее семейную жизнь, нашла себе кого-то, предположим, архитектора, который восстанавливает дом, и, предположим, этого архитектора зовут Марат... Только предположим. Но город-то, в общем, не такой уж и небольшой. А если вспомнить Вольтера, то случайностей не существует. Но зачем тогда он, Леня, об этом узнал? На кой? Что это — испытание, наказание? Или награда, может быть, — чтобы он закрыл вопрос со своей совестью?

Леня опять мучился. Что за судьба?! Всё какие-то мучительные вопросы и неразрешимые обстоятельства! Он порывался набрать известный ему номер несчастной жены, просить прощения. Но когда чужие лезут не в свои дела, это тоже плохо. А вдруг что-то произойдет — например, убийство?..

Наконец, отупевший от нахлынувших вопросов, он уложил уставшее тело в неразобранную кровать. Оно, облегченно вздохнув, уснуло.

Окончание в следующем номере.



Дмитрий КАРШИН

НОЧНАЯ ТРАВА

* * *

Проснись, торопит река.
Последний осенний лист
Цепляется за рукав.
Пора уходить, проснись.

Над городом снег с дождем.
Нагие деревья спят.
У пристани лодка ждет
Последняя, ждет тебя.

И желтый горит фонарь,
Как будто зовет домой,
И вьется ночной туман
По стеблям травы речной,

А лодочник, старый друг,
Нальет вина на пятак.
Однажды, когда умру,
Все будет именно так.

* * *

Ночное небо накрывало дома,
Ночная птица прилетала из тьмы.
Откуда точно, и не знала сама,
И пела песни триста лет, до весны.

И мы старели и вздыхали во сне,
И наши дети возвращались домой,
И рисовали облака на стене,
Обычным мелом на стене голубой.



* * *

Там, где кончается старость
И начинается тень,
Лодка к причалу пристанет,
Скрипнет в кустах коростель,

В доме проснется собака,
Чашку столкнет со стола,
Дряхлая, в ветхой рубахе,
Встанет над крышами мгла.

Кто там поет за рекою,
Музыка сводит с ума...
Там, где кончается поле
И начинается тьма.

* * *

1.

Двум старикам, на прошлом берегу
Оставленным, привозит катер хлеб,
Табак и спички. С озера туман
Еще бесцветной улицей течет,
Еще пусты подъезды и мосты,
А у причала кашляет движок,
И в дом напротив приоткрыта дверь.

2.

Мы жили рядом, на краю земли,
Один и тот же ветер пел в окно,
Шумел травой, раскачивал фонарь
За облаком. И снились голоса
В прихожей, и бродили сквозняки
По темным коридорам первых нот,
Под сонный лепет часовых пружин.

3.

Теперь здесь пусто. Расскажи, когда
Потерян ключ, затоптаны цветы
И выбито стекло. Который год
Ты собираешь вещи, старый плед
Латаешь затупившейся иглой,
Качаешь на коленях и молчишь.
И все никак не едешь. Старики,
Конечно, умерли. Конечно, все прошло.

* * *

Безжизненная туша парохода
Лежит в песке, и объедает время
С его боков соленое железо.

Под тень его, закрывшую полсвета,
Стекаются со всей округи камни,
Огни дорог и голоса деревьев,

И то ли снятся, то ли тихо плачут,
Что прожит век, что стоптан подорожник,
Что край земли кончается с причалом,

И не успеть за отступившим морем.

* * *

Пересвистываясь на восьми языках,
В приоткрытую тень улетели птенцы
Свиристелей, и жаворонков, и синиц,

И качается ветка, и нет никого,
Только ветер вздыхает и мне говорит:
«Мы с тобой почирикаем позже, прощай!

Есть другие дела и иные слова,
И шиповника куст, зацепивший рукав,
И ночная трава, и камыш на реке,

И звезда над холмами на том берегу».

* * *

Данишлу Хармсу

На Пискаревском кладбище
В голодной тишине
Тень шутника и бабника
Стихи читает мне.

Чужие, непохожие
На прежнюю игру,
Они скрипят галошами
По мерзлому двору.





Они скребутся ветками,
Кричат в окно совой
И занавеской ветхою
Шуршат над головой.

А ты лежишь без имени
В дурацком колпаке
И пуговицу синюю
Качаешь в кулаке,

Как будто ей обещаны
И темное окно,
И чистый лист, и женщина,
Забытая давно,

И свет луны над городом,
И метеора путь...
И даже птица черная,
Слетевшая на грудь.

* * *

На позднюю осень похоже —
Дожди, ледяные деревья
И темные спины прохожих —
Последнее стихотворенье.

Не знаю, куда уезжаю,
В какие туманы и горы,
Но волчьими смотрят глазами
Дворы, перекрестки, заборы,

Ревнуя к луне и дороге,
И птице, притихшей во мраке...
Когда просыпаются строки
И грустно бредут по бумаге.

* * *

Пустые скорлупки имен
Рассыпаны всюду, где жили,
Где пели и видели сны,

Где снег на дороге лежал,
По снегу ходили сороки,
И дети смотрели в окно

На яблони, на облака,
Собаку, коляску, соседа
В бесцветном вчерашнем пальто...

Когда еще были полны
Пустые скорлупки имен.

Галке Медведевой

Галке Медведевой, в память
Прошлой холодной земли,
Тянутся льды под мостами
Белые, как корабли.

Мимо ограды, аптеки,
Липы у ваших ворот,
Катятся вешние реки,
Синие, как небосвод.

Тают последние тени,
Пахнет травой от земли.
Вот и кончается время,
Серое, как журавли.



Янга АКУЛОВА

БЕСПРИЗОРНЫЙ ДИНОЗАВР

Р а с с к а з

Выходишь из дому, думаешь — идешь на новую работу, и попадаешь... в склеп.

Благоустроенный, с отоплением и санузлом, паркетным полом — склеп. От живого мира его отгораживает стена понурых, побитых жизнью деревьев. Окна хоть и есть — толку. Что глаза слепого — свету не пробиться сквозь тонировку пылью.

Это кем же надо быть, чтобы приучить себя жить здесь! Помещение залито чем-то болезненным, вроде рассеянного склероза. Вместо солнца, среди бела дня, — грязно-желтый абажур, не как в старых фильмах, мягким светом на всю комнату, а несуразная кастрюля с облезлой бахромой, с одной, вместо трех, лампочкой. Жив ли еще тот, кто ввернул ее когда-то?

— ...в девяносто лет — сама понимаешь. Но память у него — куда там молодым! Позавидовать можно.

Девяносто... Это как вообще? Что это такое — *девяносто лет*? Эта его семидесятилетняя племянница, выходит, — молодка рядом с ним. Впрочем, деловитости у этой бабушки с седым хохолком полководца Суворова еще и поучиться. События дня у нее происходят не как им вздумается, а согласно четкому плану в ученической тетрадке, начертанному твердым квадратным почерком.

— Ну, главное, чтобы... Ты не испугаешься, когда он поползет?

— Поползет? Как маленький?!

— Когда в первый раз видишь — может и шок быть.

Шок?!

— А он хоть знает, куда ползти?

— Да все он знает. Если вдруг ночью, свет ему надо включать, и все.

Что она называет светом? Надо купить лампочек, вот что. И окна открыть. А то полный свету конец. Меблировочка тоже веселенькая: разной ширины и высоты гробы черной полировки, пыли на них — хоть ешь. Может, кто и ест из здешних — вот откуда эта затхлость. Лежалого времени тяжкий дух.

— Что не ходит — так даже лучше. От греха... Тот еще придурок. Из соцслужбы пришла тут к нему с опросом, симпатичная, лет

двадцати, так распушил перья, что павлин, на ухо мне — ты шла бы, мол, старая, а то ему с мыслями не собраться. Ну, я ему тоже сказала потом. Когда приходила сотрудница чуть моложе меня, с мыслями у него все было в порядке. Смутился? Как же! «А кому она такая-то нужна?» Ну не скотина? Горбатого могила исправит. Извращенец-перестарок.

Очертания вокзала с лавкой в холодном зале ожидания всплыли перед глазами... Как вариант.

— А он точно ходить не может?

Точно. Перелом шейки бедра.

— Бояться тебе нечего. Приносишь еду, оставляешь. Посуду забираешь потом, и все. Ну, утром еще вынести надо. По-большому он сам ползает — в туалет.

— Разговаривать с ним не надо?

— Да-он-же-не-слышит! Уж у меня какой голос, и то по сто раз орать должна.

Назвался груздем — полезай... в логово к дедушке-маньяку. По рассказам Галины Петровны, количество жен старика учету не поддавалось, только законных — три, с одной из которых, с учительницей, у них был сын. Так ведь, подлец и негодяй, не признал мальчишку своим. Вот и уехала куда-то на дикий Север бедняжка с ни в чем не повинным дитем. И этот их никогда и не вспоминал. Жил только для себя, эгоист. До сих пор водку жрет — чуть что, требует. Мог бы ходить, так и по бабам таскался бы, как пить дать.

Да, Федор Андрианович — одна ходячая обуза, ползучая точнее, и без намеков на основы человеческой морали.

Вот тебе и повезло! Поначалу все так и выглядело. На отчаянное объявление об услуге сиделки с проживанием откликнулись! А то и впрямь — хоть на вокзальной лавке ночуй, после того как тетушка, по доброте приютившая родственницу, внезапно обвинила в нечутком отношении к ее попугаю. «Уходи!» — сказала просто. А на носу сессия. А мама за тридцать земель.

— Сегодня ему уже ничего не надо, а завтра с утра приступишь.

— А сейчас... что он делает?

— Спит. Дрыхнет, как из пушки. Что ж еще! Ест да спит.

Невольно приходилось «косить» ухом в сторону соседней комнаты. Неужто правда за плотно закрытой дверью окопался безобразный сатир, обросший грехами, как шерстью? Странно, но ни шороха, ни вздоха, ни кхе-кхе какого-нибудь — ничего не доносилось. Жив ли старый греховодник?

Племянница, скороговоркой выпалив последние напутствия, глянула в свой план и, не скрывая радости избавления от родственничка, полетела на крыльях любви к своим розовощеким внучатам.

Утренний кофе в девять — пункт первый. Стараясь не вдыхать носом, я ступила в «дедскую».

Как ступила, так и остолбенела.



На узкой кровати под серыми простынями лежало нечто, в своей неподвижности прочно окоченелое: на подушке — огромное, опрокинутое навзничь лицо с обширным носом, поросшим сероватым ягелем, яма приоткрытого рта, провалы глазниц... Простыня на уровне груди — последняя надежда — и не думала колыхаться. Картина убийственной статики означала только одно: то, что лежало на кровати, не принадлежало миру, движущемуся куда-то и меняющемуся каждую минуту.

«Господи!» И вслед: «Вот везучая!» В первую очередь о себе, конечно. Чашка с кофе трусливо тренькнула о блюдце. Смотри не смотри — «ded is dead»! Вцепившись в чашку, чтобы не дребезжала, попятилась назад. И застыла вновь как вкопанная...

Неживое лицо неторопливо отверзло зеницы, направив взгляд в потолок. Прилежно считав с него нужные сведения, так же не спеша повернулось в мою сторону.

— Что, кофе, да?

«Кофе»?! «Да»?! Шок?! В скрипучести голоса было что-то птичье и... Кошеево. Только побасистее, чем в кино.

— Д-да, к-кофе.

Не поспоришь. Кофе. Ведь утро, девять.

Фигура зашевелилась — плавно, с осторожностью фарфоровой куклы приняла позу «сидя». Сгорбленный костлявый старец, наряженный в синий спортивный костюм и толстые вязаные носки, сидел на кровати и смотрел на меня мутно-голубыми, как из дешевенькой пластмассы, глазами. Ими что, можно видеть? Я превратилась в расплывчатую кляксу. Чтобы совсем не растечься, захотелось отвернуться и слинять побыстрее от этого... замшелого врубелевского Пана.

— А зовут-то вас как?

Так сразу не въедешь, что «это» может разговаривать.

— Э... Даша.

— Дашенька. Хорошо!

Нет, вот как: «Даш-шень-ко. Хорош-шьо!» Будто карамельку проглотил. С певучими безударными «о», как у вологодских людей, с нешипящими шипящими. При этом в лесное его дремучее лицо вдруг, перепутав что-то, заглянуло солнце: беззубый рот изобразил то, что у нас, недевяностолетних, принято называть улыбкой, — вполне грудничковое в своей умильности.

Он жив. И слышит меня нормально.

— Что? Обед, да?

— Да, обед.

Ведь два часа пополудни. Чтобы успеть сварганить его, пришлось удрать с последней пары.

— Есть такое дело! — С балаганной приподнятостью и той же невменяемо-кокетливой улыбочкой, что и утром. Лицо вроде теперь гляделось... прополотым — побрился?! Ну да, Петровна говорила — бретется сам.

Так и пошло. Утренний окоченелый профиль больше не пугал. Оставив еду, плотнее притворяла дверь, чтобы не слышать... Насыщение

происходило громко, с азартом, переходя, очевидно, в смакование: жидкое заглатывалось с шумом и присвистом, твердое — с урчащим кряхтением; по завершении трапезы — усердное, полное непосредственности рыгание.

А в остальном старец вел себя вполне смиренно, был тих, даже кроток, что ли. Единственным капризом был разве только чай. «На-ко вот, девко-матушко. Что лед, холодный». Притом что крутейшим кипятком всегда заваривался. На-ко вот тебе тогда, дедушка, прямо чайник — глуши свой кипяток.

Чудище безобразное, в общем, оказалось не опаснее личинки. Даже смешно было вспоминать о благоразумном решении не заходить к нему в юбку выше колен.

Последним парам в моем универе не повезло. Пришлось жертвовать ими ради обеда для чада. И не только ими. Как-то сразу времени не стало хватать — на прогулки, на общение с разным народом.

Упомянутое работодателем переползание старца через прихожую в ватерклозет не то чтобы шокировало, но выглядело все же диковато — если б хоть на лоне природы происходил этот возврат к предкам, а то среди мебели, по строго заданному курсу «кровать — клозет — кровать». Такая приверженность своему углу казалась необъяснимой. Почему бы ради разнообразия не подползти к окошку, что ли? Четвероногие с ничтожными головами, вроде кошек, и то интересуются, что за мир там, снаружи. В своем смиренном передвижении на четвереньках Федор Андрианович, немного похожий на Росинанта, лишившегося седока, казался недостижимым для какого-то там разнообразия.

— Даш-шенько! Зайдите-ко ко мне, — вдруг послышалось как-то в неурочный час — между кормлениями.

Вот оно! Не спится. Сейчас водки требовать станет.

— Я хотел вас просить... — начал он, конфузясь сверх меры. Знакомое уже грудничково-мечтательное выражение лица, да еще причмокивание губами фиолетового оттенка.

— Такое дело... Давно, не помню уж сколько, не видывал я и не едал, а уж больно люблю ее... Репку. Всегда любил, ребенком еще. Вот такого баловства захотелось, прямо беда. Можно ее купить-то нынче? — заискивающе произнес старик свою самую длинную речь.

— Репку?!

Ту самую, которая «Жучка — за внучку, внучка — за...». Так вот о чем думает дедка в пещерной тишине, когда не спит!

...Летним утром им с сестрой разрешили надергать в огороде, чего им хочется. Сестренка набрала моркови, а он — репки охапку: круглые янтарные плоды, остановиться нет мочи. Мать кричит: «Хватит, Федюшко, не съешь столько!» Сели все на нагретое солнцем деревянное крыльцо, мать окунает репку в котелок с водой, чистит. Сестренка хнычет: а морковку мою! Да ты попробуй репку, какая она сочная, сладенькая. Федюша протянул сестре одну, и та перестала плакать.

Репка! Днем с огнем... Это вам не бананы с апельсинами. Не, деда, подожди, когда-то она отыщется.



От ожидания, должно быть, подопечный приуныл. Частенько из-за стены доносилось: «О-хо-хо-о-о», с последним «о», переходящим в полную безысходность. Спросил вдруг, какое сегодня число. Я ответила.

— Так это, значит, дети-то в школу пошли...

— Да, пошли, — сказала я и пошла сама... побежала.

Через какие-то минуты — забитая людьми платформа, открытая беспощадно-режущим ветрам скоростей. Быстрее, быстрее на репетицию. Как назло, университетский хор был очень хорош, никак не хотелось его бросать. Успеть и туда, и сюда — огромный город весь был исчерчен линиями маршрутов из конца в конец. Теперь еще репка, где ее взять?

— Репку? А березовой каши он не хочет? — вразумила по телефону дедушкина племянница. — Ты с ним не очень-то. Чтоб на шею не садился.

Но это оказалось так приятно — идти по улице с букетом темно-зеленой резной ботвы. Нашлась-таки. Тот, кому предназначалась эта красота, однако, бурной радости не выказал — может, время ушло. А может, на самом деле он просто стеснялся спросить про водку?

— Я ведь юношей-то не пил. Это уж когда война — там ведь думашь: все равно убьют, так что? И пьешь.

Он — юноша?! Гонит! Не могло такого быть. А про войну мне никто не говорил. В окопах, значит. Может, и до сих пор он в них? И от какого же неприятеля хоронится? Один разве и остался — костлявая с косой. Но тут надо бы еще разобраться. Иногда так кажется, либо подход он к ней нашел, либо вовсе — положил: и на нее, и на ее косу. Ну не плющит его от думок про разные неприятности типа естественной кончины, и все тут! Появляется новый день — как колбаска, заранее порезанная кем-то на ломтики: кофе — обед — чай. Он их съедает-проживает. И будто у него таких колбасок впереди — немерено.

Так не из-за его ли векового спокойствия вообще... без запинки наступает новый день? Вот уж чего не опасаться рядом с ним, так того, что следующий день совершит прогул.

Только у некоторых эти дни складываются в жестокую зачетную неделю. Одна надежда на Люську. Побойчее меня будет, и комплекцией посolidнее: доходчиво разъяснит непонимающим, почему это мне позарез надо лезть вперед всех «сдаваться». Пришлось открыть ей — действительно, а почему? Да потому, что «девка-матушка» вовремя должна кормить своего питомца. Заодно и спросила подружку, не терпелось:

— Не воняет от меня?

— Чем?

— Ну затхлым... прошлым веком? Только, правда.

Подружка удивилась — вроде нет.

Слава богу! Не зря, значит, столько сил ушло на избавление от пластов пыли и хлама.

Сидела как-то, мусолила ненавистную историю до трех ночи. Напридумывают... А завтра придет очередной умник — извиняйте, предыдущий дядька все перепутал, забудьте, я знаю, как по правде было.

Уж пирамиды, казалось бы, у всех на виду, против них не попрешь. Так и с ними полный туман. Может, и не гробницы вовсе, а Диснейленд межгалактический для киберфараонов.

Усталая и недовольная, с загуставшей кашей в башке, завалилась спать.

...Жалобные стоны, натужное кряхтение, отчаянные вскрики. Истекающие потом рабы тянут пятитонный блок... Кожа на плечах, хоть и задубевшая на солнце, сдирается веревками в кровь, тощие босые ноги подкашиваются от напряжения, рвутся сухожилия... Резко открыла глаза, поминая недобрым словом учебник истории. Вновь стон, ледяющий кровь, страшнее прежнего. Одеядо на голову, как паранджу. Бесполезно. Отбросила его и села. Потому что стоны и причитания продолжали звучать не из Египта, а со стороны туалета. Что за!.. Случались у старца и раньше запоры, но тут не то...

Дверь в туалет была открыта: там на полу у подножия унитаза морской звездой распростерся Федор Андрианыч.

— Ой, да что же это? Вот беда-то, Дашенько. Встать-то я никак не могу.

То ли он не той стороной заполз. Конечности его переплелись, как у заправского йога, торча теперь в разные стороны. Как их распутать и собрать правильно в такой тесноте, я не представляла. Оставалось поработать подъемным краном. Вроде груз показался не таким уж тяжелым. Приподняла его, обхватив под мышками, — школьное пособие по анатомии, еще и сломанное.

— Вытаскивайте правую ногу!

— Ой-е-ей! Вот беда-то. Не могу я.

— Ну, давайте, тяните, тяните!..

«Тяните, Федя, тяните...» Держать на весу хоть и скелет, но больше меня ростом и одновременно тащить его за ногу было невозможно. Хорошо, что никто не снимал это на видео. Барахтанье затянулось и казалось тупиковым. «Беда-то, беда» прозвучало раз сто, но не помогало. Ценой невероятных усилий — безотказного раба на строительстве пирамид — объект был распутан, а после еще и сопровожден до кровати, так как сильно ослаб.

После часа сна — на зачет. Сдала как-то: про Диснейленд — ни гу-гу.

Ближе к вечеру, «дома» уже, я во второй раз услышала:

— Дашенько! Зайдите-ко ко мне.

Церемония усаживания на табурет — с необычной важностью. И сам старик сел на редкость прямо в своем спортивном костюме, спустив вязанные ступни на пол. Чуть замялся, собираясь с мыслями.

«Ну теперь-то — водочки?»

Он же, потупясь, смотрел на свои руки, вроде что-то держа в одной из них.

— Я, Дашенько, за вчерашнее, страшное такое, что ночью-то стряслось... Хочу вам...

Он разжал ладонь и с подчеркнутой решимостью протянул мне то, что у него там было. Мужские часы на простом ремешке.





— Это мне к юбилею... тогда пожаловали, да ведь я все равно теперь не вижу. У меня больше ничего нет такого... Возьмите.

«Какие часы? Зачем? Он что?» — когда они уже были в моей руке. Вот те на! Ползучий Кощеюшко, всецело погруженный в процесс поглощения и отправления, представлял меня к награде! Вручал, может, самое дорогое, что у него есть. Никаких наград я сроду не получала.

— Вам же их подарили! Это как-то...

— Пусть будут у вас.

Удивил. Вот так часы: громадные, круглые, железные, и идут! Несмотря на возраст.

— Что?! Часы? Быть не может! Никогда! Этот человек в жизни своей ничего никому не подарил, слышишь, — ни сломанной булавки, ни открытки копеечной.

Ну не чудеса? Семьдесят лет, выходит, не срок, чтобы понять хоть что-нибудь даже про родного дядю.

На следующий день Галина Петровна экстренно примчалась с инспекцией, не иначе, поломав свой тетрадный план.

Обрушив на неходячего: «Ну как ты тут?» — гласом полководца, хозяйка старца приступила к допросу подозреваемого. В чем? В простых человеческих чувствах, таких, как благодарность? В общем, я пошла за хлебом, кончился.

А когда вернулась...

— Знаешь, что он ответил, когда я спросила, есть ли у него жалобы? — Седой хохолок подпрыгивал от негодования.

— Что?

— Глянул эдак свысока и говорит с расстановочкой: «А кому это тут жаловаться-то?» — и ухмыляется нагло — дескать, ты кто такая вообще? Еще и ухмыляться научился! Что ты с ним сделала? От него и в молодости-то улыбки дождаться было...

Я типа смутилась. Что ей ответишь? Ну, носила я еду и выносила горшок.

И мы снова остались вдвоем с мятежным, по моей вине, старцем.

Как-то я все-таки спросила у племянницы по телефону про войну, про его, Федора Андрияныча, войну.

— Да его там и не царапнуло ни разу. Заговоренный. На ночевку как-то улегся в углу в избе. Потом по нужде сходил, вернулся, неохота стало пробираться через всех, прилег у входа. И тут — как даст! В угол, прямо в тот, откуда он ушел пять минут назад, — снаряд. Или вот...

Невероятных историй выживания старца Федора хватило бы на десятерых. И чтобы в благодарность он стал... последней скотиной и подлецом?! Вот так шарада!

Не может быть, чтобы не вспоминал он свою учительницу.

...Солнечная волна волос (любил их, мочи нет, «с тобой и света зажигать не надо»), сияющая кожа, линии (что тебе репка). Что поделишь! Работа была, одни разъезды — геодезистом. Нечистый, видно,

толкал — нагрязнуть домой неурочно. И было бы что, а то ведь комар носу не подточит. А все ж грызло. Был там учительишко рисования, Шишкин, с елки долбанутый! Лысый черт, а туда же. Все норовил портретик моей... Один раз ему его собственный портрет подправил, так мало. Нарисовал все ж! Да еще на выставку! По какому праву? Не жить тебе! Ружьишко уж сдернул с гвоздя... Побелела как мел, хватъ ножницами по волосам, под корень. Швырнула в меня косой, что змеей, — прямо в грудь, схватил, не соображая, да так и сел на койку с этой змеей прижатой. Руки-ноги не шевелятся... Подхватила мальчонку... Часу не собиралась. Была — и нет...

То-то и оно. Есть она. Дня нет, чтобы с ним не была. И все такая же... Никакие полвека не коснулись ее лица и волос. И мальчишка их только в школу пошел...

Люська давно рвалась, приперлась-таки в гости — поглазеть на чудище. Под «Каберне», сидя на кухне, обсуждали жизненное: вроде полно парней вокруг, в университете, в клубах там, а в итоге — никого. Или хронически инфантильные, или — откровенные «папики». Особенно тошно, когда настоящего отца нет.

— Ну ты хороша, конечно. Чуть что, срываешься на самом интересном месте, мчишься к своему этому... Он тебе кто, этот динозавр?

— Какая разница — кто. Подкидыш, беспризорный динозавр.

— А тебе не страшно? Ну, он же не может быть нормальным: без радио, без телефона, без ничего! Чем он лучше трупа? «Найдите десять отличий».

— Ну да, у нас и радио, и кино, и книжки, и хрен знает еще чего. А чувствуешь иногда — вечером, когда спать ложишься, вся эта беготня дневная... как протезы, чтобы прикрыть то, чего нет.

— А чего нет-то?

— Главного нет. Все не главное. Я вот поклялась тогда, после последнего своего... никогда больше не влюбляться. И что? Да от такой пустоты можно сдохнуть. А у старика — одних воспоминаний тонны. Плюс ожидание. Ждет, когда я приду, и еще... разные интересные дела у него. Созерцание репки.

— Чего?!

— Того. Не стал насыщать ею утробу, положил на блюдечко. Наверно, напоминает она ему кого-то. Чего ты ржешь? Не все же японцам с их вишнями... И кто сказал, что это менее важное занятие, чем, ну там, не знаю, продавать шашлык или недвижимость или...

— Ну все! Привет. Знаешь, я тебе соврала тогда — воняет от тебя... плесенью всю дорогу. Одичала вконец. В общагу, срочно! К людям.

— Да я тебе пытаюсь сказать, что... необязательно садиться в поезд, чтобы отправиться в путь.

Эх, подружка. Говоришь ей: ничего мы просто не знаем — ничегошеньки. Хихикаем над ними, над стариками, как над зверушками какими, как будто мы чем-то лучше. Научился человек приживлять



отводки из прошлого в настоящем и живет себе в этом саду, не тужит. И границ особых не проводит: прошлое, не прошлое... Кому какое дело?

...Как же быстро она провернула это, почти невозможное, с общагой. Напористая.

Подруга осталась ждать внизу, когда я спущусь с вещами. Иду за ними, последний раз открываю дверь своим ключом... Что же это? Не туда попала? Где это видано, чтобы в склепах у окошек кто-то рассиживал? Тут что ему, вагон?

— Что, чай, да? — Сидящий осторожно развернулся в мою сторону. Чай, конечно, а что же еще? Ведь вечер, пять часов.

Только когда принесла чашку, заметила — что-то мнет он в руках. Конверт, никак.

— Вот гляньте-ко, отправлено тут — какой город?

Я сказала. Северный город один. Желтизна конверта тянула лет на сорок.

— А вы, Дашенько, вы бы мне написали на чистом-то конверте этот адрес.

Напишем, чего там. Готово — конверт с адресом есть. А что за конверт без письма? Быть и ему.

...Люська распахнула дверь.

— Ну чего ты тут застряла?

Я подняла голову от листа бумаги.

— Письмо пишем.

Подруга одарила старца лютым взглядом. А потом и меня. Обвинила в отсутствии мозгов и совести и с чувством захлопнула за собой дверь.

Не объяснишь ей, что написать письмо любимому человеку, которого давно не видел, не такая уж простая вещь. Хватит ли дня? И кипятку потребуется немало. И чтобы кипяток так кипяток — пассажир нынче пошел, не проведешь.



Анна АРКАНИНА

«КОНЕЧНО ЖЕ, И СИНИЧКИ»

Калининград

Каждое слово хочет, чтобы его сказали,
Каждое сердце — чтобы его нашли...

Сергей Шестаков

Радости — аист в небе, и крыши, крыши,
желтое поле рапса, сколько хватает глаз.
Это не ветер — нежность тебя колышет.
Это любовь беспечно — вновь — выбирает нас.

Выдохнешь слово — и в слове каштан начнется,
вырастет звуком — жилистым и свечным.
Это надежда всегда до конца остается,
будто кино, досматривать наши сны.

Май нашептал нам бабочек и веснушек,
сонной сирени тихие острова.
Это Преголя — лучшая из речушек...
Это поэзия, черт побери, права.

* * *

если слышишь не спи если можешь лови
луч последний последнего века
как натянуты струны осенней любви
через комнату и человека

это неба покой это небо с тобой
от порога и дальше до края
и не слезы не верь это дождик грибной
пробежал рукавом задевая

что нам осень поддельное золото дней
грусть конечна рябина бессмертна
что горит не сгорая сильней и сильней
ну и хватит не будем об этом

если куришь кури это наши огни
над вселенной мелькают неспешно
над вселенной в которой мы только одни —
и звенящая нежность конечно

* * *

Я птаха в кармашке нагрудном,
беспечный глазастый птенец.
Я лес толстокожий безлюдный.
Я дерево, наконец.
Я тихая буква простая
с неспящей большой головой,
далекая дикая стая,
игривый щенок голубой.
Я тот, кто у зеркала спросит,
и зеркало скажет: постой,
не ты ли тот воздух меж сосен,
шумящий над горькой водой?

и синички

не баюкать зиму уйти проститься
потому что время и птицы птицы
говорить со снегом на белом точном
языке молочном

подсмотреть сквозь рыжую челку что там
из крученых нитей бессмертья соткан
стол под снегом на длинных упрямых ножках
и скамейка в крошках

так подсядет ангел к тебе с вопросом
а ты сыплешь семечки жито просо
жизнь лишь воздух взятый в ветвей кавычки

и синички?
конечно же, и синички

Антонина ГИЛЕВА

ОСКОЛКИ СТУДЕНОГО ЛЕТА

Киноповесть

Глава 1

2003 год, Магаданская область

В конце сентября золотая осень превращается в ржавую хмарь. Суровыми струями ледяного дождя она убивает последние воспоминания о теплом лете, обнажает шершавые лиственницы, заставляет их сбрасывать веселые оранжевые иголки. Трава, кусты, цветы — все жухнет и прибивается к земле перед долгой зимой. Что не заставит наклониться дождь — за ночь измочалят заморозки. Но если не идти, наклонив голову, видя только непролазную грязь под ногами и кочки, если забраться куда-нибудь повыше на перевал и открыть пошире глаза, то даже в это время можно задохнуться от восторга при взгляде на просторы северо-востока России.

Летом среди сопок с белыми от снега верхушками, широких голубых рек, полей с темно-розовым иван-чаем и рыжих лиственниц выделяется черным пепелищем старый горняцкий поселок Веселка. В нем нет высоких многоэтажек, ярких детских площадок, футбольных полей с искусственным зеленым газоном. Десяток двухэтажных домов с разбитыми окнами, частные заброшенные подворья с теплицами без стекол и развалившимися деревянными сараями. Всюду следы разрухи, двери выломаны или стоят нараспашку. Как будто хозяева уезжали в спешке, снаружи в грязи брошены старые книги, детские игрушки, ржавые велосипеды без колес...

По бывшей центральной улице по-гусарски — на высокой скорости, с включенными сиренами и мигалками — проносятся черный внедорожник и милицейский «уазик». Они мчат к единственному обитаемому дому на окраине Веселки, с целым, недавно окрашенным в жизнерадостный ярко-зеленый цвет забором.

Машины тормозят у ворот «фазенды». В начале девяностых по телевидению беспрестанно крутили латиноамериканские сериалы, и местные жители иронично окрестили свои усадьбы на бразильский манер. Только некому объяснить это непрошеным гостям: теперь



единственный житель Веселки — пенсионер Михалыч. А он не любитель разговоров.

Об этом думает глава района, тридцатипятилетний Иван Григорьевич Сеницын, злой как черт из-за того, что к этому упрямому не-переселенцу приходится ехать лично. Обращения в МВД не дают ничего: «письмо зарегистрировали, письмо передали исполнителям, ищем возможности, данные мероприятия не входят в круг наших полномочий».

Чиновник натурально психанул с утра, сам принес доблестным милиционерам очередную бумагу с просьбой о содействии и час сопровождал ее вместе с секретаршей по разным отделам. Пока не выскочил из своего кабинета толстомордый начальник районной милиции, тоже на взводе, и они не полаялись всласть о полномочиях органов местного самоуправления и перспективах финансирования милиции из районного бюджета в следующем году. А потом не пожаловались друг другу на дефицит кадров, нехватку времени и тупые инструкции «сверху». Вот только после этого Сеницыну выдали двоих участковых на служебной машине, которым велели ехать за главой и всячески содействовать.

Сеницын — высокий и внушительный, как гора, в лице ни одной мягкой черточки, будто оно из камня высечено, в итальянском костюме и черных лаковых туфлях, ни шапки, ни куртки, ни шарфа, ни зонта — плюх! — наступает прямо в лужу, по щиколотку, но даже скорости не сбавляет, идет что крейсер в море, как будто не в захолустье, а на прием к губернатору приехал.

С заднего пассажирского сиденья аккуратненько высовывается, а потом вылезает его референт Ленечка — на десять лет младше и килограммов на тридцать легче шефа, высокий и долговязый, похожий на цаплю. Он осматривается, а потом прыжочками и шажочками перемещается вслед за шефом. Ленечка-то упакован: резиновые сапоги, длинный кожаный плащ, зонт-трость. В руках у него увесистая папка с бумагами, обычного формата А4.

Заспанный водитель средних лет остается за рулем, открывает окно и наблюдает, как из «уазика» высыпают стражи порядка. Участковые выглядят как отец с сыном — оба русые, сероглазые, носы картошкой, одному двадцать пять, второму сорок, у одного уже намечаются залысины, а второй бреется наголо под «крепкого орешка».

Во дворе беснуется собака — учуяла незваных гостей. Ее прерывистый лай перекрывается матом «делегации». Милиционеры понимают, к кому их привезли, и нецензурно выражают свои мысли по этому поводу.

— Предупреждать надо! — нервничает старший участковый.

— Тю, — тянет его младший товарищ и продолжает с приметным «хэканьем»: — Пенсионэра испугался? Ему по документам уже семисят четыре ходика.

— Вот-вот! Пора на покой. В дом престарелых. — Глава района пока не понимает, в чем дело, но на всякий случай пресекает лишние разговоры. — Ну, вперед!

Референт деликатно стучит в калитку возле ворот. В ней проделана широкая щель для почты.

— Александр Михайлович Воскресенский! — Ленечка откашливается. — Мы привезли постановление!

Синицын подходит к калитке и требовательно стучит по ней кулаком.

— Александр Михайлович! Поселок расселен! — Иван Григорьевич кричит. — И вам пора на выход с вещами!

В щели для писем появляется ствол винтовки.

Референт и чиновник, как зайцы, прыгают в разные стороны.

— Мне и тут хорошо, — из-за забора говорит Михалыч.

— Ну, знаете ли! Это нападение на представителей власти при исполнении! — обрадованно восклицает Иван Григорьевич и командует людям в форме: — Берите его!

Ствол поворачивается в сторону главы района. Чиновник в два прыжка оказывается за спиной у милиционеров. Те синхронно разворачиваются, обходят Синицына и идут к своей машине.

— Я в прошлом году его сейф проверял. Новый ствол взял, американский, — спокойно, как будто о погоде, говорит старший участковый.

— Незаконное хранение оружия! — визжит им вслед чиновник.

— И три сотни патронов перед сезоном было. Бумаги в порядке, — так же буднично дополняет старший.

— Это тот, который каждую зиму по десять волчков сдает? — радостно уточняет младший милиционер.

Его коллега кивает. Они садятся в «уазик».

— Мы не нанимались за главу района вписываться. Пусть сам тут расхлебывает, — вполголоса говорит младший участковый напарнику. И уже громче — чиновнику: — Щасливо оставаться, Иван Хрихорьич!

— Нарушений закона не обнаружено. Всего доброго! — Старший захлопывает дверь и резко дает по газам.

Глава района с каменным лицом смотрит, как «уазик» уезжает.

Внезапно лай стихает. Синицын сглатывает слюну и поворачивается в сторону калитки.

Она открыта. В проеме с винчестером в руке стоит Александр Михайлович Воскресенский — косматый, седой, с усами и широкой бородой, в потертом камуфляже и кирзачах. Спина прямая, взгляд острый и ясный, любому молодому соколу на зависть.

Референт застыл перед Михалычем, на вытянутых руках держа перед собой распечатанные постановления о расселении, а сам при этом отвернулся и зажмурился.

— Вон отсюда, — тихо говорит пенсионер.

Ленечке повторять дважды не надо, он уже семенит к джипу.

— Давайте поговорим, — Иван Григорьевич смотрит на единственного жителя Веселки, который напрочь срывает программу расселения и консервации неперспективного поселка. Смотрит и звереет. — Ты ж тут сдохнешь зимой, бирюк! Ни отопления, ни врачей, ни магазинов...



— Предупредительного не будет. — Михалыч уже не наводит на гостя винтовку, но сомнений нет — сделает это быстрее любого ковбоя из вестернов.

Черный джип несется в обратном направлении, из Веселки к районному центру. Ленечка сжался на заднем сиденье, очень внимательно смотрит в окно и, кажется, даже не дышит. Водитель тоже, от греха подалее, лишний раз в сторону начальника не глядит.

— Он у меня запоет. Он у меня завоюет! — разорвется Иван Григорьевич. — Он у меня тут даже не от морозов — от тоски один загнется!

В это же время Михалыч с винчестером за спиной заходит на старое заброшенное кладбище в километре от Веселки. С ним охотничья лайка — пес Белый.

Вокруг на облезлых памятниках и покосившихся крестах черно-белые фотографии или просто имена, отчества, фамилии. Даты смерти почти на всех — «лихие девяностые»: 1991, 1992, 1993, 1994, 1995...

Старик уверенно проходит по еле видной тропинке к двум могилам. Они в отличие от остальных ухожены — покрашена оградка, земля внутри нее засыпана крошкой белого мрамора. Скамейка и маленький столик явно сколочены недавно. Перед тем как сесть, Михалыч сбрасывает с них листву и хвою. На одном памятнике портрет пожилой женщины со старомодной, пышно взбитой прической и табличка: «Агрипина Львовна Воскресенская. 1937—1993». На втором как будто фото молодого Михалыча: и нос, и глаза, и скулы те же — и табличка: «Михаил Александрович Воскресенский, 1962—2003». Ни эпитафий, ни нежных слов, ни иных надписей. Старик до сих пор не знает, как сказать в нескольких строчках о любимых жене и сыне.

Лайка подбегает к пенсионеру, кладет голову ему на колени. Михалыч гладит собаку и тихонько напевает о том, что он едет, едет за туманом, за мечтами и за запахом тайги...

Глава 2

В районном центре — поселке Радужном — под признания советского барда о том, что он едет за туманом, за туманом и с собою ему не справиться никак, еле-еле открывает глаза двадцатилетняя Мария. Это худая, даже истощенная девушка с синяком под глазом и разбитыми костяшками пальцев на обеих руках. Она на четверть эвенка, и это угадывается по чуть раскосым темным глазам и монголоидному лицу. У нее черные с синеватым отливом жесткие волосы, небрежно обрезанные по подбородок. Видимо, сама ножницами обкорнала, когда надоело с длинными ходить. Растрепанная, голая, опухшая, помятая, Маша с закрытыми глазами поднимается на постели, хватая со стула мужскую рубашку и натягивает ее на себя.





В комнате грязь, беспорядок, следы попойки. Встав, Маша спросонья чуть не опрокидывает стоящую на полу полупустую бутылку с пивом, а потом едва не наступает в тарелку с остатками еды и окурками. Девушка трет виски и, пошатываясь, идет к двери. На секунду оборачивается — в постели спит какой-то толстый голый мужчина. Мария морщится и выходит в коридор.

Отсюда видно гостиную — комнату, скудно обставленную старой мебелью. В одном углу огромный японский телевизор. Цвета и громкость выкручены на максимум, на экране пляшут герои мультфильма. На диване лежит обрюзгший и небритый пятидесятилетний хозяин квартиры, русский. Он решает сканворд и курит. На полу батарея пустых бутылок из-под водки и пива, блюдец с семечками, всюду рассыпана шелуха. На подоконнике «проветриваются» мужская обувь и грязные носки.

Здесь же, в гостиной, сидят на горшках двухлетний мальчик и девочка года на полтора его старше. Они эвены. Из кухни вырывает с парой чашек чая и блюдцем печенья их мать Аня, Машина подруга. Она в шелковом халате и пушистых тапках с помпонами. Кивает Маше и спрашивает:

— Косой уже проснулся?

Маша не отвечает. Она не помнит прошлую ночь и даже не хочет вспоминать. Ей бы поесть и в душ.

— Косой, Косой! Вчера в три ночи приперся, ты уже никакая была. — Анька хитро подмигивает. — Он, конечно, старый, но заколачивает нормас. Ты смотри, с дальнобоями прикольно, они постоянно по рейсам.

Дети в гостиной начинают драться и орать. Маша морщится. Забирает у подруги одну кружку с чаем.

— Заткнитесь! — прикрикивает на малышей мужик с дивана.

Анька отдает Маше вторую кружку и блюдец с печеньем, идет к малышам.

— Сам заткнись, это не твои дети! — Она растаскивает сына и дочь. — Раскомандовался он тут...

Внезапно с треском открывается входная дверь. В жилище вваливаются трое: участковый, женщина-инспектор по делам несовершеннолетних и сотрудница опеки. Обеим женщинам уже давно за сорок, милиционер раза в два их младше, но не тушуетя, вызывает огонь на себя.

— Добрый денечек! — начинает он. — Жалоба от соседей поступила. Шумели ночью вчера, да?

— Дрались, говорят, даже. — Инспекторша проходит в гостиную.

Она нарочито игнорирует взрослых, присаживается возле детей и рассматривает их грязные и заплаканные мордашки. Сотрудница опеки присоединяется к ней, проверяет у малышей руки с грязными ногтями, копается в волосах, потом брезгливо двумя пальцами оттягивает и отпускает давно не стиранную футболку на мальчике. Кивает инспектору:

— Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Оформляем.



Обе выпрямляются и смотрят на батарею пустых бутылок у дивана. Дети опять начинают плакать.

— Идите сюда, маленькие! — приторно сюсюкает инспектор и смотрит на Аню. — Мы вас к старшим братикам отвезем. Познакомитесь наконец-то.

Маша безразлично наблюдает, как ее подруга орет на служащих государственных органов. Как будто в замедленной съемке, Анька бросается на женщин, но их загораживает участковый. Маша все это время остается в коридоре — стоя пьет чай и грызет печенье. Хозяин квартиры тоже не вмешивается: лежит на диване, поднимает повыше газету со сканвордом и делает вид, что ничего не видит и не слышит.

Инспектор и сотрудница опеки уносят детей в подъезд. Участковый прикрывает их отступление, отмахивается от Аньки и тоже уходит. Реальность возвращается к обычной скорости.

— Да сделай что-нибудь! — кричит любовнику Аня.

— Это же не мои дети, — фыркает из-за газеты мужик.

Аня мечется между гостиной и коридором. Останавливается.

— Я в прокуратуру напишу. Заберу! — кипит она. — Прямо завтра и заберу!

— Как тебя из детдома забрали. — Маша доедает печенье.

— И тебя. — Горе-мать смотрит на нее.

— Да где мой чай? — бурчит мужчина с дивана.

Анька идет в гостиную, вырывает у него из рук газету и хлещет его ею по лицу. Он почти не сопротивляется: знает, что сожительница проорется и успокоится.

Из спальни выглядывает полуголый Косой, толстый, с лицом алкоголика — глаз почти не видно под набрякшими веками, нос красный.

— Ты... это... как тебя? — Он чешет пузо и смотрит на Машу, пытаясь вспомнить ее имя. — Сгоняй за пивом, а?

Вскоре Маша бредет по поселку с пакетом, в нем звякают пивные бутылки. Девушке совершенно некуда идти, кроме временного пристанища у Аньки, но после визита государственных служащих эта квартира ей становится противна. Слишком много воспоминаний разбередила эта сцена. Например, как они с Анютой познакомились почти десять лет назад в казенном доме.

Все дети мечтали, что их усыновят иностранцы — те тогда толпами повалили за белокуроыми и голубоглазыми малышами. Огромным спросом пользовались младенцы и детишки до трех лет. Забирали всех: и хромых, и косых, и лежачих — с любыми диагнозами. Машка была абсолютно здорова, но по документам у нее были родители, да и не вписывалась она в идеальную модель усыновления из-за национальности и возраста. И сильно радовалась, что «мастью не вышла»: все ждала, что мама или папа появятся. Столько желающих прилетали черт знает откуда на край света, чтобы чужих сыновей и дочерей приглубить. Свои-то дети тем более ценны? Или нет? Она так и не разобралась с этим парадоксом...

Маша уже сделала пару кругов вокруг дома и нацеливается на третий, когда ее перехватывает почтальон.

— Воскресенская! — Грузная пятидесятилетняя женщина на ходу устало роется в сумке, ища что-то среди газет, писем и телеграмм.

Находит и отдает конверт. Мария Михайловна Воскресенская при ней достает официальный бланк и читает. Ничего не понимает и пытается вслушаться в то, что торопливо говорит почтальон:

— Я замучилась за тобой гоняться! Заказное, месяц уже лежит. В общаге тебя нет, у друзей нет... Еще немного — и обратно бы отправили. Распишись в получении.

Женщина уходит. Маша перечитывает и перечитывает послание, но видит лишь отдельные слова: «уведомление», «администрация», «наследство».

За несколько тысяч километров от нее, в клубе на окраине Новосибирска, тридцатичетырехлетний Валерий Михайлович Воскресенский, родной внук Михалыча из Веселки, сидит на барном стуле перед игровым автоматом. В одной руке стакан с виски, в другой — сигарета, к ремню пристегнут пейджер. Валерий не один — в зале много зомби-игроманов, которые приклеились к «одноруким бандитам» и, как загипнотизированные, скармливают им купюры. Громко играет музыка. Все пьют, все курят. Все смотрят только на экраны перед собой.

Валера ставит стакан на подставку и с азартом бьет по клавишам. Сумма на табло уменьшается — пять тысяч рублей, потом четыре с половиной тысячи, потом три с половиной. Воскресенский-младший злится и смотрит на экран, где должен, должен появиться выигрыш... Но там лишь два нуля, точка и еще пара нулей.

Крутятся слоты.

Писк. Это звук о новом сообщении на пейджере: «Где деньги? Верни долг. Кореш».

— Ну хоть бы один спросил, как у меня здоровье, покушал ли я, как спалось! — кривит губы Валера.

Наконец-то выпадает выигрыш. Одинаковые картинки на экране автомата перечеркивает красная линия. И еще раз, и еще. Уже в два раза больше, чем Валера скормил шайтан-машине. Он поглаживает клавиши на удачу и шепчет:

— Спасибо.

За спиной у Валеры возникает менеджер, не старше клиента. Вертячий, чернявый, в спортивном костюме, с поясной сумкой для денег и связкой ключей от аппаратов.

— Поперло наконец! Может, снимем уже? — как будто мимоходом интересуется он. — Ты тут не только мне должен.

Валера отрицательно качает головой и продолжает жать на клавишу для ставок. Менеджер отходит, зло смотрит на должника. Тут каждый первый такой, он знает. Жаль, нельзя их оттаскивать от автоматов «на пике»! Не успокоятся ведь, пока все не просадят.





Валера резко мрачнеет. Он снова проигрывает, опять и опять, виртуальные красные линии не сходятся, изображения не выстраиваются ни в ровный ряд, ни в любую другую комбинацию, после которой появляется уведомление о прибавлении на счете. Надо было выбрать сегодня другой автомат, этот, наверно, кто-то уже «вычистил» в обед. Валера, как и все игроки, верит в удачу, а еще пытается вычислить идеальную стратегию добывания денег из воздуха. Если кто-то проигрался, автомат выдаст следующему игроку бонус... Если кто-то выиграл джек-пот, автомат будет обирать следующих желающих быстро обогатиться... Ни одна схема, правда, так и не сработала. Валера делает последнюю ставку — и уходит в ноль.

Он искоса смотрит на входную дверь. Возле нее дежурят вышибалы уголовной наружности, оба — «шкафы» два на два, сплошные мышцы. У одного переломан нос — боксер. У второго — уши: значит, борец. Про себя Валера их называет Бычара и Лосяра. А менеджера зовет Хорьком. Денег-то Хорек на прошлой неделе займа дал, но под такие проценты!

Валера залпом допивает виски. За выпивку он тоже до сих пор не расплатился, но официантка в баре не смотрит в его сторону, одной проблемой меньше. Он набирает побольше воздуха в грудь, встает и идет к двери, прихватив с собой стакан.

— Не так быстро! — Бычара преграждает выход.

— Да я за бабками сметаюсь, — улыбается Валера.

Но Лосяра уже стоит за спиной и кладет руку на плечо должника. Валера, не оборачиваясь, неожиданно бьет головой назад Лосяре в лицо, а вот от Бычары увернуться не успевает. Бычара бьет ему в глаз, Валера ухитряется разбить стакан о его голову, вырывается и, пригнувшись и стиснув зубы, рвет наружу.

На улице он бежит что есть сил, потом оглядывается, резко забирает вправо и падает на асфальт за чью-то машину. Спустя минуту мимо него проносятся вышибалы.

— Воскресенский! Мы все равно тебя найдем! Никуда не денешься! — разоряется вдалеке менеджер.

Валера поднимается и мчится дальше, все больше удаляясь от клуба.

Писк. Писк. Писк. Пейджер разрывается от сообщений. Валера снимает его с ремня и бросает на тротуар.

На следующий день он сидит в зале ожидания в аэропорту Толмачево и старается не задремать. То и дело вскидывается, проверяет документы. Вещей у него с собой, можно сказать, и нет. Домой, к тетке, не возвращался, заскочил на ночь к бывшей любовнице. Года полтора назад он провел у нее почти месяц и шмотки потом не забирал. Как знал, что пригодятся. Почему она их не выкинула, так и не понял. Ну, он в женщинах не разбирается и чужие мысли читать не берется — тогда ему своих не приписывают. Самое главное — паспорт, посадочный талон и конверт с извещением. Точь-в-точь такой же, какой прислали Маше.

— Начинается посадка на рейс Новосибирск — Магадан. Внимание, начинается посадка... — долдонит механическим голосом дежурный.

Валера встает и, сам того не замечая, мурлычет под нос, казалось бы, давно забытую старую песню про горы, солнце, пихты и дожди. Все эти «туманы и запахи тайги» он ненавидит с тех пор, как десять лет назад матушка резво собрала вещи и увезла его с Севера в Сибирь.

Глава 3

По дороге на Веселку ездят редко, грунтовка уже наполовину заросла травой. Водитель-бомбила уже не рад, что согласился на поездку, смотрит в оба, чтобы не угодить в яму. Застрянешь тут — обратно можно пешком возвращаться. Поглядывает на своих странных пассажиров. Парень русский, девка из коренных. У обоих на лицах по фингалу, багажа с собой почти нет.

— Да вы просто сладкая парочка «Твикс»! — Бомбила ухмыляется и подмигивает молодым людям.

Маша сидит сразу за ним, так что шофер не в курсе, что на пальцах левой ладони она качает складной нож. А вот Валера это видит и закатывает глаза. Нашла, коза, кого бояться! Он с малолеткой по доброй воле в одной комнате не останется.

— Это не то, что вы подумали, — кривит губы Валера.

— Я его первый раз на вокзале увидела, — фыркает Маша.

— Значит, судьба. — Водителю жутко любопытно, что эти двое забыли в такой глуши.

Парень точно не из Магадана, явно с материка прилетел в легкой кожаной куртке. А девушка одета как-то несуразно — так вообще сейчас молодежь наряжается: как модники в семидесятые, только трусы за километр видны. Но она-то местная, пуховик у нее зимний. И шапка с собой, и шарф, и перчатки. Правда, все разномастное, как будто у разных людей собирали, и заношенное, в пятнах, в дырках. Неаккуратная нынче молодежь. Не знает, что такое дефицит и как их родители за итальянские сапоги по две зарплаты спекулянтам отдавали.

— Удивительное дело. Все отсюда — вы туда! — продолжает бомбила. — Это хорошо, что вас двое. Одного я бы не повез. Да и так порожняком обратно неохота... А вы сразу назад? Я бы подождал. Скидос сделаю.

Отвечает только Маша.

— Я сама уеду.

— На чем? На северных оленях? Ты подумай хорошенько. Тут пешком часов шесть до райцентра шкандыбать, — напоминает водитель.

«Жигули» въезжают на сопку. Внизу километрах в пяти — разоренная Веселка. Но издали масштабов разрушения не видно. Машина останавливается.

— Все, молодежь. Дальше сами, — командует бомбила. — Я тут в горку потом не поднимусь.

— Обещали же до поселка! — Маше не хочется выходить из машины.





— Вон он, рукой подать. Давайте-давайте! — Бомбила торопит клиентов, ему не хочется ехать назад по темноте.

— Сервис на грани фантастики, — выдыхает Валера.

Синхронно прячут в карманы Валера — карты, Маша — нож. Выходят из машины. Вслед за ними вылезает и бомбила — открыть багажник. Выгружает две спортивные сумки, отдает хозяевам. С серьезным лицом советует:

— В тайгу не сворачивайте. Если заблудитесь — орите громче.

— Спасут? — Валера чувствует какой-то подвох.

— Не дашь умереть с голоду медведю из Красной книги. — Бомбила хитро улыбается.

Маша смеется, берет сумку и отправляется вниз по дороге.

— Шучу. Медведей тут как грязи. Нет их в Красной книге, — гогочет бомбила и возвращается в машину.

Валера криво улыбается и спешит вслед за попутчицей.

В поселке Маша видит разбитые окна, мусор и замедляет шаг. Валера наконец догоняет ее и тоже открывает рот от удивления.

— Здравствуй, родина моя! — Он осматривается и присвистывает.

Маша непонимающе трясет головой, отходит в сторону, лезет в карман, достает измятый конверт, смотрит адрес, разглядывает дома.

Валера опять ее нагоняет и затевает светскую беседу:

— А что тебя никто не встречает?

— Я тут первый раз. А где Брусничная, знаешь? — Маша решает не грубить, она не понимает, куда дальше идти.

— Да тут всего три улицы. И все — центральные.

Валера на пятке поворачивается вокруг себя. Цыкает. Осматривается. Рукой показывает направление. Теперь он идет впереди, а Маша — за ним.

Из-за угла дома на них с рычанием выскакивает лайка. Валера замирает, а Маша становится на одно колено и протягивает собаке руку. Хвостатый агрессор тут же затихает и начинает прыгать вокруг девушки.

— Да я думал — волк. Сейчас бы палку... — оправдывается Валера за свое малодушие.

— ...и по башке бы себе дал! — завершает фразу появившийся незаметно для ребят Михалыч.

Маша и Валера смотрят на хозяина лайки, в камуфляже и с винчестером в руке.

— Здравствуйте! А я ищу Александра Михайловича Воскресенского. Вы не подскажете?.. — Валера вдруг замолкает.

Маша замирает. Поднимается с колен. Смотрит на Валеру.

— Не было печали, черти накачали. — Михалыч смотрит на Машу.

— Дед? Привет! Сколько лет, сколько зим! — Валера по привычке начинает балагурить.

Михалыч подходит к внуку, пристально вглядывается в его лицо. Разочарованно тянет:

— Весь невестушкин! В Людку вырос. А эту потаскушку ты где подобрал?

— Козел старый! — Маша понимает, и кто перед ней, и с кем она два часа ехала в машине на одном сиденье.

— Вся в мать... Как ее там — Светка? Нашел же сынок полюбовницу-хабалку. — Михалыч говорит тихо, но четко. — Хороши оба!

Валера и Маша синхронно поднимают руки, инстинктивно пряча синяки под глазами.

— Что, за добром Мишкиным приехали? Берите, не надорвитесь! Старик отворачивается и уходит. Маша и Валера смотрят ему вслед и... идут за ним.

— У тебя должно быть родимое пятно. — Валера с улыбкой разглядывает Машу. — Как у меня. Мы покажем друг другу эти отметины и будем обниматься и танцевать!

Маша набирает побольше воздуха и старается дышать ровно. Вопли этого клоуна, своего родного брата по отцу, она старательно игнорирует.

А чего ты ждала, думает она про себя. Что дед кинется перед тобой на колени или обниматься полезет? Если уж родной отец за двадцать лет ни строчки не написал и не появился, то от деда каких-то теплых слов ждать глупо. Маше до одури хочется развернуться в обратном направлении и пешком уйти в райцентр. Но сейчас она не может себе такого позволить.

— Да подожди! Сестра! Ты что, индийских фильмов не видела? — не унимается Валера.

Странная тройца доходит до дома Михалыча. Старик притормаживает у калитки и резко поворачивается к внукам. Он про себя надеется, что эта встреча ему привиделась, — но нет. Стоят. Нарисовались, фиг сотрешь.

— Вы что тут удумали? — Пенсионер начинает понимать, что так просто от них не отделаться.

— Мне тут местная администрация извещение прислала. Показать? — Валера улыбается, у него и в мыслях нет, что дед не пустит его в дом.

— И мне! — А вот Маша отвечает воинственно.

— И что теперь? — прищуривается Михалыч. — Пилить будем али рубить дом на три части?

— Не пустишь нас, с милицией новоселье справим. — Валера отбредивается на автомате, но чувствует, как его начинает мутить от такой неприветливой встречи.

— Дал же бог внуков! — сплевывает Михалыч. — Ну заходите. Поговорим.

В доме уютно и опрятно. Маша и Валера сталкиваются возле двери, Валера пропускает сестру вперед. Войдя за ней, осматривается. Все осталось почти так, как было десять лет назад. Домишко маленький, всего три комнаты. Столовая, она же кухня с большой кирпичной печью. Нет ни грязной посуды на столе, ни беспорядка на полках. На подоконнике аккуратно сложены коробки с патронами, порох в жестянке, советские справочники по оружию. На стене, креслах, на полу — шкуры волков





и медведей. Валера мысленно присвистывает: трофеев стало намного больше — видать, дед серьезно увлекся охотой.

В старом серванте за стеклом пыльный хрусталь и черно-белые фотографии молодого Михалыча и его жены. Маша подходит поближе и разглядывает снимки из геологических экспедиций: ее дед с коллегами запечатлены с тачками, кирками и большими камнями. Полкой ниже — маленькая выставка разноцветных минералов: агаты с кварцем, отполированная яшма, кристаллы аметиста и кальцита.

В центре Маша замечает явно новый снимок Михалыча с собакой и рядом — крупное фото собаки. Одичал тут старик.

Ей очень хочется спросить, где можно положить вещи, но она присаживается на краешек трехногого табурета и выжидательно смотрит на Валеру. Должен же быть от этого клоуна хоть какой-то прок.

Ее брат в курсе, что из кухни две двери ведут в еще две комнаты. Одна принадлежит Михалычу, во второй после развода жил Валерин отец.

— Сегодня ночуйте, а завтра езжайте, откуда приехали. — Михалыч на внуков не смотрит.

— Столько лет не виделись... — Валера уже не притворяется, он действительно расстроен.

— Вот именно! Руки отсохли открытку деду прислать? — закипает Михалыч. — Нарисовался он, как только, так сразу — наследство делить.

— Да кому нужна эта хибара! — подает голос Маша. — Нам сертификаты полагаются на переселение на материк. В поселке больше никого не осталось.

Девушка роется в сумке, достает документы, но, когда поднимает голову, видит, что дед ушел в свою комнату.

— Сестрица. Сестренка. Систер. Как тебе больше нравится? — Валера опять корчит из себя дурачка.

— Отвали, — огрызается Маша.

— Как скажешь, родная, — цедит сквозь зубы Валера. — Так вот, дорогая Отвали, я, пожалуй, займу комнату покойного батюшки. Других тут нет. В сенках я бы спать не советовал.

Он уходит в комнату отца. Маша вздыхает, берет свою сумку и плетется за ним.

По сравнению с кухней тут темно, пыльно и почти нечем дышать. Воздух спертый. Маша пытается открыть окно, под ее напором старая разошедшаяся створка наконец поддается, скрипит и отходит от рамы.

Валера лежит на кровати и наблюдает за Машей. Та рассматривает комнату. Старая, еще советских времен, «горка», везде разбросаны одежда и инструменты. Шкаф, кровать, диван, пара стульев. Аскетично. И похоже, после смерти хозяина тут ничего не трогали.

— Извини, шкаф я уже занял, — лениво сообщает Валера.

— Я тут ненадолго. — Маша думает, что она бы и сама устроилась на кровати, но, видимо, придется спать на продавленном диване.

— Так как тебя зовут? — Брат наконец-то говорит серьезным тоном.
— Мария.
— Я про тебя пару раз от матери слышал, но не думал, что когда-нибудь увидимся. — Валера трет виски.
— И я не думала. — Его новоявленная сестра ложится на диван и пялится в потолок.
— Чай будешь? — Не ожидая ответа, он встает и возвращается на кухню.

В комнате Михалыча идеальный порядок. На окнах занавески, горшки с геранью. Мебель почти такая же, как и у сына, но есть еще письменный стол с книгами, блокнотами и исписанными тетрадями. Книги — издания по геологии, геологической разведке, химии в промышленности, сочинения Олега Куваева, Антонины Кымытваль, Юрия Рытхэу, Джека Лондона.

Но сейчас Воскресенский-старший не листает любимые сборники стихов и прозы, а затаился у двери и подслушивает, что происходит в доме.

Глава 4

Маша сидит за столом на кухне. Наклоняется, гладит лайку, которая улеглась у ее ног. Пес по кличке Белый явно к ней расположен, переворачивается на спину и подставляет брюхо. Маша смеется и вовсе чешет ему пузо.

Валера ставит чайник на печку, проверяет кухонные шкафчики — ищет кружки.

— Ничего, дед отойдет. Он мужик крепкий, и не такое видел. Подумаешь, незаконнорожденная внучка! Дело житейское. — Он пожимает плечами.

— «Санта-Барбара», — усмехается Маша.

Собака ложится у порога и закрывает глаза. Валера находит чашки, чай, ставит на стол.

— Я с ним поговорю, я его любимый внук, — заговорщицки шепчет он и кивает на сервант. — Там раньше целая полка с моими фотографиями была.

Маша смотрит на полки и улыбается. Теперь и Валера видит портрет лайки и ее совместное фото с дедом. Хмыкает.

— Закусился он из-за открыток, конечно. — Он поворачивается спиной к серванту. — А ты ничего такая, борзая. Приперлась без приглашения, права качаешь...

— Прав у меня не меньше, чем у тебя. Мамка в суд на него подала, на признание отцовства. Он в моем свидетельстве о рождении вписан. — Девушка даже не пытается произнести слово «отец».

Закипает чайник. Валера наливает кипяток в заварник. Ищет сахар, слушает Машу. Он всю эту историю знает совсем чуть-чуть. Пару раз подслушал, как мать на батю орала после рождения этой девчонки и после суда. При сыне родители эту тему не обсуждали: «Не твоего ума





дело, Валерка, займись своими делами. Это тебя не касается, сынок». Угу, как бы не так! Матушка сначала в поселок, в рабочую общагу, его забрала, а как рудник закрыли — и вовсе: контейнер, самолет, Новосибирск. Валера уже был взрослый, но матери не перечил. Дед после закрытия рудника стал совсем дурной, отец в тайге пропал и ничего не рассказывал. Казалось, что в Новосибирске все будет по-другому, что там жизнь ярче. Ага, так ослепила, что в Сибирь ему теперь лучше не соваться...

— И тут она меня тоже зарегистрировала. Мне поэтому после интерната квартиру и не дали. Типа, родки живы, к ним и вали-гуляй. — Девушка снова гладит собаку.

— И где ты обитаешь? — Валера рассматривает сестру.

Маша пожимает плечами.

— Чем занимаешься? — Он приподнимает брови.

Маша опять дергает плечами и молчит. Она совсем не хочет рассказывать о себе и пытается перевести разговор:

— А ты?

— А я — пират. То тут, то там. Жизнь такая штука интересная, никогда не знаешь, где грузовик с печенюшками перевернется. Так что кочую и держу нос по ветру, — подмигивает Маше Валера.

— Безработный. — Его сестра оказывается не по годам прозорливой.

— Муж есть? — Он перехватывает инициативу.

Маша качает головой.

— Я вот тоже все ищу свою принцессу. Пока одни лягушки рогатые попадают, — вздыхает Валера.

Маша не выдерживает и смеется.

— Я тебе серьезно говорю! Так посмотришь — ну королева, Клаудия Шиффер! А поближе подойдешь — ква-ква, лопочет что-то, не разберешь. То бодается, то ругается. Вот и мучаюсь холостой.

Маша смотрит в сторону и закусывает губу.

— Не, я не как наш покойный батюшка. — Валера неожиданно становится серьезен. — Детей точно на стороне не нашол. Я сам отца десять лет не видел, мать же со мной в Новосибе рванула вскоре после развода.

После слов Валеры «не как наш покойный батюшка» Михалыч в своей комнате морщится, как будто его ударили. Он тихо идет к кровати, ложится на нее и поворачивается лицом к стене. Сверху на голову кладет подушку, чтобы не слышать разговора внуков. Их голоса сливаются для него в ровный гул.

Маша медленно пьет чай — уже вторую кружку — и мысленно репетирует, как она попросит Валеру приготовить ужин. Или просто спросит, чего бы съесть. Утром в квартире Аниного любовника она успела только надкусить один чебурек и убежала на автовокзал. Потом четыре часа ждала, пока появится автобус из Магадана: вдруг приедет попутчик до Веселки. Потом они вместе с Валерой — тогда на радостях Маша даже не спросила, как его зовут, — уговаривали местного таксиста отвезти их в заброшенный поселок. Два часа тряслись в машине. Ох

и жутко ей было с двумя посторонними мужиками! Про еду и не вспоминала. А теперь у нее сводит живот от голода, но до одури страшно встать и заглянуть в какой-нибудь кухонный шкафчик. Она боится, что *этот* (так она зовет деда) выскочит из своей комнаты и погонит ее из дома — заявила тут воровка.

Она мысленно напоминает себе, что треть этой избушки теперь ее, по праву наследования. На фиг она ей не нужна, за эту кучу бревен у черта на куличках и ста баксов не дадут. Да и землю — она узнавала — никто в собственность так и не оформил. Дом прописан в документах еще с восьмидесятых годов, но на чьем участке стоит — непонятно.

Холодильника в доме не видно. Да и электричества нет. Наверно, старый хрыч, прячет все запасы в подполе. Маша смотрит вверх, на пыльную люстру. Когда-то свет здесь был, но после расселения Веселки все электролинии отключили и разобрали. На столе в металлических чашках воткнуты три толстые свечи — вот и все освещение.

Из комнаты *этого* выходит Валера с фотоальбомом в руках. В отличие от Маши он явно доволен жизнью.

— Гляди, что нашел! С собой заберу. Тут и отец, и мать... тут я маленький, смотри! И даже мой дневник школьный есть! — Валера сует находку прямо под нос Маше.

Она отодвигается, но брат как будто не замечает.

— Листы из дневника, я его от матери спрятать не успел. Одни колы и замечания! И какие, слушай: «Ваш сын пел на уроке». На уроке математики! — Валера бережно перелистывает страницы.

— Подожди, сейчас свой найду. У меня тоже с виньеточками. — Маша кривится и внезапно говорит то, что не собиралась: — Там вся семья в сборе — сто двадцать малолетних придурков в одежде с чужого плеча.

— Зато не скучно было, столько друзей... — Валера откладывает фотоальбом и внимательно смотрит на сестру.

— Ага, не соскучишься. Каждую ночь то кого-то бьют, то еще что... Мы с вечера в комнате у старшей воспиталки прятались и двери запирали! — зло выпаливает Мария.

— Ого. — К такому потоку откровенности Валера не готов.

Он наливает себе чаю. Хочет сесть, но оборачивается, роется в кухонных ящиках, находит печенье, кладет на блюдце и ставит перед Машей.

— А у тебя что — кино и мороженое по воскресеньям с папой и мамой? — Сестра быстро хватает угощение, но давится печеньем и начинает кашлять.

— Типа того. — Валера собирается постучать ей по спине, чтобы откашлялась, но Маша молниеносно оказывается в метре от него. Юркнула в сторону, что тот заяц.

— Ну и отвали со своим счастливым детством! Рада за тебя. — Маша перестает кашлять и снова берет печенье.

Валера садится за стол — максимально далеко от девушки. Он наконец замечает, что в ее взгляде нет даже любопытства. Одна сплошная





неприязнь и злость. Брат пытается увидеть себя ее глазами. Дорогой и качественный прикид, пусть и прошлогоднего сезона, кожаные туфли с острыми носами. Тяга к щегольству у него от бати и деда. Те, пока рудником рулили, еще в советские времена, одевались чисто в фарцу, и плевать, что практически в лесу жили. Все импортное, новое, матери и бабке штопать одежду запрещали, сразу выкидывали.

Тут и нерпе тупой понятно, что они с Машей разного полета. Валера пытается незаметно оценить стоимость ее одежды: все с китайского рынка, дешевая синтетика, кое-где уже просвечивает, на локтях и коленях пузыри. Но сестре, видимо, наплевать. Странно, молодая совсем девчонка. Он вспоминает своих любовниц — все в мини-юбках, джинсах клеш, обтягивающих топах, так что и живот виден, и грудь еле прикрыта. А эта, видимо, даже не красится. Да и волосы как попало подстрижены, торчат в разные стороны, будто топором рубили.

— Национальные традиции? — аккуратно спрашивает он.

— Национальный трюндец. Сохранение, мать его, обычаев коренных малочисленных народов Крайнего Севера. Это еще с советских времен пошло: взрослые — в тундру тусить, а дети пусть в интернате побудут. Лучше бы сразу всех в город вывезли! — Маша говорит и жует одновременно.

— Хотели как лучше, наверно...

Маша успела съесть все, и Валера снова встает поискать чего-нибудь к чаю.

— А получилось как всегда! Никто из тех интернатовских ни оленей не пасет, ни рыбу руками не ловит. Ну, кто-то — да, но их по пальцам пересчитать. Они далеко — в тундре. А я вообще... и не русская, и не эвенка. И ваши на меня смотрят как на пустое место, и мои — как на чужую.

Девушка прикусывает язык и пытается понять, зачем она этому клоуну столько про себя рассказывает.

— Говори всем, что ты японка. Щас мода на все восточное — аниме, суши... — Валера снова в своем репертуаре.

— Офигел? — Сестра кидает в него ложкой. — Это шуточки для тебя, что ли?!

— Ну а что? Тебе пойдет красное с золотом. Мне вот идет. Это у нас семейное! — Валера разводит руками.

Маша уходит из кухни.

— И тебе спокойной ночи, сестра! — кричит ей вслед Валера.

Он смотрит на комнату деда и думает, слышал ли тот хоть что-то из этого разговора.

Глава 5

Сонный Михалыч утром выходит на кухню, идет к умывальнику. Маша уже за столом пьет чай.

— Доброе утро, любимый дедушка! Я вот уже с харчами подсуетился. — Валера жарит огромную яичницу.

Михалыч сначала плещет в лицо водой, а потом бурчит:
— И тебе не хворать. Яйца-то зачем все бухнул? Тут на неделю запас был. Мне теперь за ними снова в райцентр ехать надо...

— На чем катаешься? «Нива»? Красная. Или оранжевая была? — пытается вспомнить внук.

— Сгнили все те «нивы», и запчастей не найдешь. Трактор еще на ходу. И джип японский мы с твоим папашей купили лет пять назад. Подвеска только полетела, надо на ТО отогнать. Могу отвезти вас после завтрака. Я на тракторе джип потащу, вы — в салоне. — Михалыч не глядя хватает полотенце и вытирает лицо.

Маша уже положила на стол бумаги. Михалыч лишь раз смотрит на них издалека — ему тоже такие привозили.

— Глава района подсуетился? Была тут делегация неделю назад.

Старик садится за стол и отодвигает Машины документы в сторону.

— Нормальная тема. Тебя же никто переезжать не заставляет. Подмахни, да Машка обратно поедет. Я еще тут погощу, наверно. Ягоды, грибы пособираю. Соскучился! — Валера все это говорит бодро и весело, как будто не замечая угрюмых лиц сестры и деда.

— Вы валите, куда хотите. Я ничего подписывать не буду. — Михалыч старается не повышать голос.

Валера раскладывает яичницу по тарелкам и ставит на стол.

— В администрации сказали, или все трое, или — никто. Ладно. — Маша тянется за ложкой. — Как хотите. Кухню, наверно, побелю. Серая уже вся. Давно ремонт был?

— А я вместо огорода на заднем дворе футбольное поле сделаю. Я эти грядки заасфальтировать всегда хотел, честно. — Валера подмигивает сестре.

Михалыч бросает ложку на стол, резко встает и уходит на улицу. Маша и Валера продолжают спокойно есть, даже не шелохнулись.

— Достала меня в детстве эта картошка! Пацаны все мяч гоняют, а я как папа Карло — то с мотыгой, то с тяпкой. Счастливое детство, называется, — доверительно рассказывает брат сестре.

Но она молча смотрит в тарелку, быстро подчищает ее и уходит в комнату отца. Валера заканчивает завтрак в одиночестве, иногда взглядывая на фото собаки в серванте.

В комнате Маша недолго прислушивается к тому, что происходит на кухне, потом быстро прыгает в сторону шкафа. Она тихо-тихо открывает дверцы и роется в вещах брата. Проверяет сумку — в ней одежда, игральные карты, карта района... Странная какая-то, с треугольниками и кругляшками, она таких и не видела.

Маша поднимает Валерину сумку, видит мешок, открывает его. В нем промывочный лоток и химикаты. В углу под мешком — металлоискатель. Это-то уже она знает, был у нее любовник, старатель из артели. Хороший мужик, не бил и не обижал, жаль, что ментам попался с «рыжиком» в прошлом году. Маша слышит скрип половиц, возвращает все на место и идет к дивану.





Открывается дверь, заходит Валера. Смотрит на шкаф.

— Систер, помоешь посуду? Я и воду уже подогрел. Сначала чай поьем... Но можешь и сейчас, — предлагает он Маше.

Девушка кивает и уходит на кухню.

Теперь уже Валера идет к шкафу. Открывает. Смотрит на свои вещи, потом на дверь. Достает промывочный лоток, подходит к окну и разглядывает что-то на свету. Лезет в лоток пальцами, извлекает маленькую, на пару граммов, крупинку золота.

Валера аккуратно берет со стола бумагу, заворачивает крупинку и возвращает лоток в шкаф, а трофей перекладывает к себе в сумку.

Михалыч долго на улице не стоял. Отдышался и вернулся. Теперь сидит за столом и ест остывшую яичницу. Маша быстро перемывает грязную посуду в умывальнике.

— Тебе лет-то сколько уже? — Дед разглядывает нежданную внучку.

— Двадцать, — быстро отвечает девушка.

— На кого учишься? — Михалычу действительно интересно.

— Ни на кого. Я еще не решила.

Маша ставит посуду обратно в шкафчики и садится за стол. Она смотрит на дверь в комнату, решает сама налить себе чаю. Внутренне она готова к окрику: «Нельзя, не трожь!» Но Михалыч молчит и даже не смотрит в ее сторону. Девушка обхватывает кружку двумя руками и снова садится за стол.

— До пенсии думать будешь? — Дед назойлив. — Батя твой в твоём возрасте на третьем курсе учился. А в двадцать пять уже был главным инженером на Веселкинском руднике.

— А мама — там же техничкой. Я в курсе. — Маша старается не огрызаться: бумаги на переселение до сих пор на углу стола.

— Полы мыла. Что он в ней углядел, до сих пор понять не могу. — Михалыч стучит ложкой по тарелке.

— Любовь, — криво ухмыляется Маша.

— Позорище на весь поселок. Все соседи сплетничали, когда повестка в суд пришла. — Дед злится.

— А чем он потом занимался, после того как рудник закрыли? — Маша решает, что тоже имеет право задавать вопросы.

— Как все — чем придется. — Дед уходит от прямого ответа. — Народ в основном сразу на материк драпанул. Квартиры побросал, добро нажитое. Все закрыли, даже ларек. Хлеба не купить...

— Я слышала, что он вроде артель какую-то организовал. — Маша смотрит прямо в глаза деду.

— Слушай больше бабок на базаре! Золотодобыча разрешена теперь только для юридических лиц, — отрывисто говорит дед. — «Физикам»¹ больше, чем за наркоту, дают. А «хищники»² долго не живут. Или бандосы за дозу запрягать начинают, или свои же в лесах оставят. Дурное это дело.

¹ Физическим лицам.

² Те, кто добывает золото незаконно, без лицензии, и чьи действия подпадают под статью о хищениях.

— Зато прибыльное, говорят. — Маша гнет свою линию.

— Охота, рыбалка... — Старик в целом-то и не врет. — На распадке вечно с удочкой шарился. Белого возьмет с собой да и пойдет на целый день. Вечером притащит пять форелей, смех один.

— Ну не на это же вы жили? — Внучка прищуривается.

— Ты бы хоть спросила, где могила! Или от чего помер во цвете лет. Инфаркт его схватил. Вечером сел с бутылочкой — и не встал уже. Я утром его нашел. Вот на этом самом месте, где ты сидишь, — кивает Михалыч.

Девушка давится чаем.

— Жил бы с семьей, был бы жив еще. Супружница быстро и к врачу бы отправила, и бутылку бы отобрала, — вздыхает дед.

— Да кто же ему мешал-то с нами жить! — Маша срывается на фальцет.

— А я не про вас, — говорит, как отрезает, Михалыч.

— Это его удочки в сенках? — Внучка встает.

Она одевается, обувается и выходит наружу, хлопнув дверью.

Ее собеседник смотрит на то место, где она сидела, и тяжело вздыхает:

— Эх, Мишка, сынок...

Через час дед с ружьем и рюкзаком за спиной и длинной жердиной в руках идет по берегу ручья. Он рассматривает кусты и заросли вдали от берега. Двигается к ним, держа перед собой жердь, раздвигает ею траву, отодвигает стланик.

Клац! Огромный ржавый капкан почти перекусывает палку.

Михалыч довольно цокает. Снимает ружье и рюкзак. Достает пластиковую бутылку с машинным маслом, растворитель и чистую тряпку. Он чистит капкан, смазывает его маслом, открывает и осторожно возвращает на прежнее место. Срывает рядом траву, закидывает ею острые зубья. Сутки-двое — и запах масла выветрится. А там, глядишь, зазевается какая-нибудь куропатка или заяц.

Михалыч убирает бутылки с маслом и растворителем в рюкзак, туда же кидает испачканные тряпки. Он возвращается к ручью, моет руки, споласкивает лицо. Смотрит вправо — на влажной почве огромные следы медведя. Отпечатки в три раза больше человеческой ладони. Свежие: контуры четкие. Михалыч берет ружье в руки, рюкзак на спину и уходит, постоянно озираясь.

В паре километров от ручья по лесу с удочкой идет Маша. Возле нее крутится лайка.

— Белый, выведи меня к воде, — просит девушка собаку.

Она злится на себя, что заблудилась в трех соснах. Наверное, лайка отведет ее к усадьбе, если сказать «домой». Но с пустыми руками возвращаться неохота. Можно рыбу половить. Можно посмотреть тайники на берегу. Если *этот* действительно был «хищником», то какой-нибудь схрон недалеко от воды точно оборудовал. Дома намытое хранить — только ментов радовать. Она погружается





в свои мысли о возможном богатстве и не замечает, как в полусотне метров от нее появляется Михалыч. Он-то замечает Машу и прячется за деревьями.

— Белый! Вот предатель... — Дед смотрит на собаку.

А псу особенности человеческих отношений неинтересны, он всем своим рад: пахнет-то от них одинаково, сразу понятно — одна стая. Белый радостно гавкает, заметив хозяина. Теперь Михалыча видит и Маша.

— Ты бы на этой стороне сопки не шарилась. Медведи с распадка забредают, — говорит дед.

— Подавятся, — пожимает плечами Маша.

— Светка такая же языкатая была. А она-то что за чужим добром не приехала? — интересуется Михалыч.

— Была, да сплыла, — Маша не хочет рассказывать о матери, сама о ней мало знает.

— Нового дурачка нашла? — криво усмехается дед.

Маша останавливается, разворачивается к нему.

Вокруг них бегают собака. Насколько пес жизнерадостен, настолько мрачно выглядят девушка и старик.

— Я вот все смотрю на это несметное богатство и думаю: чего бы мне отсюда увезти? Видаков контейнер? Или джип ржавый из сарая у дома угнать? — Маша наконец-то орет, как хотела с самого начала приезда. — Или, подожди, папуля алименты в баксах собирал и хранил в коробках — спецом для меня, да? Добра-то тут видимо-невидимо!

— Вот-вот, алименты! — Михалыч тоже заводится. — На них твоя матушка и позарилась, в чужую семью полезла! Как услышала, что Мишка — главный инженер на руднике, так проходу ему и не давала. Сама-то — поломойка-оборванка!

— Кто там еще кому прохода не давал! Отвали. Воспитал сына уродом — так помалкивай! — Про себя девушка иногда костерит мать почему зря, но чужим никогда и слова дурного не дает о ней сказать.

— Ты на Мишку не гони... — начинает дед.

— У нормальных людей дети под боком растут, а не на подоконнике в интернате. «Где ж там папочка, когда мой папочка приедет?» Я ему каждую неделю письма писала! — Маша подступает вплотную к Михалычу.

— Какой интернат, что ты несешь? Светка в суд пошла, хватило же наглости! Ей там столько алиментов присудили, такие деньжищи — свой детский сад построить могла... — Михалыч как только слышит про детдом, сразу теряется и начинает бормотать.

— Пока рудник работал, ага. До девяносто первого. А потом меня мамочка в казенный дом отвезла, потому что жрать было нечего. И сказала, что за мной скоро приедут. Или она, или папочка. — Теперь Маша говорит тихо. — А, у меня же еще бабушка и дедушка были... Но тут даже ей духу врать не хватило.



— И Агриппину мою приплела! Грушеньку... Всю семью... Тьфу ты! — Дед упорно не хочет ей верить.

— Семья? Ха! А я — не семья, что ли? Не дочь ему? Заделал и забыл. Урод! — Маша чуть не плачет.

— Мишка не знал. — Михалыч защищает сына, но в глубине души чувствует, что тот ему многое не рассказывал.

— Точно знал, стопудово. Ему директриса интернатовская телеграммы отправляла. — Маша делает паузу и успокаивается. — Мне от тебя ничего не надо, подавись ты своим наследством. Ты только сертификат на материк получи, а не на райцентр. Ехать-то тебя никто туда не заставляет. Что ты уперся? Подмахни бумаги и живи тут.

— Много ты понимаешь! Пока Веселка на бумаге, сюда дорогу чистят. Есть поселок на бумаге — значит, живет. — Михалыч, как ни странно, не рад смене темы.

— Да не оживет он уже. — Девушка качает головой.

— Вернутся, прибегут обратно как миленькие! Тут такая инфраструктура, такая база на руднике законсервирована... — Михалыч говорит о бывшем своем предприятии ласково, как о человеке.

— Ну ты, блин, даешь, строитель коммунизма! — Внучка удивленно смотрит на него.

— Я ж эту жилу нашел в шестидесятых, в первой экспедиции был геологической. Да тут запасов столько под землей! Ты же не знаешь об этом ничего... — Старик закусывает губу.

— Екнулось твое светлое будущее. Не успело начаться — а уже закончилось, — медленно, как будто сумасшедшему, говорит Маша.

Михалыч свистит, подзывает к себе собаку.

— Ты все равно в той стороне не ходи. Я там капканы поставил, — объясняет он и скрывается в зарослях стланика.

Маша смотрит на кусты, как будто ищет взглядом опасные ловушки, и ничего не видит. Но на всякий случай уходит в другую сторону.

Глава 6

Валера в доме деда бродит по кухне, стучит пяткой по полу. Останавливается недалеко от входной двери, нагибается, поднимает половик — и видит в полу крышку от подпола с металлическим кольцом. Открывает ее, смотрит в черный провал, присаживается на корточки — и скорее угадывает, чем различает в темноте деревянную лестницу.

Он оглядывается, встает и берет со стола фонарь. Проверяет — батарейки рабочие. Валера еще раз прислушивается: вроде никого на дворе, — после чего спускается в подпол.

Там, внизу, сухо и чисто. Валера разглядывает стеллажи — на полках есть немного припасов: мука, сахар, крупы. Рядом в деревянных коробах картофель, морковь и свекла. В двух маленьких бочонках литров на двадцать, высланных изнутри полиэтиленом, засолены огурцы и капуста. Валера достает один малосольный огурец из бочки и хрустит им.



— Бабка вкуснее делала. — Но все же дожевывает соленье.

Возле одной из полок он замирает. Присматривается. Подходит ближе, хватается за стеллаж, приподнимает его и поворачивает на девяносто градусов. За стеллажом ниша, а в ней — большой металлический сейф. Валера делает шаг к нему.

— А вот этого здесь десять лет назад не было...

Он роется в карманах, находит мультинож. Прощупывает скважину для ключа, подбирает нужную отмычку, орудует ею — и вскоре слышит тихий щелчок. Не пропали навыки, с закрытыми глазами любой замок вскрыть может!

Но содержимое тайника приводит исследователя в ступор. Внутри несколько полок — и одна из них вся занята стопками бумажных денег. Валера радостно берет пару из них — и истерично хохочет. В одной советские рубли. А вторая — новые русские деньги времен дефолта с тремя «лишними» нулями. Они уже лет шесть не в ходу.

— Фантики! Даже печку толком не растопить. — Он возвращает бесполезные бумажки на место.

Шарит на второй полке. Там лежат картонные папки. Валера нетерпеливо открывает одну — в ней старые, советские личные документы его деда и черно-белые фотографии.

Луч фонарика выхватывает семейный снимок начала семидесятых. Молодые еще Михалыч, отец и мать Валеры, а вот и он сам на трехколесном велосипеде. Весной снимали: все в куртках и резиновых сапогах. Валера забирает эту фотографию себе, прячет в карман.

На последней полке лежат патроны. Валера раздумывает, нужны ли они ему — наверху такие же стоят коробками по подоконникам. И тут он слышит лай Белого с улицы.

Когда Михалыч с собакой заходят в дом, Валера уже сидит за столом и раскладывает карты на скатерти. Белый рычит на него, дед хмурится.

— Погадать решил? — Михалыч раздевается, цыкает на собаку.

— Да так, фокусами балуюсь. — Валера собирает карты и прячет в карман. — Чай сделать?

Дед кивает, садится за стол.

— Мать-то твоя что на похороны не приехала? И ты? Я телеграмму давал. — Старик говорит отрывисто. Он все вспоминает разговор с Машей.

— Долго рассказывать. Она в секту в девяносто четвертом попала. Я в итоге между бабушкой и тетушками, мамкой ее и сестрами, мотылялся. Она с нами не общается. Мы ж грешники, дедуль. — У Валеры произвольно дергается щека.

— Вроде нормальная была. Времена такие, все с глузду съехали. — Михалыч ищет конфеты в шкафчике.

Валера находит их раньше него, кладет на стол, споро разливает чай.

— Тебе-то самому тут как в одиночестве? — интересуется внук.

— Да нормально. Дверь вот только на ночь крепче запираю. И ружье под кроватью держу. Шарятся всякие... Патроны вон всегда под рукой. — Дед кивает на коробки с боеприпасами.

— Ищут, наверно, что-то ценное, — задумчиво говорит Валера.

Михалыч пьет чай, тарабанит пальцами по столу.
— «Рыжика» у меня нет. И отец твой все сдавал сразу. Сроки за хранение сейчас ого-го! — быстро и отрывисто говорит он.

— А кому сдавал? — не унимается Валера.

— Ну иди и у него спроси! — вытворяется старик. — Хоть раз, для приличия, на могилке постоишь.

— Схожу. Расскажу ему, что чудом сам в детдом не уехал. У меня ж такая родня — джекпот, а не семейка! Дед дикий, сестра дикая... — заводится Валера.

— Так, еще один обиженный. — Михалыч допивает чай. — Я тебе сопли вытирать не буду. Я эту дурную уже наслушался.

— Она твоя внучка. Родная. Не веришь? Грубая, противная, никого не слушает, сразу с козырей заходит, никаких тузов в рукаве... — Валера пытается шутить, но вместо привычных острот выдает то, что думает.

Михалыч тяжело смотрит на внука, встает и уходит к себе в комнату.

— Вся в тебя! Это у вас с ней семейное! — вслед ему кричит внук. — Всех к едрене фене послать, а дальше хоть трава не расти. Я тут, по ходу, один приемный. Реально, дебил — семье радуюсь.

Михалыч ходит по своей комнате кругами и слушает, как разоряется внук.

— Какие все нежные. Полстраны после войны... Где мы росли, по-вашему? — тихо говорит старик сам себе.

Вечером Маша, замерзшая и мокрая по пояс, с удочкой на плече, возвращается с ручья. У нее зуб на зуб не попадает. Ручей она нашла, только обрыв в высокой траве не увидела. Хорошо, что там неглубоко оказалось. На ноги приземлилась, устояла. Замечательно, что ни деда, ни клоуна этого там не было — она бы со стыда умерла.

Маша хочет тихонечко нырнуть в дом, проскользнуть в комнату и быстро переодеться. Но видит у ворот мешок с углем. А метрах в пяти от калитки — джип главы района. Она уже видела этот внедорожник в Радужном, пролетал иногда мимо.

Из этой черной громадины выскакивает мужик из областной администрации — он ей бумаги на переселение и втюхал, и все рассказал, и наобещал тоже много. Как же его там... Леонид, что ли? А самый главный в районе о чем-то шепчется за машиной с Валерой. Маша хочет подойти к ним, и плевать, что вся мокрая, но референт Леонид преграждает ей путь.

— Мария Михайловна, здравствуйте! Я на всякий случай вам еще раз бумаги распечатал. — Ленечка протягивает ей копии документов. — Вы данные свои проверьте — правда, я проверял, — и можно подписывать.

— Радужное? — Маша берет бумаги.

Референт кивает.

— На растопку пойдут. Вы не стесняйтесь, еще привозите! — Девушка зло комкает документы, отворачивается, но референт — вот змея! — опять оказывается перед ней.





В нескольких шагах от них Синицын хлопает Валеру по плечу:
— Дедуля твой дом такой отгрохал, молодец! А сердце прихватит — и что? Мавзолей он себе отгрохал.

— Да он бодрый вроде. — Воскресенский-младший знает такие интонации, все мутные дела с них начинаются.

— Валера, тут же медвежий угол, дальний! — Глава района теряет терпение. — Если что, ни скорая, ни пожарка не успеют.

Референт, стоя перед Машей, начинает говорить громче:

— Очередь на постоянное место жительства в центральные районы страны не двигается. Люди в девяносто третьем году встали в хвост, так и стоят. Мало сертификатов каждый год дают. Это ж не мы решаем, а там, в правительстве! А так — гарантированно квартиру получите. — Ленечка заискивает перед этой оборванкой и сам себя за это ненавидит.

— Я только на материк. Вы так правительству и передайте. — Маша чувствует себя хозяйкой положения.

Синицын наконец замечает девушку и отводит Валеру подальше.

— Дед твой, подозреваю, углем нашим брезгует пока. Видел, где складывает? — продолжает он.

Валера пожимает плечами.

— У него там, в снях, — и дрова, и уголь. Опасно, между прочим, — уже не просто намекает Иван Григорьевич. — Ну, бывай!

Маша смотрит, как этот хмырь в дорогом костюме и ее братец жмут друг другу руки.

Синицын идет к машине, по пути кивает Маше, открывает дверь и зовет:

— Ленька!

Референт откланивается ей и садится на место пассажира. Глава района захлопывает дверь.

— А чего этот без водителя? — Маша подозрительно смотрит на Ивана Григорьевича, который возится на шоферском сиденье.

— Неофициальный визит, — отшучивается Валера. — Уголь вон не по графику привез, переживает за нас.

Глава района заводит машину, разворачивает ее, останавливается возле Воскресенских, опускает стекло. Говорит с улыбкой:

— Молодежь, вы быстрее вопросы решайте!

— Нам сводку гидрометеоцентра прислали. Циклон движется! Еще пара дней — и десять-пятнадцать сантиметров осадков, — пищит Ленечка.

— А через неделю тут снега по горло будет. Дедуле — привет! — Чиновник больше на них не смотрит.

Машу начинает бить дрожь, она идет в дом. Валера хватается мешок с углем и тянет по земле вслед за ней.

Михалыч при свечах разбирает и чистит винчестер. Недавно этим занимался, но оружие порядок любит. Да и запасного ствола у него нет: собирался купить, но все сбережения на похороны ушли...

В дом заходит мокрая и уставшая Маша.

— Ты где угваздалась? — В голосе деда ни капли сочувствия.

Маша пожимает плечами, быстро сбрасывает верхнюю одежду, бредет в комнату отца. Вслед за ней с улицы появляется Валера. Штаны все в угольной пыли, руки тоже.

— Там Манька переодевается, — предупреждает Михалыч.

Внука тон старика задевает.

— Уже Манька? А она тебя как зовет — любименький дедушка?

Пока Валера моет руки, зло посматривая на старика, Маша, уже в чистой одежде и с пледом на плечах, выходит из комнаты и садится поближе к печке.

— Чего вы там шептались с чудилой этим в костюме? — громко спрашивает она у брата.

— Спасибо ему сказал за уголь. — Валера смотрит на свои испорченные штаны, прикидывая, можно ли их отстирать без порошка, хозяйственным мылом.

Михалыч и Маша молчат.

— Котельную отрубили, по закону вот — доставляют. Лишний уголь, что ли? — Валера оправдывается и сам себе за это не нравится.

Михалыч собирает детали винтовки на газету и уносит в комнату. Маша греет руки у печки.

— Дед совсем как чужой. А раньше он меня и на охоту брал, и на рыбалку... Я тебе не рассказывал, как мы на озеро Джека Лондона с ним ездили? — Валера улыбается воспоминаниям.

Маша не меняется в лице. Встает и тоже уходит с кухни.

Валера садится к печи на ее место. Достает старое фото, на котором ему три года и он самый модный парень на деревне — ни у кого таких трехколесных велосипедов не было. Воскресенский-младший смотрит на снимок в последний раз, поджигает его и бросает в печь. Обгоревший снимок планирует вниз, на железный поддон, но Валера этого не видит и закрывает заслонку.

Ночью Михалыч встает, чтобы добавить в печь угля. Молодежь спит без задних ног, холода пока не чувствует, а старик по опыту знает: еще чуть-чуть, и ударят морозы. Минимум ведро угля в сутки будет уходить. Он думает, хватит ли запасов и будет ли этот чинуша из райцентра возить топливо каждую неделю. Смотрит вниз — и видит на поддоне обгорелый кусок его любимой семейной фотографии.

Семьдесят третий год, что ли. Михалыч еще молодой, внук новый велосипед осваивает. Валерка даже в кровать с собой этот велик постоянно тащил — все переживал, что его железный конь на улице замерзнет. Смешной такой был... В Веселке тогда только что обогатительную линию запустили. Новый штат набрали, дома каменные для сотрудников строить начали. Детский сад, школа — ну и пусть в одном здании, зато детишки учатся, всегда под присмотром. Ни намека тогда не было на этот ветер перемен, черт бы его побрал, который с начала восьмидесятых что-то такое надул сыну Михалыча в уши. Мишка и на работе халтурить





начал, и на план положил огромный болт, и новую жилу от начальства скрыл. Надо было ему тогда разрешить частную артель открыть, это и в советское время не возбранялось. Но Михалыч же за страну радел: зря, что ли, он так бился за открытие рудника и фабрики горно-обогатительной в этом районе. Чтобы золото добывали и сразу, на месте, его и оформляли.

Любимая фотография. В единственном экземпляре осталась. Настолько любимая, что Михалыч пару лет назад спрятал ее даже от сына в сейф в подвале. Там еще подарок на свадьбу Валерке лежит. Сувениры — старые облигации. Не успел Михалыч их поменять в девяносто третьем, а про деноминацию и вовсе спустя полгода после нее узнал. Он ведь месяцами в райцентр не ездил.

Старик смотрит на циновку возле порога, под которой прячется вход в подвал. Выходит, Валерка туда залез и вскрыл сейф. Значит, он, Михалыч, ничего о своем внуке не знает... Дед подбирает обгоревший кусок снимка и, открыв заслонку, бросает в печь.

Глава 7

Маша утром даже завтракать не встает. Просыпается раньше всех, вытаскивает из шкафа металлоискатель, собирается и тихо, как мышка, выскальзывает из дома. Ей не дает покоя мысль о тайнике возле ручья. Если *этот* не успел его опустошить и сдать «рыжик», то ей и сертификат не понадобится. Она себе не то что квартиру — дом купит! Коттедж трехэтажный с видом на море. И море будет не Охотское, а Черное! Если *этот* внезапно на тот свет отправился, то точно не успел продать или передать скупщикам. Она на секунду задумывается, не стоило ли побольше выспросить у деда. Но подзревает, что этот угрюмый старик правды ей не скажет. Он и на родного внука вчера зверем смотрел, когда узнал, что тот с чиновником из райцентра шушукался.

Маша быстро находит ручей и отправляется бродить с металлоискателем по кустам. Но прибор реагирует писком в лучшем случае на старые консервные банки. Маша чертыхается про себя, но не сдаётся. Сегодня с ней обязательно случится что-то хорошее.

Валера просыпается через минуту после того, как сестра закрывает за собой входную дверь. Настроение у него — ни петь, ни рисовать. Он тоже быстро одевается, захватывает с собой пачку печенья и флягу с водой и отправляется в поселок.

Доходит до первого двухэтажного дома на окраине, игнорирует корявую рукописную надпись краской: «Не входить! Частная собственность!» Входная дверь заколочена накрепко. А вот окна — разбиты. Через одно из них на первом этаже Валера и пробирается в опустевший дом.

Полы вскрыты, плинтусы отодраны, обои наполовину сорваны, а остатки разрисованы похабными рисунками. Валера смотрит под ноги,

чтобы не напороться на гвоздь или осколки стекла. На полу плотным ковром игрушки, книги, конверты с погашенными марками и написанными адресами, письма, пластинки, документы, фотографии... Валера идет, наступая на них.

На кухне поживиться нечем, такая же разруха. Кто-то здесь уже побывал, судя по разбитой мебели. Валера на всякий случай открывает чудом сохранившийся шкафчик и, оторопев, смотрит на целый набор советского хрусталя: бокалы, салатницы, вазочки какие-то... Удивительно, что вандалы его не тронули. Валера вспоминает, сколько во времена его детства стоил такой сервиз, и присвистывает. Забыли? Перевес по багажу был? В чемодан не влез?.. Незванный гость аккуратно закрывает дверцу — пусть следующий визитер тоже подивится человеческому скопидомству.

На полу Валера видит настенный календарь — тоже привет из детства. Каждый день отрывали по страничке, на обороте обычно печатали советы домохозяйкам или народные приметы. Он подбирает находку. Последняя страница датируется семнадцатым августа тысяча девятьсот девяносто восьмого года. Как услышали последние жители Веселки новости по телику, так и драпанули отсюда.

Валера мрачно смотрит на разоренную квартиру, пытается вспомнить, был ли он тут раньше в гостях. Вполне вероятно, что здесь жил кто-то из его одноклассников или коллег отца. Внезапно ему кажется, что в соседней комнате лежат трупы его бывших знакомых. Вся семья в полном составе, в лучших костюмах и нарядах. Валера почти бегом направляется к разбитому окну и выпрыгивает через него на улицу.

Он бродит по местам детства, узнает старые вывески. Вот почта. Тут был киоск, в котором можно было сдать обувь в ремонт. Вон продуктовый магазин, куда каждое утро ящиками привозили молоко и кефир в зеленых стеклянных бутылках с крышками из тонкой фольги. В центре поселка — заброшенное одноэтажное здание, одно из самых больших. И табличка еще цела: «Школа — детский сад “Солнышко” п. Веселка».

Валера решительно сворачивает к альма-матер и заходит. Ну как заходит — запрыгивает через остатки крыльца в дверной проем. Сами двери кто-то давно снял.

Бывший ученик идет по школьному коридору с драным линолеумом на полу, заглядывает в один из классов. Какие-то черти тут шашлыки устраивали: в середине кабинета следы пожарища, на растопку пустили парты и стулья. Зато на классной доске еле различимая надпись мелом: «Прощай, Веселка, не забудем тебя никогда!»

В спортивном зале тоже будто Мамай прошел. Валера на секунду застывает на пороге, а потом идет к почему-то еще целой гимнастической стенке. За ней на крашеной стене накарябана кривая надпись: «Валерка В. из 7 “Б” — дурак» и дата: «15.01.1981». Валера подбирает кусок кирпича и добавляет рядом цифры: два, ноль, ноль, три.

— Зато красивый. Был и остался, — вслух говорит Воскресенский-младший и осекается.





Как-то громко начинает гудеть ветер под крышей и шуметь лес вокруг. Как будто Валерку из седьмого «Б» никто здесь не ждал, а он приперся. Еще и с опозданием, на чужой урок, в другой класс.

На центральной улице Воскресенский-младший останавливается возле проржавевшего остова красной когда-то «нивы». Трогает крышу — она тут же осыпается красной пылью. На металлолом уже не сдать. Да и охотники за железом и цветметом, скорее всего, давно забрали все самое ценное. «Камазами», небось, вывозили. Бывший житель поселка клянет про себя этих мародеров на чем свет стоит. То ли за то, что успели раньше него. То ли за то, что ни стыда, ни совести у людей — покойника грабить.

На центральной площади смотрит в светлое будущее гипсовый Ильич. Удивительно, что еще стоит: половины памятника уже нет, да и часть головы снесли, как будто прицельно камни кидали. Постамент зарос травой и молодым кустарником. Еще пара лет — и вождя пролетариата не будет видно.

На «скелет» Дворца культуры, как в Веселке громко называли местный клуб, Валера даже не смотрит. Полуразрушенные стены, изуродованные колонны и провалившаяся крыша. Вместо окон черные проемы. Единственному прохожему кажется, что из них за ним кто-то следит. Но кто тут может быть, кроме лис да медведей?

Валера вспоминает про хищников, подбирает палку и отправляется домой, к деду. И как только старик с ума не сошел тут, на останках своей бывшей мечты?

Маша уже два раза облазила все кусты возле ручья, но не нашла ничего, кроме нескольких грязных бутылок от спиртного, окурков и консервных банок. И те, видимо, еще в прошлом веке здесь оставили. Девушка смотрит на воду в ручье — надо бы умыться да напиться перед обратной дорогой.

Она делает шаг и замирает. Вокруг нее пропадают все звуки. Маша медленно поворачивает голову и сначала слышит тяжелое дыхание, а потом уже видит в паре метров от себя медведицу. Из кустов выглядывают то ли два, то ли три медвежонка. Любопытные мальцы с бурой шерстью и глазами-угольками, размером не больше овчарки. А вот мамаша — с японский джип. Или так от страха кажется?

Медведица предупреждающе рычит.

Маша медленно поворачивается к ней лицом, крепче сжимает металлоискатель правой рукой, а левую кладет себе на живот. Медведица делает к ней шаг, снова рычит. Подходит ближе, нюхает воздух — и останавливается на расстоянии вытянутой руки. Маша стоит, следит за хозяйкой леса.

Медвежата уже убежали или спрятались, их не видно. Медведица смотрит в их сторону — там только чуть колыхнется трава.

От ручья слышен голос Михалыча:

— Манька... Манюша... Ты медленно-медленно сдвинься вправо.

Дед замер метрах в десяти от внучки и зверя, в руках винчестер, рядом в охотничьей стойке — Белый.



— Она меня не тронет. Меня никто больше не тронет, — тихо, но твердо говорит Мария и смотрит на живую угрозу. — А если ты, сука косолапая, на меня кинешься...

Медведица еще раз нюхает воздух возле живота Маши, пятится и уходит. Напоследок рычит, затем резво поворачивается и исчезает в кустах.

— Чудеса! — откашливается Михалыч. И уже более сиплым голосом инструктирует: — Спиной к ней не поворачивайся. Иди ко мне. Задом... Да, так...

Маша смотрит в ту сторону, куда ушла медведица, и шаг за шагом спиной идет на голос деда.

— Везучая ты. — Михалыч держит кусты на прицеле.

— Это у нас семейное, — усмехается Маша.

И тут же страшно кричит. Капкан, которого она не заметила, защелкивается на ее правой ноге чуть пониже колена.

Михалыч спешит быстрее донести внучку до дома, но на это уходит не меньше часа. Он пытается понять, сколько крови потеряла Манька. Вон бледная какая...

Старик кладет девушку на кровать в комнате сына. Да, знатно капкан ее цапнул — кожа и мясо висят лохмотьями, а под ними видна кость. Михалыч достает аптечку и готовится обрабатывать рваную рану. Средневековье... Вместо антисептика — самогон, он же и вместо обезболивающего.

Маша приходит в себя за секунду до того, как Михалыч льет самогон ей на рану.

— Лучше бы ты и дальше в отключке была, — ровно говорит дед. И мысленно себя хвалит — голос даже не дрожит.

Он отставляет бутылку с самогоном, берет чистый бинт и осторожно протирает края раны. Маша от боли стискивает зубы, но приподнимается на локтях и пытается посмотреть на ногу.

— Не смотри. Я ж говорю, везучая, кость не сломана, — спокойно продолжает старик. — Так, поцарапала. Отлежишься и будешь как новенькая. Только пока не наступай на эту ногу. И надо бы в больницу, конечно...

— Не поеду. — Маша пялится в потолок.

— ...пусть доктора снимок на всякий случай сделают. — Михалыч берет иглу и нить. — Я края схвачу, а там уже врачи перекроют... Ты бы глотнула «сэмчика».

— Не поеду. И пить не буду. Мне нельзя. Ничего нельзя. — Девушка кладет руку на живот.

— Антибиотик можно. От сепсиса. Капкан на том месте уже пару лет валяется, на нем любая зараза может быть. — Михалыч начинает твердой рукой сшивать рваные края раны. — Пей, говорю! Мы в экспедициях годами без скорых обходились. А как иначе, если до врачей — пара тысяч километров? Я из таких передряг мужиков вытаскивал! Сами все умели.



Маша неловко хватает упаковку таблеток с табуретки, вскрывает и достает пару. Вздыхает, сует в рот и медленно, с отвращением пережевывает: Михалыч занят, воды подать некому.

— И ничего не спросишь? — Внучка снова кладет руку живот.

— А зачем? Не от хорошей жизни ты сюда прискакала за деньгами. — Дед делает стежки побольше — так останется меньше проколов.

— За хорошей жизнью. Для меня и для него. В Сочи. — Маша стискивает зубы.

— Сочи... Сын все туда хотел. Папаша твоя, — хмыкает дед.

— Нет, это мне мама рассказывала! — протестует Маша.

— От Мишки наслушалась, вот и рассказывала. Лето круглый год, прибой, абрикосы... — вспоминает старик.

— Абрикосы под ногами валяются. Пальмы, — подхватывает и замолкает Маша.

— Пальмы под окнами... Небо как море... — продолжает Михалыч.

— Как море, без конца и края. Дальше, дальше... — Маше хочется плакать, но совсем не из-за боли в ноге.

— Дальше горизонта, — усмехается Михалыч. — Одни он всем песни пел. Я бы знал, я бы еще в советское время отсюда дернул бы в эти Сочи с ним и с Грушей, бабушкой твоей. Но мы же на страну работали! А теперь ни страны той нет, ни мы никому не нужны. Север, видите ли, перенаселен, как сказал один жирный никчемный внук хорошего писателя.

Маша опять смотрит в потолок и думает о своей маме, которая наизусть запомнила вранье ее отца. Сказочное вранье о сказочном месте, которое могло стать их общим домом.

— Вот все и рванули отсюда. А потом нужны, нужны тут будут люди! А где их возьмут? — Михалыч начинает было любимую тему, но смотрит на внучку и понимает, что аудитории он лишился.

— Мама. Сочи. — Пациентка закрывает глаза. На лбу испарина, лицо бледное.

Михалыч заканчивает зашивать, убирает иголку и нить. Из кухни доносится звук открывающейся входной двери. Лает собака.

— Белый, тихо! — шикает Михалыч, смотрит на девушку. — Вот и поговорили.

В комнату заглядывает Валера.

— Что случилось? Куда она опять залезла?

— Ша! Заснула. — Михалыч машет внуку, чтобы тот не шумел.

— Помощь нужна? — шепчет Валера.

Михалыч жестами показывает, что все медицинские инструменты надо убрать, а таз с водой — вынести и вылить. Сам встает и уходит мыть руки на кухне. Валера собирает обрывки бинтов, иногда смотрит на ногу Маши, вздыхает, качает головой. Зимовка обещает быть экстремальной.

Глава 8

Глава района не соврал. Не проходит и недели, как ложится снег. За ночь он по-хозяйски укутывает землю полуметровым покровом. Все, мол, привыкайте к зиме.

В километре от дома в лесу Михалыч и Валера длинной двуручной пилой пилят старое сухое дерево. Насколько быстро и без одышки орудует дед, настолько медленно и устало действует внук. Вжик, вжик, крик. Пила застревает в дереве. Валера с явным облегчением идет в сторону отдыхать.

— Вот же криворукий! — ругается Михалыч и пытается освободить инструмент из ствола.

У него это получается, но пиле кирдык — зубья погнулись и затупились.

Вечером дед и внук рубят возле дома дрова. Возле старика уже груда в полкуба. А Валера поодаль то промахивается, то машет невпопад. Плюм! Одна из чурок летит в Михалыча.

— Паразит! — Дед еле успевает отступить с пути опасного «снаряда».

Внук опять замахивается — и топор соскальзывает прямо ему на ногу. Повезло, что не лезвием.

Ближе к ночи Валера, Маша и Михалыч ужинают. Лайка спит под столом. Дед приканчивает первую тарелку супа и краем глаза косится на два блюда с простыми лепешками и жареными пирожками с голубикой. Девка на одной ноге прыгает, но на кухне сегодня ловко управилась.

— Ничего так. Есть можно. — Михалыч наливает себе вторую порцию супа.

Валера надкусывает пирожок.

— М-м-м... Систер, ну ты мастерица! У матери научилась?

— В школьной столовой работала после интерната. Мы там, как дефолт грянул, из воды, муки и соли десять видов теста раскатывали, — вспоминает Маша.

— Валерка! Меньше всех работаешь, больше всех ешь. Манька хромая — а гляди, как по дому шустрит! — хвалит внучку дед.

— Я тоже с больной ногой, — возмущается Валера.

— Толку от тебя! — фыркает дед и заговорщицки шепчет Маше: — Знаешь, как он себе инвалидность сегодня чуть не заработал?

Валера встает, кладет пустую тарелку с ложкой в таз на печке и уходит в комнату. На пороге оборачивается и видит, как Михалыч и Маша о чем-то шепчутся и смеются.

Против своей воли он вспоминает себя, уже здорового лба, поздним вечером лет пять назад стоящего на лестничной площадке возле двери одной из тетушек в Новосибирске. Матушка тогда взяла и переписала свою квартиру на новых друзей с постными лицами и нудными речами. А сыну ее эти святоши даже вещи не отдали: мол, это все мирское, Валерочка, суета, тлен. Что означало: с утра твои манатки на помойке, иди ищи. Тетушка про все это не знала и домой не спешила. То ощущение





бездомности и беспомощности ему потом долгое время приходилось гнать от себя почти каждый день. Надо же, вернулось.

Валера всю ночь ворочается, вздыхает. Встает раньше сестры и деда, одевается и напоследок громко хлопает дверью. Спят они, бездельники! А вот он сегодня им обоим покажет — сам воду с реки привезет, без просьб и напоминаний. Он ставит канистру на санки и топает с ними в сторону речки. Не дурак, топор и ведро прихватил. Морозы стукнули серьезные, лед уже сантиметров двадцать, не меньше.

Санки и канистру он оставляет на берегу, сам с ведром и топором осторожно скользит к середине реки. (Его потом спросят, зачем так далеко зашел, и он ничего не сможет ответить.) Река во льду, лед в снегу, местами даже сугробы. Валера замахивается и аккуратно колет лед. Еще пара взмахов, и можно набирать воду.

Из-за холма к реке выскакивает дед.

— Валерка! — орет он на бегу.

— О, дедуля! Видишь, я тоже что-то умею. — Внук ухмыляется и от души бьет топором.

— Уйди... со льда!.. — Старик аж захлебывается словами.

— Иждивенец, паразит, криворукый... — бурчит себе под нос Валера, но останавливается.

— Белый лед нельзя рубить! — кричит Михалыч.

Треск. Валера смотрит вниз — лед под ним расходится. Он только успеваает взмахнуть руками — и стоя, как солдатик, уходит в предательски расплзшуюся полыню. Топор отлетает в сторону и остается на льду.

Михалыч давит в себе губительное желание в два рывка добежать до внука. Опускается сначала на четвереньки, а потом и вовсе ложится на лед и ползет к проруби. Доползает до топора, зачем-то хватает его, другой рукой смахивает снег с замерзшей поверхности реки. В черной воде сначала ничего не видно. Но вот подо льдом старик видит лицо Валеры с вытаращенными глазами. Внук неуклюже бьет руками по льду снизу, пытается схватиться хоть за что-нибудь. Время замирает. Дед и внук смотрят друг на друга. Валера пускает пузыри, пытается что-то сказать, разводит руками, будто извиняется — и тут течение подхватывает его и несет...

Дальше — как в очень страшном сне, настоящем кошмаре. Михалыч поднимает голову, смотрит вперед и, занеся руку с топором, мечет его метров на десять перед собой, а сам отталкивается руками и скользит следом. Хватается за рукоятку топора — лезвием вниз зашел. Лед и тут трескается, Михалыча заносит и разворачивает в противоположную сторону. Но он остается на месте, держит крепче топор и лежа крошит лед. Перевалившись на левый бок, медленно водит рукою под водой. Лишь бы не пропустить, лишь бы не упустить... Сухой треск идет со всех сторон, тихий, предательский, чуть заметный, но Михалыч остается на месте. Лишь бы Валерка сознание не потерял! Тут течение и летом не бурное, а зимой еще спокойнее должно быть.



Везучий Воскресенский-младший открывает глаза под водой, выбирается из ставшего чугуном тулупа. Вниз, на дно, уходят и валенки: намкнув, они стали как гири. Валера стучается головой о лед, опять пузырьками выпускает воздух, но таращится изо всех сил и ищет, где посветлее. Мышцы сводит от холода, руки-ноги не слушаются. И тут он замечает впереди что-то белое и вцепляется в него.

Он чуть не утягивает в полынью и деда, но Михалыч втыкает топор рядом в лед и держится. Так себе точка опоры, но другой нет. Валера высовывает голову из воды, кашляет, сипит, молотит, как дурной, по кромке льда — и только еще больше ломает и крошит его.

— Ша! Тихо! — сквозь зубы командует Михалыч. — Держись, Валерка... Валерочка... Да что ж ты, внучок, такой же, как отец, — упрямый!

Валера ничего не слышит, только чувствует, что холод почти добрался до сердца. Удивляется про себя — неужели он весь превращается в лед? Закрывает глаза, и дед вытягивает его, обмякшего, из полыньи. С одной стороны Михалыч рад, что внук не дергается, а с другой — ему страшно: неужто поздно спасать? Старик матюгается про себя и осторожно волочет бесчувственное тело к берегу. Вставать нельзя, бежать нельзя, паниковать нельзя.

На берегу реки с запасным тулупом в руках скачет Маша. Она все еще хромает, поэтому подросла только сейчас. На реку не ступает — она-то в курсе, что после первых морозов на водоемах делать нечего, лед еще как следует не схватился. Маша видит, как дед медленно тянет ее брата по снегу и льду. Валера и сам белый, как снег, только губы синие. Девушке кажется, что путь двоих мужчин на берег длится час, не меньше. Подумав, она идет за санками, ставит их поближе к реке и, кусая губы, ждет.

Вытащили! Теперь бы только до дома довести.

Михалыч и Маша тащат санки с Валерой, накрытым тулупом. Воскресенский-младший почти без сознания. Иногда он открывает глаза, но видит все как в бреду.

...Любопытную собаку, которая тычется носом ему в лицо...

...Верхушки деревьев и голубое небо...

...Испуганные глаза Маши, когда она оборачивается...

...Спину деда-великана. Сейчас дед такой же большой и сильный, каким казался внуку в детстве.

Валера закрывает глаза. Стужа, постояв у сердца, откатывается куда-то вниз, в область солнечного сплетения. И забирает с собой память о вечере, когда он оказался без дома и без вещей под дверью тетушкиной квартиры.

Михалыч топит баню, затаскивает туда Валеру, раздевает и усаживает в большое корыто. Льет горячую воду из чанов. Отгоняет Машу, собравшуюся растирать брату руки и ноги:

— Нельзя, ты что! Если вперед холодная кровь в сердце попадет, он точно с инфарктом свалится. Лучше собери ему одежду теплую и морса из брусники побольше навари.



Девушка мелко кивает и, прихрамывая, уходит в дом. Дед льет воду и наблюдает, как постепенно розовеет кожа «героя» сегодняшнего дня. Валера все еще холодный, но постепенно приходит в сознание, глаза вот только держит полужакрытыми и смотрит куда-то в сторону. Старик осматривается, находит термометр, проверяет температуру воды в лохани. Надо горячую, но выше сорока градусов нельзя. Он мысленно прикидывает, сколько времени внучок провел на холоде. Минут пять под водой, минут десять его тащили на сушу, минут двадцать пять волокли до дома... Сорок минут. Везучий! Еще бы десять — и уже не отогрели бы, заморозил бы и кожу, и нутро.

— Давай еще минут пятнадцать тут погрейся, а потом в дом, к печке. Ничего нигде не колет, не болит? — спрашивает дед.

— Холодно. Может, жиром медвежьим растереть? — Валера хрипит.

— Угу, и снегом — чтобы уж точно угробить. Где ты этого начитался? Среди нормальных людей вроде рос. — Михалыч сплевывает. — Ты еще водки попроси с перцем, чтобы уж точно «мотор» посадить.

— Да ладно тебе. Я не в курсе, как вы тут, в тайге, спасаетесь, — огрызается внук.

— Древним шаманским заклинанием. Посредством магической спутниковой связи вызываем железную птицу, вертолет санавиации называется. И везут колдуны болезного в город, к волшебным антибиотикам и мистическим физиопроцедурам, — нараспев произносит дед.

Под конец не выдерживает, ржет как конь. И Валерка тоже начинает трястись от смеха. Такими, раскрасневшимися и гогочущими, их и видит Маша, навьюченная теплыми вещами и запасной одеждой. Она улыбается — брат так смеется, будто и не было сегодня ничего на реке.

Потом Валеру держат пару часов у печки, в одеяле из верблюжьей шерсти, кормят «от пуза» жаренной на сале картошкой и заставляют выпить чуть ли не всю кастрюлю кисло-сладкого морса. Михалыч на ночь щупает пальцы на руках внука, долго и сосредоточенно изучает его ноги, заставляет измерить температуру и только после этого отправляет спать — под двумя одеялами.

Дед и внучка сидят на кухне, смотрят в окно. Подорвались из-за Валеры спозаранку, кажется, что неделя прошла, а еще белый день на дворе.

— Тебе рожать-то когда? — спохватывается старик. Еще с утра хотел спросить.

— В марте, — неуверенно отвечает Маша.

— Ты у врача хоть раз была? — уточняет дед.

— Нет. У нас все легко рожают. По материнской линии — как кошки. Пара часов — и по делам побежали. — Будущая мать легкомысленно улыбается и кладет руку на живот, а дальше говорит уже так серьезно, что у ее собеседника ком встает в горле: — Мне нельзя в Радужный. Я чувствую, я его там потеряю. А он — мой. И я — его. Семья. Наконец-то.

Глава 9

Ноябрь. Веселка

За водой на реку после этого случая Михалыч с Валерой не сговариваясь отправляются вдвоем. Маша округлилась, двигается тяжело, но каждый раз увязывается за ними. Раскопала у деда в сенках бур с короткой удочкой и рыбачит. Ставит раскладной стульчик, садится неподалеку, лунку сделает — и тягает форелей одну за другой. Хоть и небольшие рыбки, а на ужин хватает.

Пес Белый от Маньки не отходит, замечает старик. Бродит за ней хвостом, охраняет. Как чувствует, что ей помощь и компания нужна. На Валерку пес уже почти не рычит, но и не подойдет лишний раз, и погладить себя не дает. А с девкой Белый на все готов: она и в бане его уже купала, и вычесывала. Бантики только не повязывала на хвост. Но суровый охотничий пес от нее, наверно, и это стерпит. Вот сейчас Белый притворяется, что охотится на ее улов, — то слева подпрыгнет к рыбе, то справа. А рыбачка вертится, пальчиком ему грозит, притворно «воришку» отчитывает, смехом заливается. Как дети малые, ей-богу.

— Манька, ты давай заканчивай с рыбалкой! Мне Белый нужен в лес. — Михалыч поворачивается к внуку. — Силки проверить надо.

Внук на лыжах за дедом не успевает. Но иначе тут не пройдешь, намело уже по пояс, наст хрупкий, провалишься и будешь сугробы буровить, пока насквозь не вымокнешь. Валера выглядывает красные ленточки на ветках: так они с Михалычем осенью поместили места, где оставили ловушки. Вон одна алая на ветру полощется. Воскресенские останавливаются возле нее, по очереди отгоняют Белого. Старик лыжной палкой проверяет сугроб, замело все за ночь начисто.

Вот он, голубчик. Под снегом застыл окровавленный заяц. Это хорошо. Форель, конечно, вкусная, но каждый день ею сыт не будешь, мужикам так она вообще на один зуб. Михалыч мрачно думает, что провиант в погребе подходит к концу. Таким макаром они уже на следующей неделе на подножный корм перейдут. Без запасов любая затяжная метель их заставит зубы на полку положить — не выберешься же никуда: ни на рыбалку, ни на охоту. Он отгоняет от себя смурные мысли и забирает косоглазого из капкана.

Вечером Михалыч, Валера и Маша играют в покер на спички. Внучку везет так неистово, что дед начинает очень пристально за ним следить. И ловит — «везунчик» припрятал туз в рукаве.

— Ой, завалилась! — Младший Воскресенский без тени смущения смотрит на козырную карту. — Сильно нужны мне ваши спички. На, Машка, забирай!

— Я вчера в подпол спускалась. Картофан закончился. Там вообще по мелочи осталось, в основном соленья. Муки пара килограмм всего, — подтверждает внучка опасения Михалыча.





— Да ведь я на вас, дорогие гости, не рассчитывал. Запасы на одного были. — Дед не хотел этого говорить.

— Так может, в Радужный за хавкой смотаться? — Валера соскучился по цивилизации.

Единение с родней — это, конечно, хорошо, но у него уже передоз торжества семейных ценностей. И дедова самогонка надоела. Да и селянок неплохо бы пощупать. В общество выйти, так сказать. Есть же у них там хоть один ресторан или хотя бы придорожная забегаловка, где аборигены собираются. Валера чувствует, что еще пара недель простой деревенской жизни — и у него нимб над головой засияет да крылья ангельские под лопатками пробиваться начнут.

— Дорогу почистят — съезжу, — бурчит старик.

Валера и Маша переглядываются. Ни чиновников из Радужного, ни охотников, ни туристов — никого тут давно не было, да до весны, скорее всего, и не будет.

— Или можете сами — на лыжах. Утром пошкандыбаете — к ночи дойдете, — продолжает ворчать дед.

— Придется Белого варить. Или лучше зажарить? — Валера тасует карты.

Он смеется, а Маша и Михалыч смотрят на него с одинаковым и очень неприятным выражением на лицах.

Через пару дней в том же самом капкане дед с внуком находят только обглоданный остов зайца. Кругом на снегу куски меха и брызги крови. А еще — десятки небольших следов, причем не собачьих.

— Давай обратно домой! — Старик нервно оглядывается. — Волки. Остальные ловушки можно не проверять.

Как накаркал, брюзгливо думает Михалыч вечером. Пурга занялась, из дома не выйти. Хоть веревки во дворе развешивай, чтобы за них держаться и не заблудиться между домом, баней и сараем. Ни черта не видно ни днем ни ночью.

Несколько суток они почти не выходят из избы. Ветер снаружи лютует — воет и зло бьется о стены и окна их жилища. Когда утихомиривается, люди с трудом выбираются на улицу. Дед с внуком часа четыре машут лопатами — расчищают двор. А потом небо опять затягивает. Михалыч чертыхается и громко объявляет, что зря они тут физкультурой занимались.

Следующий вечер. На ужин — пустые макароны. Валера ест и поглядывает на Белого. Уже без шуточек и прибауточек.

Потом заканчивается чай, а за ним и мука. Маша из каких-то остатков жарит лепешки, замешав тесто на воде.

Через день на столе уже только кипяток. Валера встает, смотрит в окно — вьюге конца и края не видно. Подвал он еще накануне весь проверил с фонариком: ни морковки тощей, ни картошки сгнившей, ни клубня махонького — нигде ничего не завалилось. Самогонку Воскресенский-младший всю прикончил: забирал иногда с собой в поселок еще по осени и пил на улице, этакая медитация с видом на развалины

своего детства. Дед, что удивительно, ничего по этому поводу не говорил, хотя смотрел неодобрительно. Только наливку на жимолости трогать запретил, сказал, что это на Новый год. Ягоду всю съели, Машка каждый день пирожки стряпала. Хорошо тут было... Еще месяц назад. Валера вспоминает вкус выпечки с кисло-сладкой начинкой и замирает. В желудке будто открылась черная дыра и напоминает о себе острыми резами.

Боли усиливаются, он сгибается, потом резко распрямляется и встает.

Думает, повезло, что он один на кухне. Берет со стола нож, идет к собаке, хватает ее за ошейник, тащит в сенки. Белый визжит и пытается укусить Валеру.

— Ты что удумал, внучок? — Михалыч выскакивает из своей комнаты и тянется к лайке.

— Не мешай!.. Не лезь, я сказал! — Валера крепко держит ошейник и отталкивает старика. — Это вы тут с Машкой добренькие и чистенькие. Ну ладушки, пусть злодеем сегодня буду я!

Они с дедом толкаются, пыхтят. Белый набирает голос и начинает лаять. Маша выбегает из своей комнаты: сначала из-за двери появляется пузо, а потом уже она сама. Бесстрашно вклинивается между дедом и братом, падает на собаку, крепко ее обнимает и так и лежит. По ее щекам текут слезы. Пес притих, не дергается, только умоляюще смотрит на хозяина: мол, что за дурдом ты тут развел, нормально же жили. Понаехали эти двуногие, теперь и жрать нечего, и ведете себя все как псы одичалые.

Валера и Михалыч одновременно отступают в стороны, чтобы не задеть Машу.

— Не смей. Не трогай! — Маша сама почти рычит на Валеру и тут же, без перехода, на деда: — Я же просила, подпиши бумаги! Хуже зверей скоро станем.

Она так и держит лайку обеими руками и вместе с ней спиной отползает к стене. Белый скулит. Михалыч только сейчас замечает, как у его питомца торчат ребра. Получил на старости лет. Всех голодом по дурости своей заморил. Надо было еще осенью внучат отправлять отсюда куда подальше.

Валера возвращается к столу. Садится, берет в руки кружку с кипятком. Нож кладет перед собой. Михалыч пытается помочь Маше встать, она мотает головой: уйди.

— Через неделю по-другому запоешь. — Валера не смотрит на сестру.

— Завтра на охоту пойдем. Утихомирилось уже. Где-то тут сохатые бродят, нутром чувствую. — Михалыч смотрит в окно.

На дворе насмешливо и зло поет ветер. Ему подвывают волки.

— Ты передо мной старичка-лесовичка не разыгрывай! А то я не знаю, что у тебя три высших образования и кандидатская. Ну ты же умный человек! — Валера поворачивается к Маше: — Он мне вместо сказок на ночь про химические реакции рассказывал, про всякое кучное





выщелачивание! Все нормальные дети бабайки боялись, а я — таблицы Менделеева.

Сестра смотрит на них обоих, порывается что-то сказать, но закрывает рот и смотрит в потолок. Собаку так и не отпускает.

— Не нужен я, Валера, в вашей новой России ни с тридцатью высшими образованиями, ни с докторской степенью. Я всю жизнь жил, чтобы человек — это звучало гордо, чтобы дороги в космос были. А теперь у вас рынок, теперь церкви на каждом углу. — Михалыч сплевывает. В животе болит, тянет неприятно уже не первый день. Дожил, дуралей седой, в двадцать первом веке есть нечего высококвалифицированному специалисту.

— Все такие религиозные стали, только живут не по заповедям. Купи, продай, обдури ближнего своего, своруй, убей... Ваучеры-фигаучеры, приватизация-фигизация. Я докторскую по обогащению золото-содержащей бедной руды написал и сжег — сам сжег! — Михалыч ходит из угла в угол и разговаривает уже не с внуками, а проговаривает то, о чем явно много думал в одиночестве. — Я ее в восемьдесят седьмом начал разрабатывать — для великого государства, чтобы оно больницы построило, школы новые, институты... А теперь она кому нужна — этим поганым «новым русским»? Я в грязь не полезу! — Михалыч заводится и грозит кулаком в потолок.

— Да нет уже «новых русских». На улицах никто не стреляет, пиджаки малиновые вышли из моды. Ты бы почаще в люди выбирался. — Валера мелкими глотками пьет горячую воду.

— А «старые» там есть? Советские люди, которые не о себе, а о других думали? — Михалыч останавливается и зло смотрит на внука.

— Задолбали! Думали они. Вот ты и ты — вы обо мне думали? Я вас все слушаю и понять не могу. Все такие хорошие, заботливые, умные. Ну почему же я-то с боку припека, а? Ни тарелки супа для меня у вас не нашлось после школы, ни куска пирога на праздники? Ни открытки на Новый год? Ну что вы молчите? — Маша встает, держит собаку за ошейник. Белый рычит и скалит клыки на Валеру. — Один про космос заговорил, второй за детство со сказками цепляется... Вы обо мне хоть раз в жизни подумайте, а? О человеке. Вот она я — живая. Не будущее это твое, которого не будет! — выпаливает Маша Михалычу, потом — Валере: — Не прошлое с манной кашей, на которое ты все вздыхаешь. Его тоже нет! Подпишите бумаги и гуляйте, где хотите. Кто с медведями в тайге, кто с шалавами в казино.

Дед вспоминает туз в Валерином рукаве и как-то по-новому смотрит на внука. Маша с собакой уходит в комнату отца и подпирает дверь стулом изнутри.

— Зашибись! А я где, по-вашему, спать должен? — возмущается Воскресенский-младший.

— Спокойной ночи, внучок. К Машке не лезь, ей волноваться вредно. За Белого — шею сверну, понял? Завтра все решим. — Дед горбится и бредет в свою комнату.

Глава 10

Валера вспоминает про наливку и лезет в подвал. Шумит нарочно громко, но никто не выходит на кухню и не спрашивает, чего ему в такой час не спится. Вылезает он с еще большим грохотом, но все равно остается в одиночестве. Пьет прямо из бутылки, сидит у печки, злится и накручивает себя, вспоминая недавнюю сцену во всех подробностях. Как Манька собаку к себе прижимала, как дед пообещал за псину показать кузькину мать...

У настойки градус невысокий, но голодному и расстроенному человеку много не надо, чтобы залить глаза. Валера встает, пошатываясь, и в голову ему лезут черные мысли о том, что зря он сюда приехал. Надо было дальше в Москву рвать или в Питер. Как-нибудь бы устроился. Понадеялся на родню и наследство. Ничего тут батюшка на холодных ручьях не заработал, кроме угрозы неба в клеточку. Застудил руки и ноги от промывки золота в кустарных условиях, мучился с суставами. Мыл чисто на пожрать и выпить. Клада нет — Михалыч рассказал, когда устал от расспросов про «хищников» и схроны покойного сына.

Валера бросает бутылку в печь, и от звона разбившегося стекла в соседних комнатах замирают и его дед, и сестра, и даже пес. Никто в доме не спит.

Когда Михалыч через десять минут все-таки выходит на кухню, он сначала бросается на внука, отнимает у того зажигалку и канистру, бьет его в челюсть — и лишь потом понимает, что увидел.

— Манечка... Собачечка... Один Валерочка тут на фиг никому не сдался. — Воскресенский-младший теряет равновесие и падает на пол. Воняет бензином и алкоголем.

— Дедушка! — Из комнаты высовывается Маша с собакой.

— Ты с дуба рухнул? — Воскресенскому-старшему впервые в жизни хочется плакать.

И что с этим пьяным балбесом делать?

— Дедушка... — Голос у Маши непривычно тихий, но Михалычу сейчас не до нее.

— Неужели ты о ком-то беспокоишься? А не чем-то великом? — Валера даже не пытается встать. — Люди — это так, расходный материал...

— Проваливай отсюда, гнилое семя. Чтобы глаза мои тебя не видели. — Старик говорит как сплевывает.

— Дедушка! Мне что-то нехорошо, — пищит Маша.

Она держится за живот, морщится, а потом падает в обморок. Михалыч еле успевает ее подхватить.

Валера закрывает глаза и наконец проваливается в крепкий алкогольный сон.

Пока он храпит на полу у печки, Михалыч ходит из своей комнаты в кухню и обратно. Перешагивает прямо через внука: противно к тому прикасаться. Идиот, наакался, чуть их всех заживо не спалил! Дед нервно собирает вещмешок. Набирает воды в флягу, проверяет батарейки для фонарика, ищет спички. Выкладывает





на стол ружье и патроны. Иногда заглядывает в комнату, где раньше жил сын. Манька лежит на боку, живот обхватила, дышит тяжело. На полу калачиком свернулся Белый — спит, набирается сил, чувствует, что завтра будет поход.

Как только рассветает, старик набирает холодной воды, выливает на спящего внука и командует:

— Собирайся! Маньку надо в больницу везти.

— Рано ей еще рожать. — Валера спросонья не помнит, что учудил вчера. Говорит и удивляется, что за резкий запах в кухне.

— Напугалась вчера. Или еще что. Без врача никак. — Михалыч давит в себе желание пнуть этого молодого лося, чтобы тот быстрее двигался.

— Ну и езжайте. А я главу района подожду и с ним уеду. — Валера медленно поднимается и идет к столу.

— Два месяца уже твоего главы нет. Ни угля, ни ответа, ни привета. На дорогах по метру снега, если не все полтора. Сюда сейчас никто не проедет. — Дед распахивает по карманам патроны.

— Будем, как индейцы, дымовые сигналы посылать. Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете, и что-то там дальше, ля-ля-ля... — Валера даже напевает в конце.

Вдруг он вспоминает, что устроил вчера, и холодеет. Удивляется, что жив-здоров, без синяков и сломанных ребер, — и как его дедуля сгоряча не пришиб за такое? Матерый человечеще!

Михалыч набирает воздух, выдыхает и начинает медленно, но четко объяснять внуку план действий.

— Маньке очень плохо. Она с полуночи почти в себя не приходит. Тут пешком часов пять быстрой рысью по дороге... летом. Зимой через лес за столько же дойдем. Даже с таким грузом. Но вдвоем. Световой день нынче короткий, а по темноте там шарахаться бесполезно. Собирайся! — В конце он уже приказывает, а не уговаривает.

— Надо оно мне двести лет! — фыркает Валера.

— Помоги Маньку отвезти. И я покажу, что тебе отец оставил. Все как есть, — после долгого молчания шепчет Михалыч.

— Я так и думал, что где-то золотишко припрятано! Ставки сделаны! — Валера протягивает руку, но деда уже нет, ушел в комнату Машку проверить.

Воскресенский-младший смотрит в окно. За ночь погода утихомирилась. Солнце яркое, небо голубое, снег такой белый, что смотреть больно. И чего вчера так не было? Поохотились бы, подстрелили бы кого, и не было бы вечером этого скандала и позорища. Валера обводит глазами кухню, видит брошенную канистру с бензином. Осматривается — пытается запомнить обстановку. Есть у него предчувствие, что больше он сюда никогда не попадет: дед просто на порог не пустит. Это если они еще доберутся до Радужного. Валера наклоняется к окну посмотреть на термометр за стеклом. Минус двадцать пять.

— Безумству храбрых поем мы песню... Так это нам еще повезло сегодня, курорт! — вздыхает неудавшийся поджигатель.

Маньку бережно одевают потеплее, укладывают на сани, а сверху укрывают тулупом. Михалыч вешает на спину вещмешок, на плечо — ружье. Заставляет Валеру взять топор и заткнуть за пояс. Впряглись в сани — и вперед на лыжах.

Мороза Валера не ощущает, ему жарко, то и дело хочется распахнуть ватник да умыться лицом снегом, но нельзя. Он помнит по детству, какой тут коварный «сухой» мороз: градус не чувствуется. Даже хорошо, что есть нагруженные сани и приходится постоянно быть в движении. Идти тяжело, путники пробираются через чащобу без дороги. Лес густой, то и дело из-под снега выглядывает стланик и другие кусты. Валера и Михалыч огибают их, чтобы не перевернулись сани с Машей.

За людьми по снегу трусит лайка, она легче и почти не проваливается. Иногда Белый останавливается и водит носом по ветру. В такие моменты Михалыч становится совсем смурной и пристально наблюдает за псом. Тот принюхивается, смотрит по сторонам, потом прыгает по сугробам дальше. Значит, пока спокойно, никого рядом нет.

Они почти без остановки идут четыре часа, и Валера в итоге резко останавливается и бросает «поводья»:

— Не могу больше!

Голодный, похмельный, он очень жалеет себя, уставшего, обливающегося потом. Прикидывает, что осталось «всего да маненько», как говорила бабушка, и заставляет Михалыча сделать привал.

— На полчаса, не больше. — Старик смотрит на внучку и решает, что от получасовой остановки беды не будет.

Он оглядывается, находит место под огромной разлапистой сосной, где поменьше снега. Сани с Машей ставит к стволу. Сам идет по округе, ломает ветки, собирает их для костра. Влажные все, чадить будут — да и хорошо: дым зверя лесного отпугнет. А если вдруг люди заметят их «дымовой сигнал», совсем отлично будет. Михалыч сам держится из последних сил. Есть неохота, но накопилась усталость за последние дни, да и страх за Маньку накатывает. Вроде спит, родная...

Михалыч катает в голове это слово: «родная». Чем-то от него пахнуло — то ли пирожками Груши, покойной супружницы, то ли жимолостью, которую они в августе с сыном, соревнуясь, собирали ведрами на время. Михалыч вздыхает, оглядывается на внучку. На щеках у нее румянец.

Валера присаживается на краешек саней и тут же засыпает, как птица на жердочке. Старается усидеть прямо, чтобы не навалиться на сестру, но все равно склоняется, кладет голову ей на плечо и закрывает глаза.

Михалыч разводит огромный костер. Чтобы ветки занялись, подкладывает вниз таблетку сухого спирта. От одного только вида огня становится теплее.

Идти же совсем чуть-чуть осталось, думает старик перед тем, как присесть на сани к Маше с другой стороны. Он наблюдает за оранжевыми





язычками пламени и старается бодрствовать, но против своей воли засыпает.

Очухивается дед на закате. Полчетвертого уже, еще час — и будет темно хоть глаз выколи! Костер потух. К Валере и Маше на сани забралась собака, нырнула под тулуп, греют друг друга. А вот у него, Михалыча, пощипывает пальцы на ногах. Ни носки из шерсти, ни торбаса из оленьей кожи уже не спасают. Михалыч встает и зло толкает внука — из-за него застопорились.

— Дед, чайку сообразишь? — Этот и у черта на сковороде будет языком молотъ.

— Подъем! — командует дед.

— Нормально же спали. — Валера подмигивает. — Вот такой у тебя внучок. Знаешь, тут две причины. Или гены, или воспитание. Тебе какая больше нравится?

Михалыч ничего не успеваает ответить, как вдруг Маша резко приходит в себя.

— А нам долго еще? — Она тоже понимает, что до заката осталось совсем немного.

— Ты встать можешь? Походи чутка, разомни ноги, — отвлекает ее дед.

— Малой не шевелится. Вчера еще кувыркался. А сейчас молчит. — Маша с трудом встает, неуклюже переваливается по снегу и жалобно смотрит на свой живот.

— Потерпи, почти выбрались. — Михалыч пытается понять, удастся ли сделать еще один круг и выйти к трассе.

Но какая сейчас «трасса»? Это раньше грузовики караванами туда-сюда ходили, а теперь, если за день с десяток большегрузов проедет, уже удача. Старик прикидывает, стоит ли повернуть здесь или и дальше идти к поселку через лес. Вдруг на трассе не встретится ни одной машины? Тогда они точно замерзнут. Он смотрит на внуков и раздумывает, стоит ли делиться с ними своими сомнениями, можно ли советоваться? Или он только напугает их?

— Куда выбрались? — Судя по визгливому тону, у Маши начинается истерика.

— Куда-нибудь. А потом — дальше. Систер, рано карты сбрасывать. — Валера встает, разминается, подпрыгивает.

— Нельзя сдаваться, слышишь? Никогда! Пока ты еще дышишь — вставай и иди. — Дед подходит к Маньке, стаскивает с нее рукавицы и разглядывает кончики ее пальцев.

Нормально, обморожения нет, внучка даже горячая, Белый с Валеркой нагрели сани, что ли? Или инфекция какая ее догнала, потому и капризничает?

Девушка забирает рукавицы и надевает их.

— Мы тут умрем. Холодно же... — Последние слова она шепчет.

— Холодно, голодно, страшно — все равно. — Михалыч успеваает потрогать внучкин лоб, прежде чем она отворачивается. Точно, температура у нее.

Валера отходит от костра на пару метров и застывает: он видит странные тени в кустах.

— Волки? — почему-то сипит Валера.

— Да хоть медведи полярные! Пока ты не сдашься — тебя никто не одолеет. — Михалыч смотрит только на Машу. — Даже когда кажется, что все пропало. Ты — Воскресенская. Сильный человек из семьи сильных людей. Слышишь?

— Вы меня бросили, — опять начинает девушка.

Валера пятится спиной к ним, нащупывает топор на поясе, снимает его, машет рукой Михалычу. Но дед и внучка смотрят только друг на друга. Не обращают внимания и на то, что Белый начинает рычать.

— Все делают ошибки. Но ты же выжила! Как я, как твои прабабки и прапрадеды. За тобой — горы. За тобой — легион сильных и смелых людей! — Старик сам не понимает, почему говорит это здесь и сейчас. — Это дороже всех открыток к Новому году. И всех пирогов, которые тебе недодали. Ты когда-нибудь задумывалась о своей фамилии?

Маша отрицательно кивает головой.

— Это фамилия священнослужителей. Рождественские, Воскресенские — такие фамилии придумывали, когда человек без роду и племени оканчивал семинарию. Представляешь, как жилось нашим после революции? — В прежние времена старик и сыну этого не рассказывал: в стране Советов не прощали «неправильных» предков.

— Дед, волки! — Валере совершенно не интересны семейные байки. Он хватает Михалыча за плечо и заставляет развернуться к лесу на другой стороне поляны.

Хищники будто только и ждали этого момента — выдвигаются из кустов втроем, как на парад, выстраиваются в одну линию. Каждый в полтора раза больше Белого, все с острыми мордами и наглыми взглядами.

— Так вот, внуки. Я так резво утром собирался... — Михалыч медленно снимает с плеча винчестер, целится. — Короче, у меня всего два патрона.

Он вдруг начинает петь, и внуки от удивления даже перестают пялиться на волков, которых раньше видели только по телику.

— Понимаешь, это странно, очень странно, но такой уж я законченный чудак... — Старик делает паузу и нажимает на спусковой крючок.

Слышен тихий треск — похоже, порох отсырел.

— Я гоняюсь за туманом, за туманом, и с собою мне не справиться никак, — как ни в чем не бывало продолжает дед.

Винчестер опять кряхтит, а не стреляет.

— Люди сосланы делами, люди едут за деньгами, убегают от обиды и тоски! — Это уже орет Валера, он берет топор обеими руками и держит перед собой, следя за хищниками.

Маша зубами снимает варежку, лезет куда-то в валенок и достает нож. Тот самый, что вертела в руках в машине по пути в Веселку. Ее брат,





заметив это, хмыкает, и они с дедом не сговариваясь придвигаются ближе, заслоняя девушку собой.

— А я еду, а я еду за мечтами, за туманом и за запахом тайги, — как стихи, декламирует девушка.

— Манька, не высовывайся! — предупреждает Валера.

Она кивает, стоит за спинами своих защитников. Темнеет уже, кажется, не по минутам, а с каждой секундой. «Гады серые! — думает Маша. — Специально ждали, когда солнце сядет. Мы теперь слепшарые, а им все хорошо видно». Она едва улавливает момент, когда самый крупный волк бросается на Михалыча, а двое других — с разных сторон на Валеру. Белый кидается было спасать Воскресенского-младшего, но тот уже ухайдакал одного серого противника топором. Второй волк успевает вцепиться Валере в руку, и пес тут же повисает на нем.

Маша часто-часто моргает и зажмуривается от испуга: нет ни мужества, ни сил смотреть на то, как ее только что найденных родных грызут звери. Как же медленно, оказывается, у нее бьется сердце... Бум. В нескольких шагах от нее рычат волки и собака, скрипит снег, слышны звуки ударов. Бум. Наконец — звук выстрела и вспышка. И еще раз. Бум, бум, бум! А теперь сердце колотится с такой скоростью, что больно вдохнуть.

Из оцепенения ее выводит голос деда:

— Манька, дай нож, надо Валерке руку перевязать! Нам последний рывок остался. Часа на полтора. Давай-давай! Нельзя сидеть, заснешь — не проснешься.

Девушка вздрагивает и смотрит во все глаза. У Валеры из кисти капает что-то красное. А у деда порван тулуп и ватные штаны. Одежда толстая, не прокусили, только потрепали. Взъерошенный Белый крутится возле Михалыча и все оглядывается на лес. Пес, кажется, цел.

— Придется ножками идти, родная, — озабоченно говорит старик. — Прости, сани мы теперь не вытянем. Дойдешь?

Машка кивает. Она уже нашла в саях какое-то тряпье и режет на перевязку. Ее накрывает запоздалый прилив адреналина. Дойдет, доползет, если надо! А если эти волки вернуться, она им лично горло перегрызет.

Глава 11

Неделю спустя. Радужный

Глава района и референт притопывают от холода возле машины. Мороз трескучий, но чиновнику неохота заходить в больницу раньше времени. Увидит главврач — опять привяжется с этим своим капремонтам. Машина еще, как назло, замерзла и не заводится. Водила ушел якобы «найти подкурить». «Сидит, небось, в кафе и чай горячий хлещет!» — зло думает Иван Григорьевич.

— Они точно там? — в десятый раз уточняет он у референта.

— Там, там. Я на пост сегодня звонил. Брата еще позавчера выписали, а мамочку с ребеночком только сегодня отпустят, — блеет Ленечка.

— Ты документы взял с собой? — Глава района и так видит папку в руках у помощника, но ему надоело молча переминаться с ноги на ногу.

— Конечно. Мужики уже все подмахнули. Проверили только, чтобы на центральные районы страны. Мария Михайловна только осталась и младенчик... — Референт замерзшими руками пытается открыть папку и показать документы, в итоге сдается и просто трясет ею, мол, все нужные бумаги здесь.

— А ты на несовершеннолетнего сделал заявление на сертификат?! Чтобы мать расписалась как законный представитель? — Иван Григорьевич вспоминает, что упустил «пополнение» населения этой треклятой Веселки.

— А вы не говорили... — Ленечка пятится от начальника.

— Так я уже неделю об этом думаю! — взрывается чиновник.

Тем временем в приемном покое на скамейке сидит Валера с повязками на голове и на руке и одной ногой отстукивает весьма нервный ритм. Рядом с ним стоит, прислонившись к стенке, Михалыч, весь в царапинах и синяках. Он пристально смотрит на дверь. У обоих в руках уже порядком помятые букеты, у старика — еще и торт.

Дед бросает взгляд на Валеру и морщится. Видок у них с внучком бомжатский, после «марш-броска» и переодеться не во что было. Добро-сердечные сестрички попритаскивали из дома мужских шмоток разных размеров... Бог с ним, главное, что вовремя добрались. И Маньку сдали на операцию акушерам, и сами тут же в хирургию кинулись. Врач только и успел обоим в пальцы блокаду поставить: обморозились все-таки. Но обошлось без последствий.

— Ну вы и везучие! — каждый день на осмотре дружно тянули доктора.

Но на фортуны не надеялись, выписали коробку таблеток и на процедуры гоняли по несколько раз в день.

Наконец из дверей показывается Машка со свертком на руках. Ее поддерживает под локоть пухлая розовощекая нянечка с сожженными перманентом кудрями.

— Кто тут папаша? Забирайте сыночка! — улыбается сотрудница родильного отделения.

Внук и дед подхватываются и резво бегут к Машке. Валера передает цветы старику и аккуратно забирает ребенка. Пытается рассмотреть — а что там рассматривать: глаза как щелочки да щеки. Укутан малец с головы до пят. Михалыч не глядя всучивает букеты с тортом нянечке. Видит он только правнука.

— А кто это у нас тут? — сюсюкает Валера.

— Александр Михайлович Воскресенский. — Манька хитро смотрит на Михалыча. — Тезка вот, в честь моего героического дедушки.

— Вот зачем ты так над сыном издеваешься? Кто его полюбит? — Брат кивает на старика. — С таким характером?





Михалыч внезапно краснеет, потом улыбается и забирает у Валеры младенца.

— Характер у меня тяжелый, потому что золотой, — строго отвечает теперь уже прадед. — А что, похож! Нос как у меня!

— Глаза мои — умные-умные! — встревает Валера.

— Вы аккуратнее, раньше срока парнишка родился. Врачи кое-как на выписку согласились. — Нянечка видит, что странная семейка ее не слушает. — Вещи мамочки на посту заберете. Я еще утром все отнесла. И девчонки подсобили, собрали там приданое для мальчика вашего, на первое время хватит. Там из управы еще коробку притащили — смеси, пеленочки... Никогда у нас такого не было.

Она еще хотела бы рассказать, как тут каждый день высокое начальство по коридорам крутилось и выспрашивало, живы ли последние жители Веселки, как с телевидения из самого Магадана звонили и уточняли, точно ли семья с беременной женщиной из брошенной деревни через сугробы и стаю волков вышла к цивилизации, все ноги и руки себе обморозив. Вот тут шум стоял! Но сотрудница больницы видит, как трое взрослых передают друг другу младенчика, умиляются каждому его взмаху ресниц и то и дело целуют новорожденного то в лобик, то в щечки. Нянечка уносит цветы с тортом, уже на пороге оглядывается и быстро издали крестит ребенка.

— Чудо, что вообще родился! Везучий. Главврач сказал, диссертацию на таком материале защитит, — бормочет она себе под нос.

Воскресенские этого не видят и не слышат.

— Кстати, Валерка, помнишь, я обещал, мол, покажу, что тебе отец оставил? Все как есть... — Михалыч откашливается и театрально разводит руками в воздухе. — Смотри! Я, она, он. И все, кто потом нарождаются!

— Теперь понятно, от кого у меня покерфэйс такой знатный. Я с тобой больше за один стол играть не сяду! — Валера в глубине души знал, что дед ему с три короба наобещает, лишь бы помог Маньку к врачам вывезти.

Ай, да и ладно! Невелика потеря. Ставки еще не сделаны, большая игра еще не началась.

Малыш почему-то молчит и смотрит на Воскресенского-старшего. А Воскресенский-старший — на него. Седобородый великан вспоминает, как забирал из роддома своего сына. На материке еще, до переезда на Колыму. А потом внука — вот этого балбеса — в этом же месте. Как давно это было! В прошлой жизни! Но плакать не хочется, смеяться хочется. Живут Воскресенские, живут! Вот, еще один наш на свет появился. Для великих дел, для хорошей жизни. А если она будет плохая — он придумает, как сделать ее интересной и доброй. Воскресенские всегда так делают.

— Здравствуй, правнук! — нежно шепчет Михалыч. — Добро пожаловать!

Послесловие

Михалыч-старший остался в Магаданской области, стал егерем в заповеднике — грозой браконьеров.

Валера проиграл все деньги в игровых автоматах в Новосибирске. Получил пять лет колонии за мошенничество. Зато его не нашли и не убили кредиторы.

Маша с Михалычем-младшим улетела в Сочи, купила комнату и устроилась работать поваром.

Поселок Веселка исчез с карты России, как и сотни других населенных пунктов на Крайнем Севере после развала СССР. Плодами достижений многолетнего труда тысяч геологов, горняков и строителей пользуются разве что частные компании.



Андрей СИЗЫХ

УЛИЦА БОГРАДА

* * *

Зацепилась глупая звезда
Крылышком резным за провода
И горит бенгальским фонарем
В мире наших полуночных дрем.

Улица Богграда коротка —
Улицу обрезала река,
И текут из бурной Ангары
Сны-ручьи в соседние дворы.

Не ходи и берег не топчи,
Сон мой, потерявшийся в ночи,
Ты вернись, спаси и успокой
Душу за потерянной рекой.

* * *

Отгорает Венера свечой в полутьме,
Как помарка Малевича на полотне,
Словно подпись на «Черном квадрате».

А в моем приоткрытом немывом окне
Ее блеск так тревожно мерещится мне,
Словно вести о новой утрате.

Никогда не гляди сквозь стекло в темноту —
Или в небе увидишь планету не ту,
Или звезды увидишь чужие.

Выпей рюмку анисовой и закуси,
Сигарету в цветочном горшке загаси.

Не спеши уходить от друзей за черту —
Мы пока что чертовски живые.

* * *

Умирает огонек кометы.
За рекой гудит стальной Транссиб.
Мы живем на левой тверди Леты —
Сдуло нас с дороги на отшиб.
Жизнь летит, как дым от сигаретки, —
Докурить и выбросить в окно.
Мы в своей квартирке — детки в клетке,
А за речкой не про нас кино.
Там летит по гулким рельсам пульман
Со звездой на голубом боку
Из Москвы в Пекин искристой пулей
Или из Хабаровска в Баку.
И тогда спешат ему навстречу
Поезда, деревья, города...
Грусть провинциальную не лечат
Даже уходящие года.
Даже винопитие и книги
Не спасают от пустых надежд
Выйти в высший свет из сельской лиги
Местечковых заспанных невежд.
Что в остатке? Зависть и осадки
На ближайший месяц или три.
Сигаретный дым. И пальма в кадке.
И мечта проклятая внутри.

* * *

Читай на шершавой поверхности вод
Старинный, как мир и война, перевод
Картин «Илиады» Гомера.
И взглядом лови, как по водам идет,
Куда-то спеша, все вперед и вперед,
Звезда и богиня — Венера.
Услышав ее неземные шаги,



Глаза от ее красоты береги,
Спасая и зренья, и разум, —
Смотри, как глядят в синеву моряки
На марсе смотрящие, — из-под руки
На солнце и на море разом.
Она пробежит, словно рябь по волнам,
Оставив лишь страсть бесполезную нам,
Печаль и бессильную муку
Той недостижимой и сладкой любви,
Которую сколько лови не лови,
Нехватишь как вора за руку.
Пора возвращать свои мысли назад,
Туда, где ахейцы под Троей стоят,
Где в море на рейде триеры
Видны потерявшему ум мудрецу —
Слепому Гомеру — певцу и лжецу,
Узревшему прелесть Венеры.



Литературный конкурс «Иду на грозу»

Елена СЕМАКИНА

БОГ — ЭТО ВЕРА В ЛЮДЕЙ

Записки учителя

Ненавижу вашу литературу!

На любом уроке, независимо от очередности, предмета или учителя, Бронька могла уснуть в любом положении. Особенно сладко спала она, если удавалось спрятаться за широкой спиной Матвея. Тогда она могла тихонько прикорнуть прямо на парте и блаженно провалиться в небытие, пока учитель не замечал этого. А заметить он мог нескоро, если кто-нибудь отвечал у доски или если учитель, не чуявший своих ног к шестому или седьмому уроку, садился за свой стол, а не бегал, как надсмотрщик, по классу.

Бронька, которую я вырывала из объятий сна на своих уроках, строила невероятно свирепые рожи. Сначала я смеялась над этим:

— Очень страшно, Бронь, тебе в античном театре даже маска не понадобилась бы!

— Невероятно трагично, Шекспир бы оценил!

— Знакомьтесь: чемпион по прожиганию взглядом дырок в собеседнике!

Но постепенно запас моих шуток истощился, и вечно сонная и недовольная физиономия Броньки стала меня потихоньку бесить. Так началась моя борьба с Бронькой за ее бодрствование. С переменным успехом были опробованы разнообразные приемы кнута и пряника (конечно, без непосредственного применения этих предметов). Разбуженная мной Бронька могла хамить и демонстративно отказываться писать в тетради, даже если я стояла над ее душой, или неожиданно поднимать руку и бойко отвечать, на лету схватывая учебный материал, — никаких закономерностей не было. Пересадка на первую парту тоже не дала явного эффекта. Выяснение, что она делает по ночам, обычно заканчивалось уверениями, что крепко спит. Я была не на шутку озадачена.



Я всегда стараюсь привлекать родителей к разрешению конфликтной ситуации в самом крайнем случае, обычно справляюсь без них. Но тут мне показалось, что без родителей не обойтись. Правда, вскоре я поняла, что и они бессильны перед гипнотическим сном Броньки. Разговоры с мамой сводились к следующему.

— Броня опять сегодня спала на уроке, а когда разбудили, упорно не желала ничего делать, дерзила. Так как тему не поняла, за проверочную работу тройку получила.

— Да, это она у нас в папу. Он тоже конфликтовал с учителями, а потом экстерном два курса института окончил.

— Вы предлагаете ничего не делать и подождать, пока она созреет до экстерна?

— Нет, конечно, я поговорю с ней. Мы с ней постоянно на эту тему разговариваем, она обещает вести себя нормально и не спать на уроках.

— И желательно не хамить. Может быть, вам стоит продумать еще раз ее режим дня? Вы знаете, что она у вас не спит иногда до часу, а то и до двух ночи? Конечно, после этого она клюет носом на уроках.

— Да нет, она спать ложится в десять, самое позднее в одиннадцать, компьютер мы перед сном выключаем.

Мама лукавит: существует смартфон, и Бронька не раз после десяти часов вечера только интересовалась в чате у одноклассников, что задали на дом, и мне это было видно. Мама много работает, и у нее, конечно, часто не хватает ни сил, ни времени на то, чтобы контролировать неорганизованную Броньку. У мамы глаза умные и страдающие. И они говорят то, о чем она молчит сама: «Я тоже ничего не могу сделать!» В конце концов она признается:

— Бывает, конечно, что тренировки или соревнования заканчиваются поздно, а проходят они долго, и Бронислава очень устает, а после них еще уроки приходится делать.

Бронька, конечно, чрезвычайно интересная личность. Она шахматистка, причем очень способная. Постоянно играет на каких-то соревнованиях и получает призовые денежные суммы, воспринимая их практически как собственную зарплату. Для чего ей правило о различении суффиксов *-ек-* и *-ик-*? Наверное, я отстала от жизни, но мне кажется, что денежные призы развращают детские души, а излишняя меркантильность в ребенке меня настораживает. Может, поэтому я всю жизнь бессребреница?

Как все потенциальные гении, Бронька постоянно пренебрегает условностями: может ходить по кабинету в одних носках, если она устала от обуви, или задрать ноги на стул так, что непонятно, для чего вообще нужна юбка. Надо сказать, юбка и вечно растрепанные косы — пожалуй, немного, сообщающее о том, что Бронька девочка. Она и общается на переменах в основном с мальчишками, погружаясь с ними в мобильные стрелялки или бродилки.

Опять же как все потенциальные гении, Бронька рассеянна до невозможности. Например, она с легкостью и неоднократно

забывала в школе пакет с уличной обувью и не искала его несколько дней, причем в любое время года. Для меня всегда было загадкой, как Бронька шествовала по снегу до машины и не замечала, что ее обувь не соответствует двадцатиградусному морозу. Правда, мама, которая сидела за рулем машины, видимо, торопилась и тоже не всегда это замечала, поэтому ей легче было завести дочери несколько пар обуви на каждый сезон, чем постоянно ее контролировать. Зимние сапоги Броньки могли неделями сиротливо стоять в уголке кабинета, пока я сама не вручала их ей непосредственно перед выходом из школы.

Обладая бесспорным аналитическим умом и хорошим словарным запасом, Бронька умеет долго и убедительно рассуждать. Поэтому, когда она не спит и у нее хорошее настроение, на уроках литературы класс уважительно слушает Бронькины монологи.

— Я считаю, что Маша отказала Дубровскому потому, что имела ложные представления об обязанностях. Их ей вбивали с самого детства. В своей семье она была под постоянным прессингом, Троекуров просто задавил ее как личность. Почему она вышла замуж за князя Вереяского? Потому что так папа сказал. Но ведь это ее жизнь, и никто не вправе решать, с кем ее прожить, кроме нее самой! Почему она не выпрыгнула в окно, когда ее заперли в комнате? Я бы так и сделала! Зачем она дала кольцо брату, который ничего не понимал и случайно ее выдал? Нужно было все делать самой! А она привыкла, что всю жизнь за нее все делали слуги, а решал батюшка! Курица ваша Маша, а не женский идеал! Недостойна она Дубровского! Он медведя не испугался, а она папеньку боится и какого-то бога!

Причем нить Бронькиных рассуждений могла плестись бесконечно, к радости всех бездельников, не читавших книги: теоретически до конца урока, фактически до того момента, когда я ее хвалила и прерывала, чтобы послушать хоть кого-то еще.

Не сказать, чтобы у нас с Бронькой было серьезное недопонимание. Я с удовольствием слушала ее ответы, хвалила за все, за что только можно было. Она часто подходила ко мне сама, что-то показывала или делилась своими успехами. Могла подкрасться хитрой лисой и обнять меня за плечи, возвещая, что я самый добрый и вообще лучший учитель. Но, как только на уроке ее подкашивал сон, я становилась врагом номер один, с которым не стоило любезничать.

Писать каждый раз, когда Бронька засыпала на уроке и не хотела учиться, маме, как она просила, было утомительно и малоэффективно. С переменным успехом я тормозила Броньку, каждый день наши отношения балансировали между выговором и похвалой. И вот однажды я не выдержала: после того как сосед Броньки не смог растолкать ее, мирно спящую на парте, я просто зафиксировала это положение на фото и без комментариев отправила его маме.

На следующий день Бронька явилась мрачнее тучи. Не поздоровавшись со мной, молча проследовала к своей парте и, швырнув сумку, улеглась в трагической позе. Я сделала вид, что не заметила ее



невоспитанности. Но на уроке, когда я попыталась вовлечь ее в общую работу, она стала так отчаянно хамить, что это было чересчур даже для нее:

— Какая вам разница, пишу я или не пишу? Что вы ко мне привязались?

Или:

— Мало ли, что вы сказали!

Мои нервы не выдержали, и я повысила голос, готовый предательски задрожать от обиды:

— Не стоит со мной разговаривать в подобном тоне! Это некрасиво! Будь добра после урока остаться для серьезного разговора!

Бронька фыркнула в ответ и даже попыталась после урока увильнуть, но, так как она невероятная копуша и очень долго собирает вещи, мне без труда удалось выпроводить остальных детей из кабинета и остаться с ней наедине.

— Броня, объясни, пожалуйста, что случилось?

— Ничего!

— Как ничего? Мне только два дня назад казалось, что ты работаешь над собой и многому научилась. Какая муха тебя укусила?

— Не муха, а мама! Зачем вы отправили ей фотографию? Кто дал вам право без моего разрешения меня фотографировать?

— Меня об этом давно уже просила твоя мама, потому что сказанное ты с легкостью отрицаешь, а фото — это уже неоспоримое доказательство.

— Ну, вы можете быть довольны: мама меня отругала и дала мне пощечину. Вы этого добивались?

— Нет, Броня, не этого. Пощечина, конечно, не самый лучший инструмент воспитания, но, может, ты маму уже вывела из себя? Может, ты ей хамила так же, как и мне сегодня, а может, еще хуже?

— А то, что у меня настроение плохое, вообще никого не интересует? Может, мне так плохо, что я видеть никого не хочу?

— Броня, у меня тоже бывает плохое настроение, как и у каждого человека. Ты хоть раз видела, чтобы я его на ком-нибудь срывала? Разве я виновата в твоём плохом настроении?

— Это все из-за мамы, у нее проблемы, и я за нее переживаю.

— Что-то случилось?

— Я не могу вам сказать!

— Хорошо, не говори. Но тебе обязательно нужно поговорить об этом с мамой и рассказать ей о своих переживаниях.

— Зачем? Ей все равно, что у меня на душе! Ей главное, чтобы на меня не жаловались и оценки нормальные были!

— Неправда. Мама за тебя очень переживает. Хочешь, я с ней поговорю?

— Да что вы привязались ко мне? — взбеленилась Бронька. — Что вы в душу ко мне вечно лезете? Да я вас терпеть не могу! А вашу литературу просто ненавижу!

Она схватила портфель и бросилась из класса, оставив на парте учебник, а под партой — пакет с уличной обувью. Как только за ней

хлопнула дверь, у меня, как у клоуна в цирке, брызнули из глаз струйки слез. Остановить этот поток я была не в силах и, закрыв от бушующего на перемене школьного коридора дверь на шпингалет, предалась безутешному горю, благо перемена была длинная.

Каждый раз, когда в мой адрес выплескивается какая-то неожиданная гадость, защитный панцирь, который я так старательно все время наращиваю, дает брешь, причем значительную, после которой я совершенно больная хожу минимум неделю. Каждый раз мой внутренний монолог примерно одинаков: «Господи, почему это произошло со мной? За что? Я ведь не сделала ему (ей, им) ничего, кроме добра?» Так происходило и в этот раз.

Я, конечно, понимала, что Бронька сказала свои слова в сердцах, что она о них пожалеет, что она сама нуждается в помощи и поддержке. Но слезы катились неудержимо, мое дурацкое желание всем нравиться было жестоко уязвлено.

Следующие два дня я, сдерживая закипающие слезы, игнорировала Бронькины попытки реабилитироваться в моих глазах. Я не замечала ее поднятой руки и спрашивала других. Я поворачивалась к монитору, когда она подходила к моему столу. Я уходила на больших переменах из кабинета, чтобы не оказаться вынужденной отвечать на ее возможные вопросы. Обида душила меня до тех пор, пока вечером второго дня не позвонила Бронькина мама и не сказала:

— Бронька плачет, говорит, что очень вас обидела.

— Она рассказала какие-то подробности? — поинтересовалась я.

— Нет, она просто не знает теперь, как у вас попросить прощения, говорит, что вы не хотите с ней разговаривать.

— Ну, я же не мешаю ей говорить. Просто, может, пока мужества не хватает?

— Я ей так и сказала. Она обещала, что обязательно извинится перед вами.

— Хорошо, я очень на это надеюсь.

— Вы мне напишите, когда она извинится. Для меня это важно.

— Да, конечно. Я понимаю, что вы, как и я, очень расстроены. Но ничего страшного не произошло, если она сама сожалеет о случившемся. Будем учить Броню справляться с негативными эмоциями.

Я положила трубку и почувствовала, как где-то глубоко внутри меня тает маленькая льдинка. «Какая же ты дура, Бронька!» — ласково сказала я тьме за окном. Тьма ответила мне эхом, поменяв только имя на мое собственное.

На следующий день после урока в 6 «Б» Бронька дождалась, когда одноклассники выйдут из кабинета, сама закрыла дверь на шпингалет и подошла к моему столу. Ее била мелкая дрожь, выразительная мордашка скорчилась в болезненной гримасе. У меня сердце разрывалось от жалости, но я заставила себя молчать, давая право Броньке заговорить первой.

— Елена Славовна, простите меня, я не хотела вас обидеть, — выдала из себя несчастная.

— Точно не хотела?



— Точно. Понимаете, у меня просто характер дурной, иногда удержаться не могу, — сглотнула комок в горле и всхлипнула.

— Бронь, вот скажи, я тебя чем-нибудь обидела?

— Не-е-ет! — зарыдала во весь голос Бронька и вцепилась в меня.

Я обнимала бедную неразумную Броньку, эту нахальную и ранимую пигалицу, раздираемую противоречиями, гладила ее по макушке и неторопливо увещевала:

— Никто не должен терпеть грубости. Никто не обязан подстраиваться под твое плохое настроение. Может, но не обязан — помни об этом. Нужно уважать людей, уважать их интересы. Если научишься этому — тогда и обижать их перестанешь, и сдерживать свой характер сможешь.

— Я не смогу, — выла вздох Бронька.

— Сможешь. Ты умная... Ты справедливая... Ты смелая...

— Почему?

— Что почему?

— Почему смелая?

— Потому что сумела признать свою ошибку и сама первая завела об этом разговор. Не каждый способен на это, ведь проще промолчать.

— Нет, не проще.

— Это потому что у тебя есть совесть. И это, Бронечка, возможно, самое важное.

Бронька уже успокаивалась, размазывая сопли и слезы не по моей одежде, а по собственному лицу. Я вытащила из стола салфетку. В двери кабинета начал беззастенчиво ломиться следующий класс.

— Ни фиги себе, какая у народа тяга к знаниям! — улыбнулась, утираясь салфеткой, Бронька.

— Да, как видишь, пришлось даже щеколду поставить, — улыбнулась я в ответ.

— Так говорили же, что щеколды от террористов?

— А ты видела в школе каких-то других террористов, кроме наших учеников?

Бронька счастливо рассмеялась, а я уже направилась к подрагивающей двери. Щелкнул под моей рукой шпингалет — и тут же, как по мановению волшебной палочки, прекратился прорыв в обитель знаний: со мной уже чинно здоровались обормоты из 6 «А», которые искренне удивились бы, если бы у них спросили, кто только что выламывал дверь.

Пропустив поток всех жаждущих обрести знания, Бронька махнула мне рукой и побежала на следующий урок. Пакет с обувью опять остался под ее партой.

Перестала ли Бронька после этого спать на моих уроках? Нет, не перестала, но старается делать это реже. Корчит ли она рожи, проснувшись? Конечно, одна другой краше. Но она очень старается не сорваться, не нахамить. Часто это даже получается. Раскаяние, как и прощение, не всегда одномоментны. Их нужно прожить, ими нужно переболеть, и это в нашей истории касалось не только Броньки.

Видимо, в благодарность за мое понимание она самоотверженно вызвалась сыграть самую трудную роль в новогоднем спектакле — роль Снеговика. Никто не хотел браться за нее из-за того, что нужно было учить много слов. Бронька не испугалась и каждый раз на репетиции беззастенчиво перевирала свои реплики, импровизируя на ходу. Я сердилась и хохотала — Бронька дурачилась, оценив великое обаяние театра. На выступлении, облачившись в потрясающий костюм, сшитой ее мамой, Бронька была неотразима.

Когда я бужу ее в очередной раз на уроке, представляю себе это воодушевленное, смешное и трогательное создание с морковным носом — и знаете? — очень помогает сохранять количество нервных клеток, необходимых для того, чтобы не опустить руки в моей нелегкой профессии.

Коридорное обучение

Данька — один из тех, кого сегодня принято называть гиперактивным ребенком. Высидеть целый урок на одном месте, записывая вместе с классом целые предложения и благовоспитанно отвечая на вопросы, он просто не в состоянии. Он изо всех сил старается держаться после звонка, но максимум через 5 минут у него случается приступ словесного поноса, неудержимого и беспощадного. Раньше первой принимала удар, конечно же, соседка по парте, терпению которой я могу только позавидовать. Анна — биатлонистка и, когда поток слов ее соседа превышал все разумные пределы, била прямо в глаз. Во избежание возможного членовредительства на своих уроках я в итоге разрешила ей сидеть на другой парте.

Но есть же соседи впереди, сзади и по бокам, а сдержанность не входит в число добродетелей нынешних детей. Поэтому Даньке все равно от кого-нибудь постоянно прилетает: редко на уроках (все-таки не совсем потеряно уважение к учителю), но почти всегда на переменах. Соседи в радиусе двух парт нервно скрипят зубами и бережно копят раздражение, вызванное невыносимым одноклассником, до звонка с урока. Редкая перемена у Даньки обходится без подзатыльников, классических оплеух учебником по многострадальной кудрявой голове и даже мимолетных потасовок, которые я стараюсь тут же пресекать. Данька мечется по классу и коридору от одного недоброжелателя к другому. Собственно, он достиг того, чего так жаждал: привлек к себе внимание максимально возможного количества человек.

Мое внимание — это тоже предмет неустанных ухищрений Даньки. Если он пришел на урок с выполненным домашним заданием, что бывает нечасто, то занятие начинается с его выкриков:

— Я! Я! Я!

При этом он тянет руку и подскакивает так, что однажды резинка на штанах не выдержала и они чуть не свалились ко всеобщему восторгу аудитории. Причем восторг испытали не только зрители, но и сам



Данька, нисколько не смутившись от произошедшего, а лишь подтянув одной рукой сползающие штаны.

— Даня, я — последняя буква в алфавите!

— А! А! А!

— Ну, прямо вылитый булгаковский Шариков.

— А кто это?

— Собрат по разуму, не иначе.

Шестиклассник Данька, конечно же, не читал еще «Собачье сердце», но и подвоха в моих словах не чувствует. Его распирает от гордости за то, что он завладел моим вниманием.

— Я хочу ответить домашнее задание! Я готов!

— Даня, всем уже страшно от того, что будет, когда поток твоих знаний вырвется наружу...

— Я знаю! Я! Я!

Если я давала Даньке право ответа, он начинал тараторить с такой скоростью и упоением, как будто боялся, споткнувшись, забыть нужные слова и потерять из-за этого возможность блеснуть знаниями. Если же я спрашивала другого ученика, Данька расстраивался, но не сильно, и тут же терял интерес к орфограммам и разборам и начинал терроризировать своих соседей.

Все произошедшее с Данькой тут же становилось достоянием общественности. Причем инициатором этого был он сам. Ни один свой секрет он не мог удержать за зубами, а если секрет был приятный, то он тут же адресовался мне.

— Елена Славовна, а что делать, если тебя девочка поцеловала?

— Наслаждаться осознанием собственной неотразимости.

— Ну, вот это я вчера и делал! Представляете? У меня теперь девочка есть!

— Не представляю, Даня. Как она, бедная, вынесет бесконечный поток твоего сознания? Очень переживаю за нее.

— А за меня?

— Ну, я же девочку не знаю. Возможно, она обладает такими достоинствами, перед которыми меркнут даже твои. Но ты в любом случае ее побереги, иначе она не только целовать не будет, а просто сбежит.

— Я ее знаете, как беречь буду? Я вчера ей свой свитер отдал, когда она замерзла.

— Молодец!

— А еще отдал ей все конфеты, которые у меня были.

— Ну как же ей было после всего этого тебя не поцеловать?!

Рот до ушей от распирающего его счастья, темно-карие глаза в лукавом прищуре, забавные вихры на макушке, восторженные рассказы взхлеб о том, что с ним произошло чудесного, — я наблюдала за ним и думала, что этот чертенок для мамы не только горе луковое, но и солнце красное. Я ведь сейчас тоже грелась в его лучах, благо на перемене не нужно было заставлять его учиться.

Но звенел звонок на урок — и Данькина любовь к жизни превращалась в фейерверк пустословия. Не нужно быть опытным педагогом,

чтобы понять, что вести урок, когда в классе сидит такой Данька, — испытание не для слабонервных. В ответ на замечания он не хамил, наоборот, с готовностью выражал согласие:

— Всё-всё-всё! Понял! — делал движение, как будто закрывает рот на замок-молнию, и через пару минут продолжал выводить из себя весь класс.

Я пересаживала его. Стояла рядом, пока все выполняли какое-то задание самостоятельно. Давала индивидуальные задания. Хвалила за все, что только можно было. Отпускала его пройтись по коридору и зайти в класс, когда он успокоится...

Однажды наступил предел моему терпению, и я, отпуская его в коридор, сказала твердо:

— Все, можешь в класс не возвращаться!

— Как это? — переполошился Данька. — А как же урок? Я же ничему не научусь!

— Ты и так ничему не учишься! Так что для тебя мало что изменится.

— Нет, я не могу так, я маме обещал...

— Ну, если маме обещал... Тогда сегодня ты учишься в коридоре! — вдруг приняла я решение. — Я думаю, это единственный выход из сложившейся ситуации, чтобы другие тоже могли учиться.

— А это как — в коридоре?

— А вот так! Бери учебник, тетрадь, пенал — и садись на лавочку в коридоре перед нашей дверью.

— Прикольно! — обрадовался Данька, как будто я предлагала ему поучаствовать в новой игре, забрал все свои учебные принадлежности и вальяжно расположился на мягкой лавочке.

— Ну что, нравится? — поинтересовалась я в распахнутую дверь класса.

— Ага!

— Я тебе сейчас дам что-нибудь твердое подложить, чтобы писать было удобно.

— Да и так все нормально, Елена Славовна, ничего не нужно.

— Точно?

— Точно!

— Ну и отлично, — я обернулась к классу. — Продолжаем урок. Откройте учебник на странице 63 (*боковым зрением увидела, что Даня открыл учебник и ищет нужную страницу*), найдите упражнение 150 (*он открыл то, что я просила!*). Давайте вспомним правила написания мягкого знака после шипящих на конце слова (*подняли руки Мирра, Слава и... Даня в коридоре!*). Слушаю, Мирра! (*Мирра начала отвечать, но голосок у нее тихий, и Даня встал в коридоре с лавочки и подошел, чтобы лучше услышать ее, конечно, не удержался и заглянул в класс, по которому тут же прокатились сдержанные смешки.*) Спасибо, Мирра, садись. Даня тоже садится на свое место (*вернулся, сел на лавочку, взял тетрадь с ручкой, изображая готовность усердно писать*).

Миррин ответ сначала дополнил Слава, потом я подвела итоги и предложила:





— А теперь давайте составим алгоритм «Написание мягкого знака после шипящих на конце слова» для всех частей речи. Такой, чтобы, следуя ему, вы никогда не ошибались. Итак, каким будет наш первый шаг?

Даня тут же взметнул руку вверх, и я милостиво разрешила ему ответить.

— В мужском роде он мой — без мягкого знака, — растянув улыбку от уха до уха, старательно проговорил довольный своими познаниями Данька.

— Спасибо. А что, в женском роде существительные все с мягким знаком пишутся?

— Да!

— И в слове «задач»? Например, в учебнике математики много задач.

— Да... Ой, нет!

— Кроме того, мы сейчас говорим только о существительных. А как же другие части речи? Значит, нужно с чего-то другого начинать?

Я продолжила обсуждение уже со всеми остальными детьми, и постепенно на доске рождался необходимый нам алгоритм. Данька встал в дверях, чтобы лучше видеть доску, и перерисовывал этот алгоритм в тетрадь.

— Ты хочешь вернуться в класс? — удивилась я.

— Не-е, — улыбнулся Данька, — я же в коридоре учусь.

Перерисовав алгоритм, он опять сел на лавочку и, пока класс выполнял упражнение, занимался тем же. Урок подошел к концу без его воплей и перепалок с классом. Самое удивительное, что и сам Данька был доволен. Он с гордостью показал мне то, что записал на уроке. Как обычно, почерк был не то что как курица лапой — как цыпленок крыльями. Но я на детских каракулях собаку съела — поэтому тут же увидела четыре ошибки. Но ведь написал же все!

— Какой ты, Даня, молодец! Все писал, старался, даже ошибок почти не сделал. Вот только здесь (*показываю*), здесь, здесь и здесь. Я смотрю, тебе коридорное-то обучение понравилось?

— Ага! — расплылся Даня в своей неотразимой улыбке. — И лавочка мягкая...

С тех пор у нас повелось так: как только Даню сражал приступ известной еще Толстому школьной болезни «не могу молчать» и не помогали известные всем способы поддержания дисциплины — он отправлялся в коридор. Я понимаю, что такая форма обучения не прописана в, прости господи, ФГОСах, но для моего чересчур жизнерадостного и подвижного ученика она порой просто необходима. Когда Даня идет в очередной раз учиться в коридор, он преисполнен гордости. И дело не в том, что там лавочка мягкая, а в том, что в этот момент он чувствует себя особенным, исключительным, а он, собственно, этого и добивался.

Когда порой мне говорят, что я работаю много лет и уж точно знаю все секреты обучения и воспитания, — я искренне удивляюсь. Потому что знаете, какой главный секрет я узнала за годы работы в школе? Что все дети разные. И это замечательно.

Вопросы веры

— Пам-м! — раздался звук уведомления на смартфоне, когда я намазывала руки кремом перед сном.

— Кто тебе там пишет, когда все приличные люди, трудившиеся, между прочим, не покладая рук, ложатся спать? — проворчал муж, который уже удобно устроился под одеялом с твердым намерением отоспаться после благополучного завершения проекта прошедшей ночью.

— Дети или их родители, — не задумываясь, ответила я и посмотрела на экран смартфона. — Вернее, одна неумемная родительница.

— Чего пишет?

— Сейчас прочитаю. «Мы верим в Бога! Мы свято чтим Отца Сына Иисуса Христа и Святого Духа...»

— Она тебя в религиозную секту вербует, что ли?

— Пока не знаю. Слушай дальше: «Мы читаем Библию и то что пишут в этой сказке это оскорбление Бога...» Интересно, она вообще знает о существовании знаков препинания? Ладно, дальше: «здесь пишут что люди молились Богу и Он дал им ребёнка через рождение от коровы...» Ага, понятно.

— Чего тебе понятно?

— Это она про сказку «Иван Быкович», которую я пятиклассникам дополнительно задала читать дома. Хотела поговорить с ними об исторических корнях волшебной сказки. Там царица, которая не могла забеременеть, увидела сон про златоперого ерша. Если того ерша съесть, то ее мечта исполнится. Она так и сделала, но посуду за ней кухарка подлизала, а корова помой выпила — и все три, как в наших сказках говорится, забрюхатели и разрешились тремя сыновьями с традиционными русскими именами: Иваном-царевичем, Иваном кухаркиным сыном и, соответственно, Иваном Быковичем.

— Ну и чем возмущена твоя родительница?

— Ты же слышал: тем, что, как она пишет, люди молились богу и он им дал ребенка через рождение от коровы.

— Так богу-то царица молилась, а не корова. Где логика у твоей родительницы?

— Ну я же не могу ее об этом спросить. Для нее это — цитирую — «богохульство, грех... бесовщина, которой нечего детям голову забивать», поэтому она своей дочери запретила читать эту сказку.

— Бред какой-то! И нечего на него отвечать!

— Ну что поделать, раз у меня работа такая?

— Какая работа? По ночам на дурацкие сообщения отвечать? Она знает, что сказки родом вообще из языческих времен? Так что никто ее христианского бога и не думал оскорблять!

— Согласна, я ей примерно это уже и написала. *(Вновь звук уведомления, открываю.)* А она мне пишет, что Бог не игрушка и о нем нельзя так даже в сказках писать!

— Слушай, да это просто фанатичка. Вообще ничего ей не отвечай — себе дороже!



— Наверное, ты прав. Сейчас последнее напишу — и всё.

— И что ты ей написала?

— Что сказки — часть нашей культуры, но, если они о ней ничего не хотят знать, пусть не читают. Она же по поводу домашнего задания это все писала.

— Весь сон мне сбили своим религиозным диспутом! — буркнул муж и отправился на веранду к пепельнице восстанавливать душевное равновесие.

— Ну прости!

Я легла в постель и задумалась о том, почему мне так трудно порой общаться с воцерковленными людьми. Я ничего не имею против религии и церкви, каждому свое, я даже завидую уверенности верующих в том, что они знают, как нужно жить. Я вот не могу этим похвастаться. Но почему же они так нетерпимы порой к нам, не обретшим этой веры? Считается, что общество должно проявлять уважение к чувствам верующих, но почему-то они по большей части не выказывают того же по отношению к чувствам нерелигиозных людей, достаточно агрессивно защищая свои идеалы. Почему мне Олина мама может выговорить, что я детям бесовщиной голову забиваю, а я не могу ей сказать, что ее религиозная блажь — это насилие над детской душой?

Дальнейшая история наших взаимоотношений с фанатично религиозной мамой после этого эпизода складывалась нелегко. Во всем ей мерещилась чертовщина, однажды даже в игровом задании по информатике. Суть была в том, что изначальное число, прошедшее через определенные действия алгоритма, на выходе получалось другим. «Это бесовщина!» — заявила Олина мама, запретив дочери выполнять задание, чем до глубины души потрясла учителя информатики.

Пересказ эпизода полета Вакулы на черте в качестве домашнего задания по литературе был категорически отвергнут. Я уже потом поняла, что слова «черт», «бес» и прочее были для Олиной мамы как красная тряпка для быка. Вычеркнуть из художественных текстов я их не могла, вступать с ней в пререкания не имело никакого смысла. Порой эти бедные «черты» вываливались совершенно неожиданно из самых разных мест и доводили фанатичную родительницу до яростного протеста, а мое терпение — до высшей точки кипения. Черты спешили к нам со всех сторон, и Олина мама тут же вступала с ними в схватку, ведя об этом репортаж в присланных мне сообщениях и по-прежнему игнорируя знаки препинания:

«Скажите пожалуйста можно фразеологизм в домашнем задании тот который есть заменить на другой?»

«Это тренировочный вариант ВПР. Как я могу заменить фразеологизм из задания?»

«Что же они про чертей пишут... есть же другие хорошие фразеологизмы...я не разрешаю Оле делать это задание».

«У нас светская школа. Если вы хотите дать Оле именно религиозное образование, возможно, стоит обратиться в учебное заведение, которое этим занимается. Фразеологизмы и про бога, и про чертей существуют

в русском языке независимо от религиозных взглядов людей и не наносят никакого ущерба ни верующим, ни атеистам».

Фразеологизм был, чтоб вы понимали, «в тихом омуте черти водятся». Надо сказать, что, если бы мама попыталась узнать по-настоящему свою истинную христианку Олечку, она бы удивилась, поняв, что этот фразеологизм имеет к той прямое отношение. Хотя нет, она ведь вела войну с чертями по всем фронтам, так что рядом с Олей они никак не могли оказаться. Наверное, поэтому она ни слова не написала, когда я выложила в родительской группе фото с перепиской класса, на котором Олечкиным хорошо узнаваемым почерком была написана отборная матерщина.

Листочек я обнаружила случайно. Это произошло в тот период ковидного идиотизма, когда класс сидел весь день в одном кабинете, а учитель высунув язык носился с учебниками, стопками тетрадей и другими необходимыми для учебы предметами (например, химики с кучей пробирок и реактивами) по этажам. То, что дети на переменах бегали по коридору и дышали друг на друга бациллами, чиновниками не учитывалось. Однажды я задержалась после урока в 11 классе и пришла в свой кабинет, когда мои пятиклассники уже испарились оттуда. Кабинет имел вид настоящего Мамаева побоища: парты стояли в произвольном порядке, из нескольких стульев составлен помост для победителей, поле сражения усеяно остатками невостребованного добра — фантиками, огрызками, недоеденными булочками, скомканными бумажками. На последней же парте меня ждала летописная грамотка, по которой любой носитель языка мог оценить виртуозное владение школьниками старинной русской бранью. В их числе была и Оля из набожной семьи, которая не может даже слова «черт» написать. Мама Оли, увидев фото этой переписки, сделала вид, что к ней она не имеет никакого отношения. Но я-то все детские почерки по одной закорючке узнаю.

Знаете, я не была удивлена ни лицемерием мамы, ни сквернословием Оли. Потому что чем яростнее ребенку что-то запрещать и подавлять его, тем больше его интерес ко всему запретному. Пружина Олиной личности, которую ее мама сжала в религиозных тисках, скоро может выстрелить так, что припомнятся все якобы побежденные черти.

Оля не могла общаться с одноклассниками в чате, потому что интернет был для нее запрещен. По субботам и воскресеньям Оля, конечно же, должна была посещать храм, поэтому она не ходила с одноклассниками ни в один поход, не ездила ни в одну поездку, с завистью слушая потом, как здорово она могла бы провести время. Очевидно, бог в понимании Олиной мамы постоянно нуждался в присутствии девочки в церкви, а веселые игры на свежем воздухе или просмотры нерелигиозных театральных постановок представлялись серьезным соблазном для неокрепшей юной души.

У подчеркнуто благочестивой и какой-то замороженной внешне мамы была на удивление живая и веселая девочка, которая свою подавленную активность выплескивала на уроках в школе. Она постоянно поднимала



руку, чтобы ее спросили, при этом много болтала и отвлекалась, приносила в школу какие-то бесконечные бирюльки — перышки, скрепочки, магнитики, пружинки — и играла с ними на уроках, не забывая делиться со всеми соседями. Однажды, когда я ее пересадила на первую парту, она буквально через пару минут у меня под носом организовала с новой соседкой игру в «морской бой».

Я всегда стараюсь относиться к подобным шалостям детей с юмором, твердо заставляя их при этом вернуться к работе. В подобном шутовском ключе я чаще всего об этом рассказываю и родителям. Так было и в этот раз на родительском собрании, где мы обсуждали вопросы дисциплины на уроках. У нас мамой Оли оказалось разное чувство юмора, о чем можно было уже догадаться, но чтобы настолько разное... Когда я, выпотрошив до дна все свои положительные эмоции, глубоким вечером вернулась домой и упала на диван, раздалось очередное памканье смартфона.

«Сижу дома и реву о том что услышала на собрании об Оле. Скажите пожалуйста в ней есть хоть что то хорошее?»

Не успела я опомниться от неожиданной реакции мамы (хотя вот в эту минуту я окончательно поняла, что именно этого и надо было ожидать), как пришло продолжение:

«Я служу в церкви с подростками и точно знаю что нет дисциплины в группе это проблема учителя, а не детей. А высмеивать поведение детей при общем собрании родителей это очень больно для родителей».

Муж угрюмо разогревал запоздалый ужин и бурчал что-то про мою дебильную работу, где выносят мозги 24 на 7, а я, подавляя распиравшее меня озверение, упражнялась в смирении гордыни:

«Я на собрании не сказала ничего плохого об Оле, подчеркнула ее активность, которая выражается в стремлении и ответить, и поиграть с посторонними вещами, и пошалить. Ни в коем случае я не высмеивала ее поведение, просто стараюсь ко многим ситуациям относиться с юмором. Очевидно, у нас с вами разное чувство юмора. Извините, если некоторые мои слова показались вам обидными. По поводу проблем с дисциплиной я с вами не согласна: это проблема не только учителя, но и детей. Обвинять во всем учителя — значит, снимать ответственность с ребенка. Я считаю, что каждый должен отвечать за свои поступки, иначе у детей возникает ощущение вседозволенности. На будущее я учту наше сегодняшнее недопонимание и об Оле буду говорить только лично с вами».

— Офигеть! — сказал муж, заглянув мне через плечо. — Ударим корректностью по родительскому маразму!

— Всё-всё! Больше не буду отвечать! — заверила я, выключая смартфон.

Но Олина мама, подавленная моей корректностью, безмолвствовала.

Я давно заметила, что побаиваюсь людей без чувства юмора. Им доступен только прямой смысл слов. В любой шутке им видится поправление святынь. Их представления о намерениях людей однозначны, зато умение высосать из пальца проблему безгранично.

Однажды, когда мы с шестиклассниками прочитали в учебнике «Вредные советы» Григория Остера, посмеялись и обсудили, по какому принципу они пишутся, я предложила детям дома создать свои «вредные советы». Конечно же, слово «вредные» стало поводом для вечерней переписки (чем же мне еще заняться вечером?).

«Можно Оля напишет не вредные советы, а добрые».

Далее последовало фото листка, на котором отнюдь не Олиным почерком было написано:

Даю совет ребятам,
Как быть мудрыми и долго жить
Уважайте друзья и слушайтесь родителей своих.

— Так вот она какая, мудрость жизни! Какое там безумство храбрых? Ну что ж, ожидаемо, — констатировала я и внесла очередную лепту в абсолютно бесперспективное просвещение религиозных на всю голову родителей:

«Цель “вредных” советов исключительно положительная. Это юмористическая форма. Развивать чувство юмора очень полезно».

Хотела еще приписать цитату из пьесы Горина: «Серьезное лицо — еще не признак ума, господа. Все глупости на Земле делаются именно с этим выражением». Но передумала: такая игра смыслов могла спровоцировать бесконечную переписку.

Что для меня есть Бог? Нет, точнее так: в чем для меня Бог? В восторженном возгласе Оли, когда ей на уроке вдруг приходит в голову светлая мысль. В слезах, выступивших на глазах тихого и скромного Миши, когда он порой просит прощения за несдержанное поведение на уроках других детей. Во вдумчивом и немного удивленном взгляде Ники, по которому я понимаю, что она не только слушает, но и понимает. В неравнодушии Глаши, попросившей родителей помочь девочке из приюта поехать вместе со всем классом в лагерь. В раскаянии Броньки из-за вырвавшегося у нее обидного слова. В благодарности Мити, говорящего мне перед уходом из кабинета: «Спасибо за урок!»

По сути, я сама верующий человек, потому что невозможно работать в школе, не веруя в то, что каждый день ты сможешь наблюдать присутствие Бога в детях.

Потому что Бог — это добро и любовь. Просто так. Без ожидания за это хорошей оценки или спасения в загробной жизни.

Потому что Бог — это вера в людей.

Константин ВАСИЛЬЕВ

ЛОВЛЯ БЛОХ В СОЧИНЕНИИ ПО ПРОСЬБЕ СОЧИНТЕЛЯ

Нужно ли сочинителю знать, что делается в его земле?

Николай Васильевич Гоголь, переиздавая в 1846 году свои «Мертвые души», счел необходимым присовокупить обращение «К читателю от сочинителя»:

В книге, которая перед тобой, которую, вероятно, ты уже прочел в ее первом издании, изображен человек, взятый из нашего же государства. Ездит он по нашей русской земле, встречается с людьми всяких сословий, от благородных до простых. Взят он больше затем, чтобы показать недостатки и пороки русского человека, а не его достоинства и добродетели, и все люди, которые окружают его, взяты также затем, чтобы показать наши слабости и недостатки; лучшие люди и характеры будут в других частях. В книге этой многое описано неверно, не так, как есть и как действительно происходит в русской земле, потому что я не мог узнать всего: мало жизни человека на то, чтобы узнать одному и сотую часть того, что делается в нашей земле. Притом от моей собственной оплошности, незрелости и поспешности произошло множество всяких ошибок и промахов, так что на всякой странице есть что поправить: я прошу тебя, читатель, поправить меня.

Если сам автор напрашивается на поправки, почему не откликнуться?

Гоголь напрасно утверждает, будто в его сочинении *многое описано неверно*, он зря оправдывается. Извинения за *всякие ошибки* уместны, когда журналист в злободневной газетной статье или телевизионной передаче искажил факты — по незрелости, в спешке, по оплошности или (не такой уж редкий случай) с умыслом. Писатель придумывает, он, как раньше говорили, сочиняет, и чем красочнее его вымысел, чем затейливее его сочинения, тем меньше они соотносятся с тем, как оно *действительно происходит* хоть в русском, хоть в нерусском государстве. Издревле даровитые сказители приступали к творчеству, не видя надобности сначала *узнать всего* или хотя бы *сотую часть* того, что делается в их земле. Планы Гоголя показать *лучших людей*

и характеры не осуществились, мы не обнаруживаем праведников в набросках второго тома. Осмелюсь предположить, что изобразить всецело добродетельного человека у Николая Васильевича и не получилось бы. По большому счету, если литератор задумывает своей сатирой, критикой и обличениями что-то исправить в обществе или, тем более, искоренить, если он, наоборот, решил воспеть *достоинства и добродетели*, надеясь сделать общество благолепным, в обоих случаях его усилия пропадают втуне.

Гоголевский Чичиков замечателен, будучи мошенником. Люди, с которыми он встречается, имеют свои *слабости и недостатки*, но Гоголь ошибается, уверяя нас, что с помощью Чичикова, через Чичикова показал какие-то пороки русского человека. По крайней мере, я не вижу в книге порочных людей, то есть таких, которые, по значению слова *порок*, предаются разврату или совершают что-либо мерзкое. Гоголь сочинил занимательную историю и мастерски выписал каждое действующее лицо — в этом сила, притягательность и долголетие «Мертвых душ». Потом, во все времена читателю нравились похождения разного рода смельчаков, ловкачей, плутов, лесных разбойников и морских пиратов, а не нудные бытописания с благочестивыми обывателями и благовоспитанными барышнями, притянутыми показательно к поучениям о нравственности и добропорядочности. Возьмем героя из какого-либо известного произведения, возьмем Григория Печорина: он отнюдь не принадлежит к лучшим характерам. Печорин смеется над всем на свете, особенно над чувствами; он любит для себя, для собственного удовольствия; он к дружбе неспособен; он имеет сильное предубеждение против всех слепых, кривых, глухих, немых, безногих, безруких, горбатых... Печорин (как и Лермонтов) и на многих из нас взирал бы с усмешкой или холодным презрением.

Гоголь попросил читателей *поправить* его. Делать критический разбор «Мертвых душ» я не берусь. Произведение замечательно в целом. Для обсуждения ошибок, фактических, смысловых и грамматических, потребуется слишком много времени, ибо ошибки, действительно, усматриваются почти *на всякой странице*. Я укажу на некоторые промахи, и состоят они в неосторожном или, если хотите, бездумном использовании иностранных слов. Мои рассуждения можно считать ловлей блох — в переносном смысле, его проясняет «Малый академический словарь»: «Ловить (или выискивать) блох (*прост.*) — находить мелкие недостатки».

Кстати, во время школьной учебы, когда дошла очередь до «Героя нашего времени», мне было никак не запомнить даже последовательность событий, и уж совсем за гранью моего понимания остались печоринские откровения, проникнутые самокопанием и самолюбованием. Лермонтов рассказывает о взрослых мужчинах и женщинах с их взрослыми поступками, в том числе неблагоприятными, с их взрослой любовью, в том числе сопряженной с супружеской неверностью. Лермонтов писал для взрослых, а его роман навязывают маломысленным





отрокам — не только для обязательного прочтения, но пусть они, отроки, изощряясь, дают *характеристику* взрослого человека, Печорина, и, ухищряясь, *анализируют* его поведение.

При внимательном чтении в более зрелом возрасте я в очередной раз разглядывал, по приглашению Лермонтова, княжну Мери, особенно ее *сухощавую ножку*, и вдруг мое внимание полностью переключилось с щиколотки на ботинки: они, оказывается, блошиного цвета! Блошиного? Это красиво? Лучше начать с вопроса: какого цвета блохи?

Портрет барышни в литературном сочинении и выписка о блохах из справочника по насекомоведению

Гоголевскому Ноздрёву приснилось, будто его высекли. Утром *мерзкий сон* объяснился прозаически тем, что всю ночь его кусали *ведьмы блохи*. Но я веду разговор не о кровососущих паразитах. Обувь лермонтовской барышни кажется мне удачным примером, если мы беремся высматривать мелкие литературные недостатки. Честно говоря, я далеко не сразу сообразил, что ботинки (точнее, их цвет) имеют отношение к блохам.

Лермонтов рассказывает, что к колодцу с минеральной водой подошли две дамы. Мы вслед за ним устремляем взор на молоденькую и стройную, одетую *по строгим правилам лучшего вкуса*:

...Закрытое платье *gris de perles*, легкая шелковая косынка вилась вокруг ее гибкой шеи. Ботинки *couleur rise* стягивали у щиколотки ее сухощавую ножку так мило, что даже не посвященный в таинства красоты непременно бы ахнул, хотя от удивления.

Представляя нам княжну Лиговскую, русский сочинитель использовал несколько французских слов. Наталкиваясь на подобные иностранные вкрапления, сегодняшний читатель сразу опускает глаза на сноску, где в данном случае цвет платья объясняется как *серо-жемчужный*, по поводу обуви сказано: *красновато-бурого цвета*. А при чем тут прыгучие насекомые? При том, что во французском словосочетании *couleur rise* существительное *rise* значит *блоха*. Забегая вперед, сообщу, что от этого *rise* неведомо кто и неизвестно для чего образовал прилагательное *пюсовый*.

Блохи действительно красновато-бурые? Особо дотошный читатель вправе усомниться: в пособиях по зоологии он вычитал, что окрас означенных паразитов включает все оттенки коричневого цвета, панцирь у блохи бывает желтоватого, рыжеватого и почти черного цвета.

И это плохо. Плохо, когда в художественном произведении есть малопонятные или непонятные выражения и чтение приходится прерывать, дабы свериться с примечаниями, заглянуть в иностранный словарь... Или даже в справочник по насекомоведению!

Следите за правописанием и особенно за смыслом!

В «Историческом словаре галицизмов» *gris de perle* объясняется как *жемчужный оттенок серого цвета*. Приводятся примеры по использованию, в том числе из романа «Между вечностью и минутой» (1880), где М. К. Иогель, ныне забытый автор, доказывая, что описываемые господа принадлежат к избранному обществу, вкладывал им в уста французские фразы (совершенно пустые), и он следующим образом нарядил одного из своих героев — используя *gris de perle* в кириллическом написании, считая, видимо, это удачным литературным ходом: «в фраке, в белом галстуке и гри-де-перль перчатках». Лермонтов и Иогель блеснули перед современниками своим знакомством с тогдашней модой, но они исказили русский язык. Правильно говорить о платье и перчатках серожемчужного цвета, о жемчужно-сером платье и таких же перчатках.

Вы заметили, конечно, что Лермонтов пишет *perles* — во множественном числе: *жемчужины*, тогда как другие литераторы (и лексикографы) используют единственное число: *perle* (жемчужина). Пустяк? Нет, здесь ошибка, и ошибся наш прославленный поэт. Разница в одну букву и в русском языке приводит к нежелательному коверканию. Рассматривая желтую ткань, вы сравниваете ее с лимоном. Кто-то не соглашается: это цвет подсолнуха. Существительные *лимон* и *подсолнух* поставлены в родительном падеже единственного числа. Одежда бывает *в горошек* или *в клетку*, только полный неуч или иностранец скажет о платье, что оно *в горошках* или *в клетках*.

В устойчивых выражениях особенно важно следить за каждой буквой. Возьмем образное *водить за нос*. В «Мертвых душах» есть утверждение: «У нас так заведено, что все водят за нос барина». А вдруг бы Гоголь написал, что в России все водят барина (вернее, бар) *за носы*, как бы вам понравилось? Некоторые восторженные личности, наткнувшись на грамматическую неправильность в книге признанного классика, впадают в умиление и приступают к натяжкам и непропорциональным допущениям. В «Записках сумасшедшего», как они были впервые напечатаны в сборнике «Арабески», мелкий чиновник Поприщин жаловался: «Теперь плащи носят с длинными воротниками, а на мне были коротенькие, один на другом, да и сукно совсем не дегатированное». Во-первых, перед выходом из дома Поприщин *надел старую шинель*. Она была *очень запачканная и притом старого фасона*. Почему через какое-то время он оказался в плаще? Ладно, согласимся, что в те времена шинель считалась разновидностью плаща, но, по построению всей фразы, на Поприщине был и не плащ, а суконные *коротенькие воротники*.

В своей *ловле блох* я ограничусь придиркой к прилагательному *дегатированный*. В последующих изданиях печатали уже *дегатированный*, тогда как первый издатель должен был сразу исправить: ткань *декатировается* и становится *декатированной*. А еще лучше было бы подсказать Гоголю, что в художественном произведении лучше не использовать





технические термины. Про декатировку шерсти объясняют в специальных пособиях, ее применяют на суконных фабриках.

В «Толковом словаре русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова при глаголе *декатировать* есть ссылка на французское происхождение (фр. *décatir*), имеется помета *спец.*, что указывает на его специальное использование в профессиональных кругах, после чего дается объяснение: «Обработать (обрабатывать) шерстяную ткань водяным паром или кипячением для предохранения ее от действия сырости». Я бы сказал проще: сукно пропаривают для принудительной усадки.

Гоголь ошибся с правописанием, но сегодня литературоведы (понятно, что не суконщики и не текстильщики) пристегивают его искажения *дегатировать* и *дегатировщик* к *декатировать* и *декатировщик* как правомерные варианты.

Неописуемый цвет бархатного сюртучка

Теряют ли блохи сознание? Иными словами: падают ли они в обморок? Любопытный вопрос, вы не согласны?

Я достал с очень дальних полок роман Константина Леонтьева «В своем краю» (1864) и предлагаю вашему вниманию следующую картину: бабушка, вспоминая своего второго мужа, которого звали Петр Петрович, рассказывает, как дочь Аша однажды обрызгала его водой:

— Ашеньке было лет пятнадцать, она взяла да из рукомойника Петра Петровича и облила всего. А на нем был с иголочки бархатный сюртучок, как этот цвет, Аша, звали?

— Puce évanouie, maman.

Скучнейшее произведение с мелкими характерами и событиями, с бессодержательными речами... Я одергиваю себя: *суди, дружок, не свыше сапога* — такой совет художник дал сапожнику в известной пушкинской притче. Моим сапогом являются блохи как литературные недочеты, и, придравшись к французскому словосочетанию *puce évanouie*, я для начала выщипываю из него существительное *puce*. Это уже знакомая нам *блоха*. Отыскиваем в словаре: *évanouie* значит *упавший в обморок*. Блоха, упавшая в обморок? Получается, что так.

По прошествии лет, тем более десятилетий и столетий, смысл иностранных вставок частично или полностью затуманивается, но отметим сначала заурадные опечатки, со временем накапливающиеся. Пролитывая роман «В своем краю» в современном наборе, мы обнаруживаем, что *évanouie* имеет написание *evanouie* — без косого значка над первой буквой. Это показывает, что сегодняшние редакторы и корректоры не знают и уж точно не чувствуют французского языка. И они тем более не берутся объяснить нам, какого цвета был сюртучок Петра Петровича.

В «Историческом словаре галлицизмов» нам предлагается буквальный перевод: «Цвет блохи, упавшей в обморок». Дается объяснение (со ссылкой на Р. М. Кирсанову, специалиста по истории одежды): «Оттенок темного пюсового цвета». Примером по использованию приводится та же вроде как забавная история с Ашенькой, обрызгавшей из рукомойника



Петра Петровича. Вот так: *puce évanouie*, разовое, возможно, использование во всей огромной русской литературе, использование неразумное, ввернутое для красного словца, закрепилось в справочниках и стало темой для догадок и спорных предположений! *Couleur puce* (блошиный цвет), как нам подсказали в примечаниях к «Герою нашего времени», значит *красновато-бурый*. Приняв во внимание дополнительное толкование по поводу *puce évanouie*, мы присматриваемся к бархатному сюртучку Петра Петровича: он, получается, не просто красно-бурый, он с каким-то особым оттенком темно-красно-бурого!

Полюбопытствуем, что скажут другие толкователи. У меня под рукой «Словарь иноязычных выражений и слов, употребляющихся в русском языке без перевода», где я нахожу: «*Puce évanonie*, фр. Цвета блохи, упавшей в обморок». Смотрите: у них опечатка во втором слове: правильно *évanouie*. Предсказуемо, пример взят из той же книги К. Н. Леонтьева. При этом и в цитате вместо *évanouie* стоит *évanonie*. Так что мы имеем дело не с опечаткой, здесь ошибка. Ее допустили составители или наборщик, ее не заметили редактор и корректор. В словарях и справочниках такие оплошности нежелательны и, я бы сказал, недопустимы.

Во французских публикациях по одежде и моде пишут *gris perle*, тогда как мы обсуждали лермонтовское *gris de perles* и *gris de perle* у других русских авторов. Я не нашел *puce évanouie* во французских источниках, хотя в достаточно многих публикациях смаковались такие цветовые изыски, как *puce royale* (королевская блоха), *ventre de puce* (блошиное брюшко), *dos de puce* (блошиная спинка), *cuisse de puce* (блошиная ляжка). Может быть, *блоха, упавшая в обморок*, была придумана неким русским шутником вслед французским затейникам — по поводу какого-то цветового оттенка, не обязательно темно-красно-бурого, а мы с ученым видом рассматриваем чуть ли не под микроскопом настоящих блох и изоощряемся в умозаключениях.

Цвет, модный то ли некогда, то ли издавна

Лермонтов написал, мешая русский с французским, что княжна Мери носила *ботинки couleur puce*. Лев Николаевич Толстой использовал русское *пюсовый*, образованное от французского существительного *puce*, — в рассказе «После бала» он указал (без особой нужды) цвет одеяния, в котором супруга губернского предводителя встречала гостей: «Принимала... жена его в бархатном пюсовом платье».

Кто ввел в обиход новое прилагательное? По только что зачитанному примеру можно ли сделать вывод, что *пюсовый* притерлось и обкаталось в русском речевом обиходе, стало общеупотребительным? Не отвлекаясь на неразрешимый вопрос, полюбопытствуем, какое объяснение дал А. Н. Чудинов в своем «Словаре иностранных слов, вошедших в состав русского языка» (1910): «Пюсовый (фр., от *puce* блоха). Старинный модный коричневый цвет».

Коричневый? А мы уже затвердили про красновато-бурый.



Потом, я не вполне понимаю Чудинова: он хотел сказать, что плюсовый цвет был моден только в старину? Или он моден поныне со старинных времен? Или в давние времена он отличался от того коричневого, который привычен нам?

Если обратиться к менее известным справочникам, чего только не услышишь! Мол, *плюсовый* значит просто *бурый*. Или это коричневый оттенок красного, или цвет раздавленной блохи; приплетается та же *блоха, упавшая в обморок*; всплывает *блоха в родильной горячке* — будто бы существовал и такой оттенок... Я сдерживаюсь, приказывая себе, как гоголевский Поприщин: молчание, молчание! — но из меня сами собой лезут ядовитые замечания: не имеет значения, ботинки какого цвета *стягивали у щиколотки сухощавую ножку княжны Мери*, несущественно, какого оттенка было платье предводительши, неважно, из какой ткани были сшиты панталоны провинциального щеголя в «Мертвых душах»... Речь о его канифасовых штанах пойдет ниже. Если кто берется за литературное творчество, он должен рассказывать о поступках изображаемых лиц, о главных событиях в их жизни, не отвлекаясь на пуговицы, вытачки, кармашки, рюши, каблуки и прочие одежные и обувные мелочи. И потом: от литератора, пишущего по-русски для русской публики, мы вправе ждать только понятных русских слов.

Живописное полотно русской кистью с несколькими иностранными мазками

Мне думалось, что прилагательное *плюсовый* употреблялось ограниченно в картинах с изображением светских мероприятий, в сценах с титулованными особами: согласимся, что в их среде *плюсовый* звучит благороднее, нежели *блошиный*. Однако в рассказе «Старые годы» (1857) автор, П. И. Мельников-Печерский, в пределах одного параграфа вворачивает его два раза как расхожее русское слово:

Впереди пятьдесят вершников, на гнедых лошадях, все в суконных кармазинных чекменях, штаны голубые гарнитуровые, пояса серебряные, штилеты желтые, на головах парики пудренные...

Берешь длинную цитату, так только успевай отлавливать блох! *Кармазинный* что значит? В «Толковом словаре» под редакцией Д. Н. Ушакова *кармазин* объясняется как *сукно темно-красного цвета*. Следовательно, в тексте Мельникова-Печерского прилагательное *суконный* — лишнее, нужно было написать, что вершники, они же всадники, были просто в *кармазинных чекменях*. Если лингвист Ушаков с коллегами считали, что идет речь о темно-красном цвете, в других справочниках мы читаем об алом, ярко-красном или густо-красном оттенках.

Мельников-Печерский написал про штаны: они *гарнитуровые*. Строго говоря, должно быть *гродетуровые* — от французского *gros de Tours*. Мы ищем вдохновения в художественной литературе, разве не так? — но чтение нам опять перебивают, заставляя гадать, чем

гродетур (gros de Tours) отличался от гроденапля (gros de Naples), от гроделондра (gros de Londres) и от тафты (taffetas) — ими засорены русские художественные произведения, и в примечаниях все они объясняются схоже: *плотная шелковая ткань*. Отложив роман, отодвинув справочник по насекомоведению, вчитываться теперь в учебники по текстильному делу, вникать в тонкости, как в каждом случае скручивались волокна, и каким образом уток переплетался с основой?

Надеясь, что наше представление о чекменях и штиблетах совпадает с пониманием Мельникова-Печерского, мы продолжаем чтение:

Псари и доезжачие региментами: первый регимент на вороных конях в кармазинных чекменях, другой регимент на рыжих конях в зеленых чекменях <...>. А чекмени у всех суконные, через плечо шелковые перевязи, у одних белые, шиты золотом, у других пюсовые, шиты серебром. <...> За каретой четыре гайдука на запятках да шестеро пешком, все в зеленых бархатных кафтанах, а кафтаны вокруг шиты золотом, камзолы алого сукна, рукава алого бархату с кондырками малыми, золотой бахромой обшитыми. Шапки на гайдуках пюсового бархату с золотыми шнурами и с белыми перьями...

Что такое *регимент*, легко объяснить, это по-польски *полк*. А вот чем чекмень отличается от кафтана и камзола, какой оттенок красного цвета имел в виду Мельников-Печерский, используя прилагательное *кармазинный*, и какой смысл он вкладывал в прилагательное *пюсовый*, — сие остается неясным.

Блоха в целом, по частям и в раздавленном виде

Рано или поздно мы выходим на Р. М. Кирсанову, уже упомянутую выше, на ее справочник «Розовая ксандрейка и драдедамовый платок» (1991), где по поводу блошиного, простите, пюсового цвета, Раиса Мардуховна сообщала следующее:

Пюсовый — цветообозначение, красно-бурый цвет. Известно еще с конца XVIII века. Существовало несколько оттенков пюсового, например *мечтательной блохи* — *rice rèveuse*, *блохи, упавшей в обморок*, — *rice évaouie*, и т. д. Традиция давать цветам причудливые названия ясно обозначилась еще во второй половине XVIII века. Л. С. Мерсье, чьи очерки были очень популярны в России, писал: «Теперь, когда я пишу, модным цветом в Париже считается цвет блошиной спинки и блошиного брюшка. С тех пор цвет парижской грязи и гусяного помета взяли верх».

Когда Павел Иванович Чичиков явился на бал, губернские дамы *тут же обступили его блистающею гирляндю*. Далее Гоголь рассказывает, что «в нарядах их вкусу было пропасть: муслины, атласы, кисеи были таких бледных, бледных модных цветов, каким даже и названья нельзя было прибрать (до такой степени дошла тонкость вкуса)». Я полагаю, в городе N не имелось своего *французика из Бордо*, он со своим тонким вкусом живо подсказал бы русским барышням и барыням, как *прибрать названья* для всех оттенков, сопоставляя их, скажем, с тараканами и сближая, предположим, с коровьим навозом.





Поначалу нам представляется, что французские модники перед тем, как окрестить *причудливо* то или иное *цветообозначение* (как выразилась Кирсанова), ловили блоху — на себе или вынимали из блохоловки под фижмами своей спутницы, рассматривали и определяли, какого цвета у нее спинка и брюшко. Но, поскольку некий окрас назван *блошиной ляжкой* (*cuisse de puce*), мы вправе заподозрить, что словесные курьезы не имели, так сказать, привязки к настоящему насекомому, особенно в таких случаях, когда какой-то оттенок нарекли *блохой, упавшей в обморок*.

Мне попала история, будто Людовик XVI ввел блоху в цветовую палитру: летом 1775 года, увидев, как Мария-Антуанетта наряжается в коричневое платье из тафты (*une robe de taffetas d'une couleur brune*), король воскликнул со смехом: «*C'est couleur de puce!*», и придворные, вдохновленные монаршим почином, взяв *puce* за основу, кинулись, тоже посмеиваясь, соревноваться в изобретательности, давая блошинные именованья краскам и оттенкам.

Пустой анекдот приобрел силу письменного источника, ибо был в свое время напечатан, но я от него отмахиваюсь и предлагаю серьезные рассуждения английских филологов. В конце XVIII века французское *puce* было заимствовано в английский с объяснением: *flea-colour* (цвет блохи) и пояснением: *purple brown*, что можно понимать как *лилово-коричневый, пурпурно-коричневый* или *красновато-коричневый*. Несколько расплывчато, особенно если сравнить с русским *красно-бурый*. Мне кажется верным утверждение, что первоначально блошинный цвет соотносился не с самими паразитами, а с пятнами крови (*bloodstains*) на постельном белье от раздавленной блохи или же с блошиными, прощу прощения, испражнениями (*droppings*): пятна, будучи замытыми, приобретали особенный красновато-коричневый оттенок. Правда, другие английские языковеды предполагают, что такой цвет имели струпья, образовавшиеся на коже от блошиного укуса (и последующего расчеса). При этом утверждается, что в Англии блошинный цвет под своим английским названием *flea-colour* известен еще с XIV века, то есть задолго до того, как в XVIII веке его стали использовать в своих словесных играх французские законодатели моды в светских и даже придворных кругах: Мария-Антуанетта будто бы отдавала предпочтение пюсовым нарядам.

В XIX веке *puce* пришелся по вкусу широкой парижской публике. Эмиль Золя в романе «Нана» (1880) описывает представительницу той публики, даму, одетую в темное платье неопределенного цвета, между блошиным и цветом гусяного помета (*vêtue d'une robe sombre de couleur indécise, entre le puce et le casa d'oie*). В русском переводе сей литературный перл подан в поблекшем виде: *нечто среднее между красно-коричневым и желто-зеленым*. Я оправдываю переводчика. Будем снисходительны к английским денди с их блажью, пусть французские галантомы, куртизаны, инкруаябли и фашионабли (они же фешенебли) дают одежным расцветкам какие угодно прихотливые именованья, обогащая свой жаргон парижской грязью, мечтательными блохами,

блошиными и гусиными испражнениями, но незачем грязнить ими искусство. Если французская литература была загрязнена — с высокомерным оправданием, что художник вправе или даже обязан показывать нам все, *как оно есть в жизни*, нет необходимости переносить буквально в художественные произведения, издаваемые на русском языке, изощрения французского натурализма.

Романический герой во фраке цвета гусиной неожиданности

Отличительной чертой русской знати было умение говорить не по-русски. Ежели человек желал *вращаться в обществе*, он осваивал французскую речь, иначе над ним будут посмеиваться или прямо в глаза смеяться, и некоторые господа общались по-французски не только на светских *раутах*, но и в семейном кругу, со снисходительным переходом на русский при вынужденном общении с челядью и представителями низших сословий — здесь я предлагаю заслушать объяснение человека знатного из комедии «Чудаки» (1790). Автор, Яков Борисович Княжнин (1742—1791), вывел его под именем Ветромаха:

Считаю наш язык за подлинный jargon,
И экспримиловать на нем всего не можно, —
Чтоб мысль мою сыскать, замучишься безбожно!
По нүжде говорю я этим языком —
С лакеем, с кучером, со всем простым народом,
Где думать нүжды нет!.. А с нашим знатным родом,
Не знав французского, я был бы дураком!

Вы улыбаетесь снисходительно: комедийный персонаж преувеличивает, он, по воле Княжнина, перебарщивает и пересаливает! Напомню, что ту же мысль высказал Александр Сергеевич Пушкин в произведении не комическом. Зная нравы, обычаи и условности своего времени, он объяснил, за счет чего Евгений Онегин, начиная светскую жизнь, сразу прослыл человеком милым и, главное, ученым:

Он по-французски совершенно
Мог изъясняться и писал;
Легко мазурку танцевал
И кланялся непринужденно;
Чего ж вам больше?

Дабы, по выражению Ветромаха, *не быть дураком*, нужно было улавливать и быстро вводить в свою речь долетавшие из Франции новомодные словечки, из которых я вылавливаю сейчас *мердуа* — сие заимствование вписывается в наш разговор о блохах с их спинками, брюшками, ляжками и испражнениями, в нашу беседу о необычных одежных расцветках, и оное *мердуа* будет весьма показательным примером, до какой степени марался русский язык.





Я не ведаю, какой представитель *знатного* рода и в каком точно году восемнадцатого века блеснул прежде других своей осведомленностью о последних заграничных событиях, когда в петербургском салоне, *лорнируя* разодетых дам и кавалеров, он сообщил, что в Париже самым модным цветом стал *couleur merde d'oie*. Полагаю, от неожиданности кто-то сконфузился, кто-то прыснул со смеху, но истинно светские люди умели скрывать свои чувства, они отреагировали, скорее всего, легкими, вроде как понимающими восклицаниями, торопливо соображая: если что-то придумано в Париже, нужно как можно скорее перенять, и, если придумщики не стыдятся, нам ли конфузиться? И после первой оторопи все кинулись восхищаться: *мердуа*, кто же спорит, нет более изысканного оттенка, чем *мердуа*, — так же легко выговаривая, как с великосветских и полусветских уст до этого слетало: *couleur puce, puce évanouie, ventre de puce, dos de puce, cuisse de puce...*

Подобные пикантные словечки и вообще многие иностранные заимствования, на какой-то срок входившие в моду, со временем забылись бы без ущерба для нашей родной речи, но, я уже говорил, литераторы, языковым чутьем не обладавшие, внедряли их в свои пьесы, стихи и повести, тем самым словесный мусор увековечивая. Кто-нибудь одернет меня: вы утверждаете, что Мельников-Печерский и Леонтьев... Нет, вы хотите сказать, что Михаил Юрьевич Лермонтов и Лев Николаевич Толстой, мастера в писательском деле, не обладали чувством языка? Выскажусь иначе: даже таким признанным мастерам пера, как Пушкин, Лермонтов, Гоголь и Толстой, языковое чутье иногда отказывало.

Давайте зачитаем еще один отрывок из комедии «Чудаки» и убедимся, что пикантное *мердуа*, в написании *мердоа*, долетело до наших ушей через два столетия по вине, или, если хотите, по милости литератора Княжнина.

Улинька Лентягина, *ветреница смиренная*, как ее представил нам Княжнин, слышит вопрос служанки Марины:

Так вы, сударыня, намерены забыть
Прията милого?

Прият — одно из действующих лиц: «молодой, весьма романтический дворянин, влюбленный в Улиньку». Драматург придумал ему имя, образованное от прилагательного *приятный*, сразу раскрывающее его характер. Отвечая служанке Марине, *ветреница* Улинька высказывает откровенно причину своего нерасположения к воздыхателю: Прият слишком робкий.

Я не хочу любить
Того, который все исподтишка вздыхает,
Который робкими шагами подступает,
Которого любовь как будто хочет красть.
Он сердца не берет, а щиплет все по точке:

Во фраке мердоа и в розовом платочке,
По вечерам один, задумчив и смущен,
Так томен и уныл, как будто Селадон,
По рощам и лугам с овечками гуляет
Иль под окном моим по холодку пылает...
Как скучен! он меня до смерти залюбил.

Вы усмехаетесь: можно ли считать настоящим литератором человека, который пишет подобным слогом? Послушать только: Прият *исподтишка вздыхает*, он *по холодку пылает*, он *щиплет сердце* бедной девушки *по точке*, и вообще *до смерти ее залюбил*. Не торопитесь выносить приговор: ознакомившись с комедией в целом, мы убеждаемся, что так затейливо изъясняется (по замыслу и воле сочинителя) только Улинька, дочь господина Лентягина, *недавно вышедшего в дворянство*. Для нее вычурные словесные обороты есть признак благородства и светскости. Улинька принадлежит, очевидно, к тем барышням, которые все время с *французской книжкой в руках* (как Пушкин сказал о Татьяне Лариной). Ей известен мечтательный, от любви изнывающий Селадон из пасторального романа «Астрея», с ним она сравнивает своего обожателя Прията. Неудивительно, что она, *мещаночка во дворянстве*, тянется к Ветромаху. У того, как выразился отставной судья (еще один персонаж в комедии):

...весь ум в французских лишь словах,
В помадах и духах и в пудре благовонной.

Барышня на то и купилась: на духи, на помады и французские словесные выверты. Для нее Ветромах *ловок, и остер, и весел, и пригож*. Скучный Прият *до смерти ее залюбил*, тогда как Ветромах, по ее же отзыву: «Один налюбит он на разные манеры». Нет, не будем предаваться игривым предположениям, будто ловкий и пригожий кавалер обучил девушку разным способам постельной любви. Ничего подобного у Княжнина нет! Слуга Пролаз называет Улиньку *вертлявой барышней с куролесными чувствами*, и, как мы уже отметили, одной из ее, скажем так, куролесиц является диковинное построение фраз. Конечно, Улинька, отмечая способность Ветромаха *налюбить на разные манеры*, имеет в виду разнообразие его ферлакурства, и в целом ей импонирует галантность напомаженного любезника. Ветромах *делал куры, или ферлакурил*, — оба выражения восходят к французскому *faire la cour*, что значит *ухаживать* (за женщиной). Хотя заимствования вроде *импонировать*, мной только что использованные, в данном случае созвучны понятиям и предпочтениям Улиньки, хотя они в духе того времени, когда в светском обществе, бывало, *ни звука русского, ни русского лица не встретишь*, я подберу соответствия из родной речи. *Ферлакурство* значит *волокитство*. Вместо *галантный* можно использовать *учтивый*. Ветромах волочился за барышней (не собираясь на ней жениться), он ее обхаживал, ей льстило его любезное обхождение.



Взявшись судить не свыше сапога, я оставляю общий разбор «Чудаков» и сосредотачиваюсь на одном французском заимствовании *мердоа*, которое я повторил уже несколько раз, назвал пикантным... А что это по-русски? Преодолевая смущение, куда более сильное, нежели у Приятя, гуляющего по холодку под окнами любимой им Улиньки, берусь за перевод. Мы узнали и даже запомнили (вместо того чтобы отложить в памяти куда более полезные *вокабулы*), что озорные французы придумали для зелено-желтого цвета название *saca d'oie*, где *oie* значит гусь, а вот *saca*, обычно переводимое как *помет*, если точно, указывает на *детскую неожиданность* в том ее виде, когда ребенок, как говорится, *сходил по-большому*. Мне как-то неловко, хотя вроде бы нет ничего неприличного, ведь идет речь о естественных человеческих отправлениях. Я выйду из затруднительного положения, просто повторив объяснение из «Французско-русского словаря», составленного К. А. Ганшиной: «*Саса детск. ка́ка (кал)*». Здесь же приведено и словосочетание *saca d'oie* (поскольку оно не раз и не два встречается в письменных источниках) с объяснением, нам уже знакомым: *зеленовато-желтый цвет*.

Французское *merde d'oie*, писавшееся по-русски как *мердуа* и *мердоа*, имеет такой же состав, что и *saca d'oie*, — морфологический, я хочу сказать. Существительное *oie* (гусь) мы накрепко выучили, а новое для нас *merde* будет тем же *saca*, только по-взрослому. Вам не нравится, что я *робкими шагами подступаю*, как Прият в комедии Княжнина, вы требуете, чтобы я называл все своими именами? Нет, у меня язык не поворачивается, и я отделяюсь от вашего вопроса с помощью пушкинского восклицания: «Шишков, прости, не знаю, как перевести!» Вы уж сами посмотрите в словаре. Впрочем, если что-то, пусть даже непечатное, в словари внесено и после редакционного утверждения пошло-таки в печать, если оно в словарях *закреплено*, как любят выражаться настоящие филологи, почему бы мне просто не переписать то, что я вижу у Ганшиной: «*Merde груб. 1) кал; 2) дерьмо*».

Таким образом, молодой дворянин Прият, влюбленный в Улиньку, носил фрак, цвет которого соответствовал гусиному калу или, прошу прощения, дерьму. А Улинька, *от низостей весьма далекая*, по уверениям ее матушки, означенное цветообозначение милыми губками называет, ничуть не смущаясь: *мердоа*.

Поскольку иноязычные *rice* и *merde* нашли место в книгах, читаемых и в наши дни, приходится растолковывать их значение сегодняшней публике, куда более широкой, нежели в восемнадцатом и девятнадцатом веках, но менее образованной. Простите, наоборот, сегодня у нас все поголовно охвачены средним образованием, многие и высшим обзавелись, отдав пятнадцать лет на изучение таких полезных вещей, как биссектриса, гипотенуза и катеты, синусы и тангенсы, пестики и тычинки, суффиксы и морфы. Кое-кому крепко запали в память гипербола и парабола из геометрии. Нет, простите, первое из алгебры, второе, кажется, из литературы. То есть наоборот... Короче говоря, в наше время всех



основательно учат, чтобы каждый россиянин имел широкие познания, обладал широким кругозором и был специалистом широкого профиля, знающим и про тангенсы с пестиками, и про морфемы с параболами. В прошлые столетия достаточно было поднатаскаться по-французски и ловко прыгать антраша.

В 1790 году современники Княжнина, читатели и театральные зрители, будучи, по тогдашним меркам, людьми образованными, то есть знающими французский язык, сами понимали, что такое *мердоа* в устах Улиньки, но сегодня требуется объяснение, и в примечаниях к комедии «Чудаки» оно дается (в менее резкой форме, чем в словаре Ганшиной): «*Мердоа* — цвета гусяного помета (от фр. *merde d'oie*)». Здесь же объясняются другие *сотизы* и *бетизы* (то бишь глупости) — обрусевшие французские заимствования, коими гордо сыплет Ветромах: *экспримировать* — выражать (от фр. *exprimer*), *крим* — преступление (от фр. *crime*), *мерит* — достоинство (от фр. *merite*), *сибуль* — лук (от фр. *siboule*), *сотиз* — нелепость, вздор (от фр. *sottise*), *бетиз* — глупость (от фр. *bêtise*)...

Читая «Чудаков» (не без удовольствия), я ждал, что рано или поздно наткнусь на *пюсовый* (от фр. *rise*), но, как ни странно, блохам в комедии Княжнина не нашлось места, ни мечтательным, ни падающим в обморок, ни в целом виде, ни в расчлененном на спинки, брюшки и ляжки.

Почти что клинический анализ смеси из трех красок, имеющей отношение до коммерции

В 1787—1792 годах в Москве выходил по частям «Словарь коммерческий, содержащий познание о товарах всех стран, и названиях вещей главных и новейших, относящихся до коммерции». Его перевел с французского Василий Лёвшин (1746—1826), плодовитый и чрезвычайно работоспособный литератор. Во второй части «Словаря» (1789) мы обнаруживаем *мердуа* в коротком дополнении к обширной статье, посвященной гусям (как прибыльному предмету торговли): «Цвет мердуа, значащий Гусиной кал, составляет смесь из желтой, зеленой и черной краски: после чего сходствует несколько на кал сей птицы, от чего и прозван. Естественный же гусиный кал горячестию своею вреден всем растениям».

Вот кто виноват: Василий Лёвшин! Мы не вправе укорять Улиньку Лентягину, когда она говорит, что Прият во *фраке мердоа*, ведь смиренная ветреница только повторяет слова, написанные для нее господином Княжниним. С господина Княжнина мы не снимаем обвинений: сочиняя комедию и придумывая реплики для своих чудаков, он вполне мог обойтись без скабрёзного французского заимствования, ибо, как я уже говорил, цвет одежды, которую носит тот или иной герой, не имеет решительно никакого значения. Яков Борисович, впрочем, действовал без злого умысла, он бездумно вставил в текст словечко, бывшее в те годы на слуху и в ходу, как многие литераторы украшают



свои писания бытующим словесным мусором. А вот господин Лёвшин *зафиксировал* скверное словечко в справочном издании, подвергнув его прямо-таки клиническому анализу... Я разошелся со своими выпадами и вдруг спохватился: неправомерно пинать Василия Лёвшина, простите, пенять ему, ведь он не отсебятину людям навязывал, он выступил переводчиком, он следовал французскому оригиналу — добросовестно (хотя и как-то скованно, не решаясь отказать от французского синтаксиса). Даже наоборот, следует благодарить Василия Алексеевича: тогдашние русские предприниматели и потребители познакомились с *названиями вещей главных и новейших*, и означенный цвет *мердуа* тоже имел коммерческую значимость! Как важно, чтобы заказчики и поставщики правильно понимали друг друга. Дабы не происходило досадных ошибок. Дабы вторые, то есть поставщики, находясь где-то во Франции, отгрузили первым, то есть заказчикам, находившимся в России, фраки именно *мердоа*, а не, предположим, *бу-де-пари* (*boue de Paris*), то бишь *парижскую грязь*, о которой писал Луи-Себастьян Мерсье (1740—1814) в «Картинах Парижа» (*Le Tableau de Paris*): грязь как цветное название, вкуче с *merde d'oie*, в какой-то момент потеснила в светских салонах и, следовательно, на рынке *блошиную спинку и брюшко* (*dos et ventre de puce*).

Борьба за чистоту русского языка и культурность речи

Много говорится, подчас с вдохновением, искренним или наигранным, о *культуре* речи, а вот Лев Троцкий призывал бороться за ее *культурность*. В 1923 году он через газету «Правда» увещевал советских трудящихся не сквернословить и заодно объяснил происхождение нецензурных слов:

Брань есть наследие рабства, приниженности, неуважения к человеческому достоинству, чужому и собственному, а наша российская брань — в особенности. Надо бы спросить у филологов, лингвистов, фольклористов, есть ли у других народов такая разнuzданная, липкая и скверная брань, как у нас. Насколько знаю, нет, или почти нет. В российской брани снизу — отчаяние, ожесточение и прежде всего рабство без надежды, без исхода. Но та же самая брань сверху, через дворянское, исправническое горло, являлась выражением сословного превосходства, рабовладельческой чести, незыблемости основ...

Выше я помянул А. С. Шишкова — связав свои выпады против иноязычных вкраплений с шишковскими «Рассуждениями о старом и новом слоге», в коих Александр Семенович обрушился как раз на *гадкое* французское *мердуа*: «Французы выкрасят сукна и дадут цветам их названия: *мердуа*, *бу-де-пари* и проч. <...> Как! и все это должно потрясать язык наш?»

Шишков негодует, но, по его простодушной подаче, *чуждые и не нравственные* словечки чуть ли не сами, без человеческого участия,

проникают в русскую речь и, затесавшись, производят потрясения и всячески зловедничают.

Троцкий смотрит, как говорится, в корень. Диву даешься, как он, как большевистские вожди (и, в мое время, советские пропагандисты) уверенно и складно отвечали на любые вопросы, в том числе вековечные, до них никем не решенные, — применяя свой *классовый подход*, названный ими научным и единственно верным. С его помощью познается ход истории, выявляются причины всех войн, восстаний и переворотов, объясняются все события в обществе и поведение отдельных граждан, вскрываются ошибки всех предыдущих мыслителей, указываются определенные цели, ближайшие и конечные, ставятся четкие задачи для всех членов общества... Под языкознание тоже подвели марксистскую основу, и только что мы выслушали, как Троцкий по-марксистски растолковал, почему в русском языке появились и существовали нецензурные выражения: потому что общество до революции делилось на господ и холопов, брань является *наследием рабства*.

Будучи филологом, или, если хотите, лингвистом, что одно и то же, я мог бы привести иностранные ругательства, ничуть не уступающие русским по *липкости* и *разнузданности*, только у меня нет желания отвлекаться на препирательство, ибо кто-то кинется уверять, что филология тем-то и тем-то отличается от лингвистики, другие упрутся, доказывая из своеобразного патриотизма, что наша *обсценная лексика* самая скабрезная.

Удивительное сходство наблюдается между особо известными защитниками культуры и радетелями о языковой чистоте. Время от времени они грозно вскидываются и призывают *бороться*, словно к военным действиям нас подталкивая. А кто враг, против кого или против чего нам, собственно, выступать и чем нам вооружаться? Ополчиться можно только на носителей языка: учить их *правильным* словам, втемяшивать им в голову *правильные* выражения... Помню раздражение нашей школьной словесницы: мы делаем столько упражнений, мы пишем столько диктантов, сочинений и изложений, но в каждой тетрадке каждый раз грамматические ошибки! Учительница ругала тех, кто никак не научится правописанию, она ставила плохие оценки... Однажды на особом собрании в актовом зале директор, завуч и учителя обрушились на нерадивых подростков, которые нецензурно выражались, то есть, попросту говоря, матерились (о чем было узнано, когда подростки, забыв всякую осторожность, сквернословили во дворе прямо под окнами директорского кабинета, открытыми по случаю жаркой погоды).

Поскольку предыдущая *борьба* не дала ни разу желаемых результатов, может быть, следует действовать более жестко? Штрафовать нарушителей речевой чистоты в школах и цехах, конторах и магазинах, прямо на улице, в конце концов, а если кто упорно нарушает языковые нормы, тех вообще отправлять на перевоспитание в заведения закрытого типа. Вот еще действенная мера, в давние времена применявшаяся:





за употребление неприглядных речевых оборотов (особенно в адрес властей) язык укорачивали — тот, который у каждого из нас во рту в качестве органа речи, его в буквальном смысле урезали — тем, кто не умеет означенным органом правильно владеть.

Зачитаю еще один показательный клич из той же статьи Троцкого: «Борьба с ругательствами есть в то же время составная часть борьбы за чистоту, ясность и красоту речи». Взявшись наводить чистоту и красоту с большевистской твердостью, Троцкий недалеко ушел от А. С. Шишкова, который сравнивал себя и вверенную ему императорскую Академию с вооруженным стражником:

Если Академия есть страж языка (ибо что ж она иное?), то и должно ей со всевозможною к общей пользе ревностью вооружаться против всего несвойственного, чуждого, невразумительного, темного, не нравственного в языке. Но сие вооружение ей долженствует быть на единой пользе словесности основанное...

Внимая выспренным рассуждениям о красоте и чистоте, мы вправе попросить уточнений у Троцкого и Шишкова: что *в языке* считать красивым и чистым, по какому признаку разделять существующие части речи и словарные единицы на свойственные и несвойственные, на нравственные и не нравственные?

Шишков и ему подобные путают язык с человеческими высказываниями, оценка которых тоже никогда не будет однозначной, ибо каждый судит по своему разумению, с личным пристрастием, в зависимости от обстоятельств и обстановки, с оглядкой на окружающих, наконец, под воздействием своего переменчивого настроения. Мне, например, кажется темной и невразумительной речь Троцкого, когда он берется объяснять, почему иной *искренний и преданный коммунист* называет всех женщин *бабьем*:

Происходит это оттого, что разные области человеческого сознания изменяются и перерабатываются вовсе не параллельно и не одновременно. <...> Психика весьма консервативна, и под влиянием требований и ударов жизни изменяются в первую голову лишь те области сознания, которые непосредственно под эти удары подставлены.

Пролетарии, если они вообще читали статью Троцкого в «Правде», хлопали глазами, и не каждому интеллигенту были понятны психолого-лингвистические умствования говорливого марксиста. Троцкий, пользуясь случаем пообщаться с трудовыми массами и блеснуть ученостью перед товарищами по партии, вошел, что называется, в раж, то бишь распалился, но все его обличения и призывы, все его негодование является пустым краснобайством.

Такой же бесплодной, в пустоту обращенной была «Речь о чистоте русского языка», с которой еще в 1735 году выступил В. К. Тредиаковский (1703—1768) перед членами Академии наук. Неосуществимое желание *привести язык в совершенство* сочеталось у Василия Кирилловича с лакейскими поклонами в адрес академического начальства. В своем выступлении он провозгласил главным радетелем о совершенствовании русской речи — не смешно ли? — курляндского немца по имени Иоанн

Альбрехт барон фон Корф, поставленного во главе Академии немцем же Эрнстом Иоганном Бироном, фаворитом герцогини Курляндской, в 1730 году вдруг оказавшейся на русском престоле.

Эту же напыщенность, это же колокольное сотрясение воздуха, это же заискивание перед верховной властью мы видим в восклицаниях А. С. Шишкова (1754—1841). Он дослужился до адмиральского чина, в 1813 году его, военного человека, назначили руководить Императорской Академией Российской (будто это корабль или морское ведомство). Устав сего славного учреждения был начертан княгиней Дашковой, затем *апробован*, то есть одобрен и утвержден, императрицей Екатериной II, в нем определялось, что она, Академия, «долженствует иметь предметом своим вычищение и обогащение российского языка, общее установление употребления слов онаго, свойственное оному витийство и стихотворение». В 1818 году адмирал Шишков представил Александру I на утверждение новое начертание, в коем повторил мысль о *вычищении и обогащении*, высказанную в 1783 году Екатериной Романовной Дашковой, только сделал это в куда более витиеватой форме:

Главная должность Академии состоит в попечении об языке. Она приводит его в правила, вникает в состав его и свойства, раскрывает его богатство, показывает силу, краткость, высоту, ясность, благородство, сладкозвучие; устанавливает, определяет, разверзает, распространяет его; очищает от вводимых в его несвойственностей, хранит его чистоту, важность, глубокомыслие, и сими средствами полагает твердое основание словесности, красноречию, стихотворству, наукам, просвещению.

Вослед барону Корфу о *сладкозвучии и глубокомыслии* русского языка пеклась княгиня Дашкова, имевшая *чисто французское воспитание*, написавшая для потомков воспоминания на английском языке, которым, по утверждению Я. К. Грота, *она владела лучше, нежели родным*. Впрочем, в бутафорских мероприятиях по *вычищению и обогащению* она выступала, по современным понятиям, ассистентом режиссера, ибо роль постановщика с удовольствием возложила на свои плечи померанская немка София Августа Фредерика Ангальт-Цербстская, завезенная, как и ее супруг, Карл Петер Ульрих, в Россию, *дабы княжить и владеть нами*. Адмирал Шишков, свободно переводивший с иностранных языков, красноречиво перед Александром I и высшим светом, предпочитавшим говорить по-французски — *дабы не выглядеть дураками друг перед другом*, как сказал простодушно Ветромах в комедии Княжнина. Всех троих, Третьяковского, Шишкова и Третьяковского, объединяет уверенность, то ли искренняя, то ли наигранная, или, скорее всего, возникающая и нарастающая во время витийства на заданную тему, что можно волевыми усилиями или в приказном порядке, через правительственные постановления переделать язык, в чем-то укоротив его и сузив, в чем-то удлинив и расширив, и потом задать ему дальнейшее развитие по определенной колее, при этом надеть на него шоры наподобие тех, которые надевали лошадям, дабы он, язык, не шнырял взглядом



по сторонам, и заткнуть ему уши, чтобы в них не влетали какие-либо *несвойственности*.

Шишков, используя отвлеченные существительные, приписывал языку то, чего язык сам по себе иметь никак не может: благородство, сладкозвучие, глубокомыслие, важность. Троцкий усмотрел в нем гибкость и чуткость: «Из революционных потрясений язык выйдет окрепшим, омоложенным, с повышенной гибкостью и чуткостью». Укрепить, омолодить или вычистить язык невозможно, как и придать ему гибкость, как и *хранить его чистоту*. Никому не удастся *привести его в правила*, как выразился Шишков, и все разговоры о *пользе словесности* являются пустопорожней болтовней. Время от времени власть вскидывается и объявляет новый этап *борьбы за чистоту родной речи*, но люди продолжают говорить и писать так, как говорили и писали, впадая то в пустословие, то в злословие, они предаются иногда славословию, кто-то прельщается иностранными словечками, а какая-то часть населения в общении и самовыражении всю жизнь обходится междометиями и сквернословием. Еще имеются штатные *борцы за культуру речи*, они за государственный счет в государственных учреждениях под вывеской чего-нибудь гуманитарного, культурологического и духовно-воспитательного, перемежая нудное многословие с высокопарными восклицаниями в стиле Шихкова, толкут годами ту же воду в той же ступе — им иначе нельзя, если им не толочь, создавая видимость полезной деятельности, казна, увидев бездеятельность, перестанет обеспечивать их деньгами.

(Окончание в следующем номере.)



Яков МАРКОВИЧ

НЕСКОЛЬКО ЗАМЕТОК О ПОЭЗИИ

Классик английской литературы Сомерсет Моэм считал, что из 10 000 читателей прозы только один понимает ее. К первому числу надо добавить как минимум три ноля, если вести речь о читателе, действительно чувствующем поэзию.

Сам Моэм, утверждавший, что «поэзия — величайшее и благороднейшее из искусств», писал: «Я не могу припомнить ни одной серьезной пьесы в прозе, которая пережила бы породившее ее поколение». Моэма стихи привлекали потому, что они своей ритмичностью способствуют запоминанию актерами ролей. Самим поэтам он спел редчайший по торжественности дифирамб: «Хорошо говорить, что поэзия — это чувство, которое вспоминается в минуты душевного покоя; но у поэта чувство особого порядка, присущее больше поэту, нежели человеку». Следует ли поэтам чтить весьма прозаичного Моэма за то, что он не считал их людьми?

Если писатель Моэм выразился о поэтах таким блестящим слогом, то что ожидать от критиков и литературоведов, которым авторы поэтических созданий служат средством для собственного прославления? Меня потрясло заявление Б. М. Эйхенбаума, что «книга акад. А. Н. Веселовского» (одного из вышеупомянутых, единственного из 10 000 000) в части, касающейся поэзии Жуковского, «не внесла ничего существенно нового». Когда столь невысоко ценится образцовый труд по истории отечественной литературы, невольно ожидаешь, что сам Б. М. Эйхенбаум сейчас сотворит чудо. И он сотворил его. Не стану приводить много цитат из анализа Б. М. Эйхенбаумом стихотворения Жуковского «Вечер», чтобы не усыпить читателя. Приведу лишь самое начало этого анализа:

Стихотворение открывается рядом восклицаний.

Ручей, виющийя по светлomu песку,
Как тихая твоя гармония приятна!
С каким сверканием катишься ты в реку!
Приди, о муза благодатна,

В венке из юных роз с цевницею златой;
Склонись задумчиво на пенистые воды,

И, звуки оживив, туманный вечер пой
На лоне дремлющей природы.

Уже здесь — слияние двух строф воедино при помощи строфического enjambement. Дальше возобновляется восклицательное «как»...

Какое отношение имеет эта кричащая видимость к восприятию поэзии? Литературоведа, спешащего проиллюстрировать положения выдвигаемой им теории, никак не волнует то обстоятельство, что начало «Вечера» создано под влиянием Державина, с которым Жуковский вступает в соревнование по живописи и из которого выходит калеккой. Ручей, конечно, может навеять «тихую гармонию», но не может «пенить воды», подобно бурной реке, в результате чего становится неуместно «дремлющее лоно природы». А сколь небрежно цитирование! У Жуковского Муза — это Муза, а не муза Б. М. Эйхенбаума. У Жуковского после «пенистые воды» нет ненужной запятой. В связи с этой запятой вспоминается ироничный Оскар Уайльд: «Поэт может вынести все, кроме опечатки». Словом, тот Жуковский, который в лучших своих творениях является выдающимся поэтом, вовсе не схож с тем, которого вывел в своем труде Б. М. Эйхенбаум.

Другая совершенно простая очевидность. Например, каждый, кто увлекается поэзией Мандельштама и Ахматовой, считает их поэтами. Между тем, страдающий самомнением Б. М. Эйхенбаум утверждает: «Ахматова и Мандельштам — высокие достижения акмеизма». В литературоведческом экстазе он не замечает пародийности своего стиля.

В литературном мире непременно нарушают заповедь «не сотвори себе кумира». Так, кумир петербургских поэтов Вячеслав Иванов в середине прошлого века на своей знаменитой «башне» при скоплении стихотворцев, заглядывающих ему в рот, слушал стихи неизвестной в то время поэтессы:

Так беспомощно грудь холодела,
Но шаги мои были легки.
Я на правую руку надела
Перчатку с левой руки.

Выслушав стихи, один из блистательных лицедеев подошел к Ахматовой, поцеловал ей руку и изволил молвить: «Анна Андреевна, поздравляю вас и приветствую. Это стихотворение — событие в русской поэзии». Вряд ли символист-мистик мог всерьез воспринять стихи о перчатках, о предмете туалета. Что же касается «события в русской поэзии», то такое мнение в устах энциклопедически образованного Иванова звучит как ирония. Наверное, ему хотелось сделать комплимент красивой юной женщине, а эти «перчатки» он встречал у Козьмы Пруткова:

Разувшись, на руки надень свои сандалии;
А ноги спрячь от нас куда-нибудь подалей!



Но дело сделано. На пьедестал возведен еще один кумир, и «пошла писать губерния!». Ни одному автору не посвящалось столько трудов видных филологов, сколько А. А. Ахматовой. Из большинства этих трудов «выглядывают уши» Вячеслава Иванова в виде «перчаток». Кто только не приводил в качестве примера истинной поэзии следующие стихи:

Звенела музыка в саду
Таким невыразимым горем.
Свежо и остро пахли морем
На блюде устрицы во льду.

Конечно, музыка «звенит» ради созвучия с соседним словом. Однако трудно представить, чтобы рядом с увеселительными местами, ресторанами, музыка «звенела невыразимым горем», а не фривольными городскими романсами и пошленькими песенками, после которых у Ахматовой и появились «звенит» и «горе»:

Иду по бульвару,
Гитара звенит,
Косая Маруся
За мною бежит...

Дальше еще удивительнее. То, что устрицы в ледяном панцире пахнут «свежо и остро», не унюхает ни одно живое существо. Легче надеть перчатку сразу на обе руки. Но подобные казусы только увеличивают восторги. Читаем у Л. Я. Гинзбург:

В своей лирике природы Ахматова сочетает классическое наследие с удивительной неожиданностью точных деталей:

Бессмертник сух и розов. Облака
На свежем небе вылеплены грубо.
Единственного в этом парке дуба
Листва еще бесцветна и тонка.

Эти строки полны дыханием русской классики. Но поэты веками воспевали весеннюю листву, а Ахматова первая сказала о том, что только что развернувшийся дубовый лист бесцветен.

Розовый бессмертник сух или в конце лета, или в начале осени. А дуб взят в другое время года — весной. Здесь смешение времен года, но поэтессе Ахматовой часто море по колено.

Что касается «бесцветной листвы», Л. Я. Гинзбург права — А. А. Ахматова единственная сказанувшая эдакое. У Лермонтова просто: «Дубовый листок оторвался от ветки родимой...»

Лермонтов не стал подбирать цветового эпитета, потому что он, как и другие русские классики, ведает, что дуб по весне выпускает листья только зеленого цвета. Натуралистические штудии А. А. Ахматовой, а вслед ей и Л. Я. Гинзбург, напоминают открытие чиновника на пенсии, наблюдением которого Чехов поделился в рассказе «Отрывок»: «Весенний прилет птиц уже начался: вчера видел воробьев».





То, что я сейчас пишу, не смешно, а печально. Здесь приведена лишь толика перлов выдающихся исследователей художественной литературы (борзописцы — имя им легион — оставлены за бортом). Эти перлы изобличают рекламу, которую заказывают книгопродавцы, схожие с христородавцами. То есть люди, лишённые чувства святого.

Крым как лакмусовая бумага поэзии

Крым начал входить в наш литературный обиход сразу же после его присоединения к России. Зачинателем традиции стала Екатерина II. Обозревая красоты Крыма, она двадцатого или двадцать первого мая 1787 года написала своему фавориту графу Григорию Потемкину:

Лежала я вечер в беседке ханской
 В середине бусурман и веры мусульманской.
 Против беседки той построена мечеть,
 Куда всяк день пять раз иман народ влечет. <...>
 Я думала заснуть, и лишь закрылись очи,
 Как, уши он заткнув, взревел изо всей мочи. <...>
 О Божьи чудеса! из предков кто моих
 Спокойно почивал от орд и ханов их?
 А мне мешает спать среди Бакчисарая
 Табашный дым и крик; но, впрочем, место рая; <...>
 Хвалю тебя, мой друг, занявши здешний край,
 Ты бдением своим все вяще укрепляй.

Приведенное стихотворение — яркое свидетельство того, что российская императрица обладала литературными способностями. Какая наблюдательность! Какая лаконичность! Какое ненавязчивое сплетение личного начала и общественного! Правда, Екатерина II, которой не давалась стихотворная форма, вероятно, воспользовалась помощью своего статс-секретаря А. В. Храповицкого. Он тоже вполне справился со своей задачей. Здесь не лишне напомнить, что форма глагола «влечет» еще пару десятилетий после Екатерины II будет произноситься со звуком «э». А удачно созданной Храповицким рифме «мечеть — влечёт» могут позавидовать иные современные стихотворцы.

Кроме того, Крыму посвятили стихи такие наши поэты, как К. Н. Батюшков, П. А. Вяземский, А. С. Пушкин, А. К. Толстой, Я. П. Полонский, К. К. Случевский... Остановлюсь на двух примерах, где встречается та же самая деталь, что в стихотворении Екатерины II, в котором в силу малого знакомства с исламом муэдзина подменили имамом («иман»). В стихах поздних авторов эта неточность была исправлена.

В 1898 году, когда Бунин и Брюсов еще были в товарищеских отношениях, последний прислал первому, жившему в то время в Крыму, для публикации в редактируемой им крымской газете «Южное обозрение» следующее стихотворение:

Звезда затеплилась стыдливо,
Столпились тени у холма;
Стихает море; вдоль залива
Редеет пенная кайма.

Уже погасли пятна света
На гранях сумрачных вершин, —
И вот в селеньи с минарета
Запел протяжно муэдзин.

А вот одно из многих «крымских» стихотворений Бунина «Ночь Аль-Кадра»:

Ночь Аль-Кадра. Сошлись, слились вершины,
И выше к небесам воздвиглись их чалмы.
Пел муэдзин. Еще алеют льдины,
Но из теснин, с долин уж дышит холод тьмы.

Ночь Аль-Кадра. По темным горным склонам
Еще спускаются, слоятся облака.
Пел муэдзин. Перед Великим Троном
Уже течет, дымясь, Алмазная Река.

И Гавриил — неслышно и незримо —
Обходит спящий мир. Господь, благослови
Незримый путь святого пилигрима
И дай земле твоей ночь мира и любви!

Трудно пройти мимо высосанной Брюсовым из пальца звезды, которая почему-то «затеплилась стыдливо». Обычно на южном небе, темнеющем мгновенно, звезды, потеряв всякий стыд, светят ярко. Море в тексте Брюсова лишь стихает, а потому «пенная кайма» в действительности не «редеет» еще долго. В то время как аморфные «пятна света» никак не передают яркий закат в горах. «Столпились тени» — это благоприобретение Брюсова из Полонского.

Не буду останавливаться на безграничном превосходстве бунинского стихотворения над брюсовским в живописности, глубине чувства, высоком парении и оригинальности. Это очевидно для любого, у кого есть хоть толика эстетического чувства. Меня, как я отметил выше, интересует лишь муэдзин. Бунин о нем пишет кратко: «Пел муэдзин». У Брюсова картина рисуется как будто бы полнее: «Поет протяжно муэдзин». Однако определение «протяжно» — пустое слово. Муэдзин призывает к вечерней молитве всегда протяжным голосом, словно поет.

Екатерина Великая не была поэтом. Однако даже ее грубое неодобрительное «взревел» куда точнее «находки» Брюсова. Казалось бы, микроскопическая разница между «поет протяжно муэдзин» и «пел муэдзин» как раз отличает поэта от стихотворца, для которого важен внешний звон: «Я — вождь земных царей и царь, Ассаргадон». Это, увы,





клинический случай, как у тронутых разумом, отождествляющих себя с Александром Македонским, Чингисханом и Наполеоном.

Среди множества псевдонимов Брюсова встречается Аврелий, которым поэт оказал честь Марку Аврелию. Нарцисс, отягощенный манией величия («юность моя — юность гения»), бездушный стилизатор, маньяк экспериментаторства, запредельно эластичный в своих социальных устремлениях, Брюсов — образец беспринципного журнализма и ремесленничества, чуждого поэзии.

У настоящего поэта каждое слово несет нагрузку. Если ему нужен эпитет, то он будет, например, таким: «Ленивый Нил да глыбы пирамид». О музыке этой строки ни звука. Пусть в тишине ею насладится каждый. Речь только об эпитете.

Нил, как известно, в двух своих истоках не «ленивый», а весьма бурный. Но сливаясь, Белый и Голубой Нил превращаются в широкий Нил, который у земли египетской преобразуется в море разливанное, становится «ленивым».

«Ленивый Нил да глыбы пирамид», выражаясь языком сегодняшнего дня, — лучший слоган, рисующий Египет, жаждущий туристов. Такова изобразительная мощь эпитета у истинного поэта.

Остается отметить, что Брюсов, которого мало кто из его значимых современников считал художником слова, величается в энциклопедических словарях великим поэтом. Великим, видимо, потому, что он, некогда отождествлявший себя с кровавыми завоевателями, царями и императорами, после победы Великой Октябрьской социалистической революции прославил вождя пролетариата в эдаком поэтическом шедевре:

Горе! горе! умер Ленин.
Вот лежит он, скорбно тленен.
Вспоминайте горе снова!
Горе! горе! умер Ленин!
Вот лежит он, скорбно тленен.
Вспоминайте снова, снова!
Ныне наше строго слово:
С новой силой, силой строй сомкни!
Вечно память сохрани!

Да! Это стихотворение безмерно великого поэта. А Бунин, охаянный этим завистливым «великим» и его мелкотравчатой литературной сворой, до сих пор в тех же «энциклопедиях» называется прозаиком и только через запятую — поэтом.

Верлибр

Откуда есть пошел верлибр установить труднее, нежели откуда есть пошла земля Русская. Не помогают решить этот вопрос и словари, указывающие, что верлибр происходит от французского *vers libre*. Такое мнение о происхождении верлибра (или, выражаясь по-русски, свободного

стиха) противоречит фактам. На самом деле в России свободный стих начал использоваться веком раньше, чем во Франции.

Одним из первых русских верлибристов следует считать Григория Александровича Потемкина. Вот что он писал государыне в феврале-марте 1776 года, волнуясь из-за влюбчивости дамы своего сердца:

Моя душа безценная,
Ты знаешь, что я весь твой,
И у меня только ты одна.
Я по смерть тебе верен,
и интересы твои мне нужны.
Как по сей причине,
так и по своему желанию,
мне всего приятнее
твоя служба и употребление
заранее моих способностей.
Зделав что ни есть для меня,
право не раскаешься, а увидишь
пользу...

Екатерина II спешно успокоила фаворита, бывшего ей необходимым и в качестве государственного деятеля:

Знаю.
Знаю, ведаю.
Правда.
Без сомненья.
Верю.
Давно доказано.
С радостью, чего!
Душой рада, да тупа.
Яснее скажи...

Конечно, любящие сердца бьются в унисон. Однако созвучности этих посланий способствовало и другое обстоятельство. Думается, Потемкин прибег к форме свободного стиха потому, что эта форма вошла в моду в литературе земли немецкой, с культурой которой никогда не порывала русская императрица, прозванная Великой. Но здесь важно то, что с верлибром Екатерина II, которой совершенно не давался метрический стих, вполне справилась. Потому что верлибр вовсе не стих.

Ни одно из ныне известных определений верлибра не является полным. Самым точным (правда, чрезмерно длинным) определением верлибра может быть только перечисление всех свойств стиха под знаком минус. В силу этого относить верлибр к стиховедению ошибочно. Верлибр есть текст, выстроенный столбцом, что придает ему внешнее сходство со стихом. Однако нельзя же все, выложенное столбцом, считать стихами. Скажем, таблицу умножения, законы Хаммурапи — самый





древний из известных на сегодняшний день верлибров — либо орфографический словарь.

Страстные пропагандисты верлибра пустили гулять по свету разные похвальные байки о нем. Самой главной из них является утверждение, что метрический стих сковывает творчество, а верлибр предоставляет автору свободу для выражения его самых глубоких чувств и мыслей. Если бы это было на самом деле так, то ни один сколько-нибудь уважающий себя автор не пользовался бы не только метрическим, но и «свободным» стихом. Потому что даже в последнем случае требуется разбивка текста на строчки, чтобы получались столбцы.

Верлибр является «свободным стихом» в том смысле, что ведет к еще большей свободе от поэзии, чем стих метрический и рифмованный, когда последним пользуются стихотворцы, а не поэты. В силу этого верлибр — катастрофически опасное явление, увеличивающее число «поэтов» в геометрической прогрессии. Скоро земля лишится лесов, которые пойдут на изготовление бумаги для изданий их глубокомысленных творений. Человечество погибнет. На земле останутся только верлибристы в противогазах. Вот тогда никто не будет возражать, что творчество каждого из них глубокомысленнее писаний, например, Гете, который не признавал верлибр.

Другая распространенная байка о верлибре гласит, что овладеть свободным стихом сложнее, чем метрическим. Как мы видели, верлибры умела составлять даже Екатерина II. Верлибр сподручен любому человеку. Вот мой верлибр: *«Мама мыла раму»*.

Хотя эта фраза заимствована из букваря, на котором выросло несколько поколений моих соотечественников, но в качестве верлибра применена впервые мною. Другим новшеством является то, что за всю историю верлибра мой верлибр (хореический размер здесь случаен), это моностих. Несмотря на свою краткость, он по объему возможных переживаний превышает многотомный роман Пруста. И, наконец, мой верлибр дает полную свободу личным переживаниям читателя, независимо от того, ел ли он когда-то печенье под названием «Мадлен», как у Пруста, или малосольные огурцы.

Этот же верлибр можно записать и таким образом:

Мама
мыла раму.

Если кому-то нравится еще большая эмоциональность, то можем написать:

Мама
мыла
раму.

Еле заметным росчерком пера верлибр превращается в шедевр индийской поэзии:

Мама
мыла
Раму.

Любому, кто хоть чуточку наделен чувством поэзии, очевидно, что все эти новаторские и гениальные верлибры — сугубая проза. Верлибр есть одно из средств прозаизации поэзии. Как пример привожу верлибр тончайшего лирика А. А. Фета:

Я люблю многое, близкое сердцу,
Только редко люблю я...

Чаще всего мне приятно скользить по заливу
Так — забываясь
Под звучную меру весла,
Омоченного пеной шипучей, —
Да смотреть, много ль отъехал
И много ль осталось,
Да не видать ли зарницы...

Эти строки в столбик мало чем отличаются от прозы, причем неудачной. Так нужен ли верлибр? Конечно, нужен. Еще Державин отметил, что есть такие чувства и настроения, которые, по его убеждению, не следует выражать рифмованным стихом. От себя замечу, что верлибр хорош тогда, когда предстоит излиться настроению, подвешенному между поэзией и прозой. Если такое настроение передать метрическим стихом, получится красивость, а если прозой — сухость.



ИЗДАНО В СИБИРИ

Максимов Владимир. Болдино... Бохан... Берлин... Публицистические очерки, статьи, интервью, эссе / В. П. Максимов. — Иркутск: Издательство «Востсибкнига», 2022. — 312 с.

Творчество Владимира Павловича Максимова широко известно иркутским читателям по опубликованным романам, повестям, рассказам и поэтическим сборникам, с неизменным интересом ожидаемым и обсуждаемым творческой публикой. Но Владимир Максимов никогда не оставался равнодушным к острым и даже болезненным проблемам родной земли, активно выступая с публицистическими статьями в прессе. Лучшие очерки, интервью и эссе автора включены в предлагаемую вниманию читателей книгу.

Ми Ай. Под сенью боярышника: роман [пер. с англ.] / Ай Ми. — Иркутск: Издательство «Востсибкнига», 2022. — 224 с.

Роман китайской писательницы Ай Ми, ставший на ее родине бестселлером, посвящен периоду Культурной революции в Китае и основан на реальных событиях. Герои повествования — старшеклассница Цзинцю, отправленная на перевоспитание в деревню, и участник геологической партии по имени Сунь — проникаются взаимной симпатией, но, чтобы не скомпрометировать себя, молодые люди вынуждены скрывать свои чувства. Искренние, романтические отношения героев проходят сложные испытания: не всем планам и мечтам суждено сбыться.

Публикуется в России впервые.

Ши Лэй. Генеральский переулоч: повесть [пер. с китайского] / Лэй Ши. — Иркутск: Издательство «Востсибкнига», 2022. — 214 с.

«Генеральский переулоч» — повесть о жизни пекинцев времен антияпонской войны, рассказанная китайским подростком с неподдельной искренностью и гордостью за верность и благородство главных героев повествования, в основе которого — дружба и отношения между двумя семьями, проживающими в хитросплетенных переулках старинных кварталов Пекина (хутунах), их судьбы, в частности, судьба «дедушки Ту», китайского генерала, потомка маньчжурской аристократии. Любопытный читатель найдет в романе колоритные картины

повседневной жизни старого Пекина, познакомится со многими народными обычаями, культурными и архитектурными артефактами древней столицы Поднебесной, глубже поймет национальный характер китайцев и их человеческие качества. Это увлекательное, познавательное и полное позитивной энергии произведение для самого широкого круга читателей.

Издается в России впервые.

Базалийский Владимир. Археология в городской среде. Могильник Локомотив / В. И. Базалийский. — Иркутск: Издательство «Востсибкнига», 2022. — 112 с., ил.

Данное издание посвящено самому известному и частично сохранившемуся до наших дней в границах города Иркутска археологическому памятнику — могильнику Локомотив. Этот крупнейший раннеэнеолитический могильник Северной Азии начал создаваться 7 500 лет назад на левом берегу реки Ангары, на восточной экспозиции склона правого приустьевых мыса реки Иркут, именуемого Кайской горой. В настоящее время это древнее кладбище располагается в центральной части города. Авторы рассказывают с привлечением богатого иллюстративного материала, как история разрушения и спасательных раскопок могильника прошла через всю иркутскую археологию — от ее истоков до наших дней — и, видимо, продолжится в будущем.

Михеева Светлана. Патамушта и Кривочервячок, или Когда звезды расхохочутся: сказки для семейного чтения / С. А. Михеева. — Иркутск: Издательство «Востсибкнига», 2023. — 120 с., ил.

Книга-сказка о приключении девочки Зои и ее друзей гарантирует читателю удивление, связанное с неожиданными поворотами сюжета и языковыми находками.

Это книга-игра, которая вовлекает читателя — и юного, и взрослого — в диалог с очевидным и обыденным, которое вдруг раскрывается своей волшебной стороной. Умеют ли рыбы смеяться? Зачем звезды на небе? Что коллекционируют нотариусы? Откуда взялось яблочное варенье? Что такое ослиная болезнь?.. Автор не устает задавать вопросы — и отвечать на них. Отвечать так, как если бы он сам был ребенком, начинающим познавать наш прекрасный мир.

Инна КИМ

«БЕЗ ПОСЫЛА ЛЮБВИ И РУКА К КИСТИ НЕ ПОТЯНЕТСЯ»

Сибирский художник Константин Дверин

Кто-то сравнивает его с Эндрю Уайетом. Кто-то — с Питером Брейгелем Старшим, у которого было знаковое прозвище «Мужицкий». Российского живописца Константина Дверина действительно многое роднит со знаменитыми художниками. И дело, конечно же, не в манере письма или в цветовой гамме. Главное — почти физически осязаемая любовь, которая исходит от картин Брейгеля, Уайета, Дверина.

Из родовой памяти

Сибирский художник языком живописи рассказывает собственную историю о жизни и смерти, о добре и зле, о творчестве и человечности, о горечи и свободе одиночества, о страсти и терпении, о невыносимом восхищении красотой и величием мира и человеческой душой. И каждым своим мазком признаётся в любви — Человеку, миру, жизни!

Неудивительно, что Константин Генрихович известен далеко за пределами Сибири. Его работы находятся в коллекциях Русского центра США в Вашингтоне, Московского союза художников, музея Владимира Семеновича Высоцкого, в частных коллекциях Никиты Михалкова, Иосифа Кобзона, Романа Абрамовича, Пьера Ришара и многих других. Его персональные выставки проходили в театре «Содружество актеров Таганки», Московском доме национальностей, Государственной Думе, Центральном доме художника в Москве, на кинофестивале в Берлине.

И везде картины живописца Дверина вызывают восхищение. Да потому что они не просто трогают — переворачивают душу.

Они стопроцентно узнаваемые — будто Константин Генрихович берет их сюжеты прямоком из родовой памяти, из жизни давно ушедших поколений, из детства тысяч людей, которые называют себя русскими. И, разумеется, из собственного детства, которое прошло на окраине кузбасского города Новокузнецка, где художник родился и практически неотлучно все время живет.

Быт, превращенный в бытие

Предметный ряд в работах Константина Дверина будто несет на себе печать заброшенности и одинокого умирания. На протяжении десятков лет художник с неподдельной нежностью пишет покосившиеся, потемневшие от времени дома, стайки, баньки и покореженные годами, давно отжившие свой срок обыкновенные предметы домашнего обихода. Но все они сохраняют тепло прикасавшихся к ним человеческих рук, все они искренним даром художника оживлены, одушевлены и из объектов быта превращены в субъекты бытия.

Очевидно, что сам художник испытывает светлую ностальгию по этим избушкам, печкам, заборам, приставленным к стене сарая и словно уходящим на небо заснеженным лестницам. Но они не исчезли из нашего мира. Во всяком случае — пока. Чтобы увидеть воспеваемые Константином Двериним родные образы, достаточно немного отойти от «парадных подъездов» — да хоть на окраину своего города.

Константин Генрихович объясняет: «Я рисую жизнь такой, какова она есть, как говорится, то, что лежит у нас под ногами». Показывая ее непарадной, настоящей, живописец любит человека и незамысловатыми деталями его быта, размышляет об одиночестве и смерти.

Двор отца

Кто знаком с творчеством художника Константина Дверина, хорошо знает: он рисует двор своего отца всю жизнь. По памяти — потому что его давно уже нет. Этот двор то залит солнцем летнего дня, то волшебным мерцает лунными искрами на высоких волнах разноцветных сугробов. И кажется, можно запрокинуть лицо в небо и ловить порхающие бабочки снежинок и колючие крошки звезд!

Понятно, что этот двор — не просто двор. Эта метафора детства и нежности к человеку, когда-то очень важному и дорогому, но давно и далеко ушедшему, так что его уже ни за что не вернуть.

Художник изображает обычные предметы повседневного мира, делая их необыкновенными, очеловеченными, превращенными в овестьственные метафоры. Скрученные в единое целое деревья словно распяты и обожжены прошедшей стужей жизни, они раскачивают голыми ветками-руками, как большие бегущие люди. А хромые избушки за неприютными заборами с покосившимися ветхими калитками робко улыбаются теплыми огоньками окошек-глаз.

Иконописные старики

Подобны этим деревьям с натруженными узлами корней, земле в мягких морщинах пригорков, лучистой теплоте выцветшего от долгого солнца неба, нуждающимся в заботе кривобоким и щелястым избушкам, заборам, стайкам целые галереи дверинских иконописных стариков.





Каждый портрет, и правда, как икона! Каждый смотрит прямо тебе в душу. Ласковые и лукавые, улыбающиеся в глубине своих глаз, они трогают до слез. И будто въяве звонко стучается о пустое жестяное ведро картошка. Чуть влажно, пряно пахнет разворошенной землей. Бабушка пригорюнилась в ладошку — умаялась. Дед щурится, курит, обдумывая прожитый день — и жизнь.

И вместе с Константином Двериным ты молишь и веришь: эти старики никогда не умрут! А, устроившись на мягком облачке, будут болтать ножками. На руках старухи станет мурлыкать кот. А на коленях старика задремлет, свернувшись меховым калачиком, верный друг — собака. Такие же старые, добрые и любимые, как их хозяева.

Это мы

Любовно прорисованные дверинские коты, собаки, лошади смотрят с картин практически по-человечьи. Просто они — это мы.

Хмурые и улыбочивые. Встревоженные и умиротворенные. Заботливые. Испуганные. Беззаветно преданные. До смерти уставшие и совсем юные, любопытные, только-только пришедшие в этот мир и удивленно хлопающие золотыми ресничками. Готовые в любую минуту сорваться и до последней капли крови биться за свою семью. Способные отдать жизнь ради того, что любят.

Родной мир

Художник из Новокузнецка создает живой, родной, прекрасный мир, с огромной искренней любовью прорисовывая его повседневную подробность и метафоричность. А «без посылы любви и рука к кисти не потянется» — говорит сам живописец.

И этот мир настолько реален и настолько любим, что ты мгновенно ощущаешь себя его частью, словно попадая внутрь рамы — и в собственные воспоминания. Вот ты шлепаешь босыми ногами по летнему речному мелководью, где сквозь солнечную рябь просвечивают прыскающие в стороны рыбки, а вода желто-зеленая от солнца и кустов, пятнами светотеней лежащих на гальку.

Или мечтательно кружишься вместе с непроглядным прохладным кружением гладкокожих берез. Или идешь, торопишься по продуваемому осенним ветром пустырю, а вид мягкого белого снега на сухой пижме рождает печальные мысли о том, что все конечно — и ты тоже.

Золотой свет жизни

Но не одну грусть навевает мастерски создаваемая художником гармония. В дверинских портретах и пейзажах будто звучит расплескавшаяся музыка золотых светотеней. Они буквально переполнены светом жизни.

Тот просачивается сквозь дверные щели, делая мир внутри деревенской баньки таинственно-полосатым. Полощется на белье, которое взлетает и грохочет от веселого солнечного ветра во дворе летнего дня. Золотым нежным жаром гудит и ворочается в огненном зеве натопленной печки. Эх, присесть бы перед распахнутой раскаленной дверцей и, не торопясь, ворошить кочергой огонь!

Преклонение перед мастерами прошлого

В основе творчества Константина Дверина лежит его неиссякаемый интерес к традициям реалистической школы живописи. Еще в детстве, когда он посещал изостудию Дворца пионеров, его педагог привила будущему художнику настоящий пиетет перед русской классикой XIX века.

И Константин Генрихович сохранил это благоговение до сих пор. Более того! Продолжая совершенствовать свое мастерство, он неизменно остается в четко обозначенных для себя стилевых рамках.

Кроме того, живописец переплавил в собственном творчестве атмосферу и образы солнечных итальянцев и сумрачных германцев. В своих картинах он с искренним восхищением цитирует Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Альбрехта Дюрера.

Константин Генрихович не боится идти на эксперименты, по сути являющиеся актами благоговейного преклонения перед великими мастерами прошлого. Так, сибирский художник создал свой вариант неоконченного гением Высокого Возрождения шедевра «Поклонение волхвов».

Признание в любви

А после оригинального признания в любви Леонардо да Винчи живописец из Новокузнецка написал сложносочиненное, необычное «Поклонение Микеланджело», центром которого сделал Давида — пожалуй, самую известную работу великого итальянца. И не случайно. Ведь при виде Давида просто невозможно не восхищаться красотой и совершенством человеческого тела, юной радостно-сосредоточенной готовностью к схватке с любыми голиафами.

«Сотворение Адама», «Отделение тверди от воды», «Утро» и «Вечер», «День» и «Ночь», сразу две великолепные, оплакивающие Христа пьеты, «Восставший раб» и «Скорчившийся мальчик», «Пророк Иеремия» и «Дельфийская сивилла», «Страшный суд» и «Всемирный потоп» — все эти знаменитые фрески и скульптуры Микеланджело сибирский художник закручивает в круговорот бугрящихся мощью и напряжением мраморных тел, будто продолжающих движение, даже замерев, и словно облитых масляно-желтым солнцем.

Но это не копирование шедевров великого, хотя сияющие тела и сплетены — как на знаменитых фресках Сикстинской капеллы. В своей удивительной работе Константин Дверин сначала превратил знаменитые



микеланджеловские фрески в изваяния из солнечного мрамора, а затем подверг скульптуры всемирно знаменитого итальянца еще одному превращению — в своеобразную экспрессивную дверинскую живопись.

Все делается для людей

Кажется невероятным, что художник такого уровня, какого достиг Константин Дверин, в принципе, является самоучкой, так как не имеет специального художественного образования. Но это ни в коей мере не умаляет его многогранного таланта.

В начале своего жизненного пути он сменил несколько профессий. Увлекался музыкой, играл на барабанах и на гитаре, вращался в музыкальной среде. Долгое время Константин Генрихович работал художником-оформителем. А настоящим искусством, по собственному признанию, стал заниматься только на заре непростых 1990-х годов.

Сегодня художник по-прежнему работает в разных жанрах — в тематической картине, портрете, пейзаже, натюрморте. Но все его работы наполнены явственной дверинской интонацией — остро драматического восприятия мира, лирического и светло-печального бытописания, гигантской любви к Человеку.

«Мне важно быть честным и видеть благодарность в глазах людей, — признаётся Константин Дверин. — Потому что для людей все и делается».



АВТОРЫ НОМЕРА

Акулова Янга родилась в Омске. Окончила Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта, училась в Литературном институте им. Горького. Работает редактором компании Relod (российского представителя издательства Оксфордского университета). Публиковалась в «Литературной газете», журналах «Горожанка», «Cosmopolitan», «Юность», «Сибирские огни». Автор нескольких романов. Живет в городе Сергиев Посад.

Арканина Анна Леонидовна родилась в Сургуте. Окончила Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, факультет иностранных языков и регионоведения. Поэт, радиоведущая. Публиковалась в «Литературной газете», журналах «Сибирские огни», «Плавучий мост», «Этажи», «Москва», «Урал», «Южная звезда» и др. Автор четырех поэтических книг. Член Союза российских писателей.

Васильев Константин Борисович родился в 1952 г. Окончил Ленинградский государственный университет. Филолог-германист, автор ряда журнальных публикаций и учебных пособий. Готовил к печати для издательства «Азбука» серию «Русская словесность» и редактировал такие произведения, как «История кабаков в России» И. Г. Прыжова, «Тайная канцелярия» Г. В. Есипова, «Остров Сахалин» А. П. Чехова, «Записки из Мертвого дома» Ф. М. Достоевского. Живет в Санкт-Петербурге.

Гилева Антонина Николаевна родилась в 1982 г. в Магадане. Окончила Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина, Северный международный университет (сейчас — Северо-Восточный государственный университет), Высшие курсы сценаристов и режиссеров им. Г. Н. Даниели. Работает киносценаристом. Лауреат ряда литературных премий и конкурсов, в том числе международного сценарного конкурса «Новый взгляд» в 2017 году. Автор книги прозы.

Каршин (Шинкарь) Дмитрий родился в 1968 г. в Курске. Окончил филологический факультет и аспирантуру при кафедре русского языка Курского педагогического института. Сменил несколько профессий, в настоящее время безработный. Автор сборника стихотворений «Из глины снов». Лауреат премии журнала «Сибирские огни». Живет в Курске.

Ким Инна родилась в Осинниках. Окончила Новокузнецкий педагогический институт. Удостоена знака «Мастер» за вклад в журналистику. Неоднократно становилась лауреатом всероссийских и международных литературных и драматургических конкурсов. Публиковалась в ряде сборников прозы, журналах «Новая юность», «Сибирские огни», «Литература», «Огни Кузбасса», альманахах «Образ», «Кузнецкая крепость». Живет в Новокузнецке.

Маркович Яков Семенович родился в 1941 г. в Баку. Окончил Московский государственный университет, защитил кандидатскую диссертацию в ИМЛИ. Публиковался в журналах «Новый мир», «Дружба народов», «Сибирские огни», «Литературная учеба» и др. Живет в Москве.

Михеева Светлана родилась в 1975 г. в Иркутске. Окончила Литературный институт им. А. М. Горького. Автор 12 книг прозы, стихов, эссеистики. Публиковалась в журналах «Дружба народов», «Сибирские огни», «Октябрь» и др. Лауреат Волошинского литературного конкурса, лауреат премии им. С. Т. Аксакова. Участник ряда литературных фестивалей. Член Союза российских писателей. Живет в Иркутске.

Семакина Елена Владиславовна родилась в 1968 г. в Челябинске. Окончила Челябинский государственный университет. Автор серии очерков «Записки неслуженного учителя», множества стихов и детских сценариев. Победитель в одной из номинаций Всероссийского журналистского конкурса «Все мы сочинцы хотя бы раз в году» и поэтического конкурса «Пастернаковское лето». Публиковалась в журналах «Современные записки», «Художественное слово», альманахе «Книжная полка». Работает учителем русского языка и литературы в лицее. Живет в городе Миассе Челябинской области.

Сизых Андрей Николаевич родился в 1967 г. в Бодайбо. Окончил исторический факультет Иркутского государственного педагогического института. Публиковался в журналах «Дети Ра», «Зинзивер», «Крещатик» и др. Автор пяти книг стихов. Лауреат премии журнала «Футурум АРТ». Президент культурно-просветительского фонда «Байкальский культурный слой». Член Союза российских писателей и русского ПЕН-центра. Живет в Иркутске.



МАГАЗИН

продает и покупает:

книги и подписные издания, газеты, журналы, почтовые открытки (до 1960 г.), старые фотографии, домашние архивы, коллекции почтовых марок, монеты, бумажные деньги;

статуэтки фарфоровые, бронзовые и чугунные, серебряные изделия, значки на винтах, портсигары и подстаканники, заводные игрушки и фарфоровые куклы, угольные самовары и патефоны, старинную мебель, старую военную форму и военную атрибутику и многое другое.

Работают отделы:

антиквариата, нумизматики, филателии и букинистической литературы.

Всегда в продаже журнал «Сибирские огни».

Работаем с 10 до 19 без перерыва, в воскресенье с 10 до 18

Адрес: ул. Романова, 26 (угол Советской и Романова)

☎ 227-18-37, 227-14-50

Сайт: **www.gornitsa.ru** E-mail: **n_gornitsa@bk.ru**

Частные лица и организации в Российской Федерации и в странах СНГ могут подписаться на журнал «СИБИРСКИЕ ОГНИ» в любом отделении связи — красный Объединенный каталог, подписной индекс — 46587.

ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

Учредители:

Союз писателей России, Администрация Новосибирской области.

Журнал зарегистрирован в Государственном комитете Российской Федерации по печати.

Свидетельство о регистрации № 01302 от 27 ноября 1998 г.

Адрес редакции и издателя:

630099, г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, 25, тел. (383) 223-10-15

E-mail: **sibogni@sibogni.ru** Сайт: **сибирскиеогни.рф**

Адрес типографии:



ООО «Новосибирский издательский дом»

630048, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 104

<http://книгосибирск.рф>

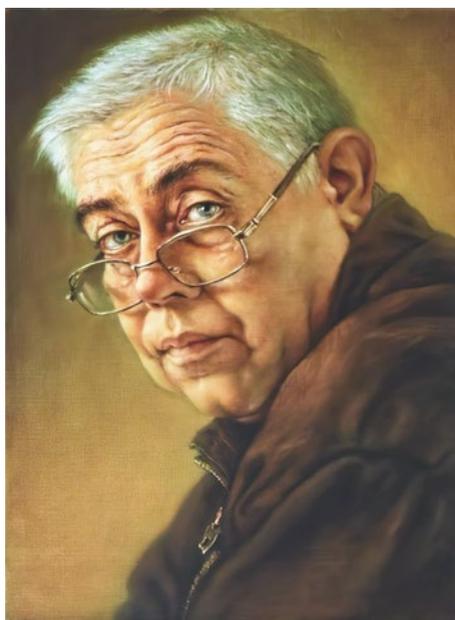
Сдано в набор 19.12.2023. Дата выхода № 1 за 2024 г. в свет 22.01.2024.

Формат 70x108/16. Печать офсетная. Уч.-изд. л. 11,77. Тираж 1500 экз.

Во всех случаях полиграфического брака просим обращаться в типографию.



Константин Дверин.
На облачке.
2021



Константин Дверин.
Автопортрет.
2011



Константин Дверин. Семья (фрагмент). 2021

